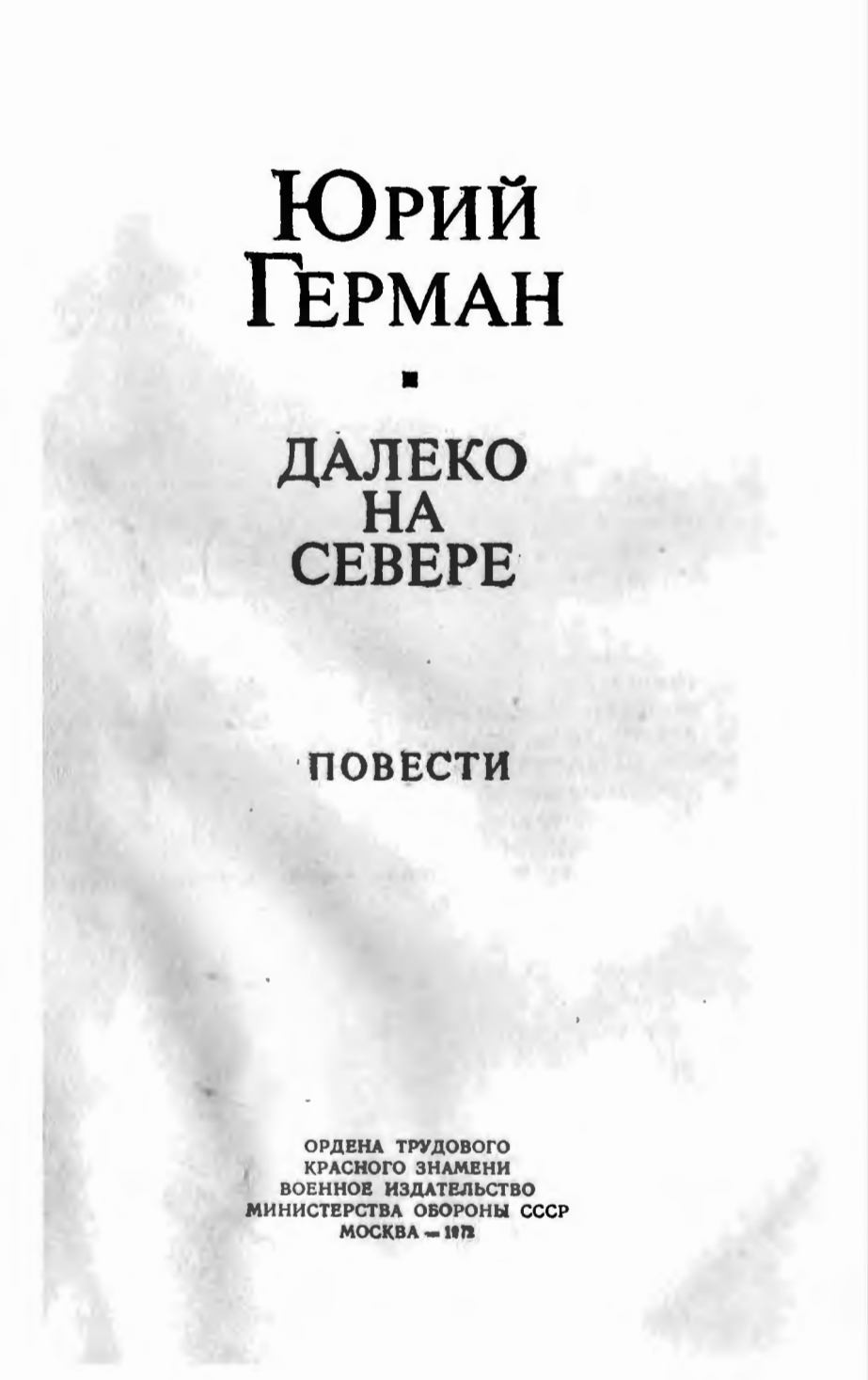


ЮРИЙ
ГЕРМАН



ДАЛЕКО
НА
СЕВЕРЕ



ЮРИЙ
ГЕРМАН

■

ДАЛЕКО
НА
СЕВЕРЕ

ПОВЕСТИ

ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР
МОСКВА — 1972

ДАЛЕКО НА СЕВЕРЕ

Посвящается врачам, сестрам,
санитарам Карельского фронта.

Асгер

ПРОЛОГ



а прифронтовой маленькой северной станции в лунную морозную ночь я ждал поезда, идущего из Заполярья. В зале ожидания было душно и жарко, едко пахло

свежими тулупами и дезинфекцией. Почти все спали, кроме меня да еще девушки — синеглазой, смуглой, с морщинкой между бровями. Девушка писала, положив толстую тетрадь на ободранный чемоданчик, писала быстро, мелким почерком, иногда хмуясь, иногда улыбаясь уголком свежего, юного рта.

«Письмо, наверное, пишет», — решил я и задремал. Сколько я спал — не знаю, но, проснувшись, застал ту же картину. Незнакомка моя писала и хмурилась, а все кругом спали.

«Многовато, пожалуй, для письма», — подумал я.

Теперь тулуп на знакомке был расстегнут, и я увидел знаки различия — два кубика и чаша со змеей. меховую шапку девушка сдвинула на затылок, легкие, тонкие волосы ее рассыпались, в синих глазах стоял влажный блеск, и я, признаться, позавидовал тому человеку, которому знакомка моя писала такое длинное письмо.

Прошло еще с полчаса.

Незнакомка поставила точку в тетради, сладко потянулась, зевнула, показав белые, острые зубы, достала из мешка чайник и отправилась за кипятком.

Походка у нее, несмотря на валенки, была легкая, и я вдруг совершенно невольно представил себе эту де-

вушку летом в белом платье, в сандалиях, где-нибудь у теплого Черного моря...

Вернувшись с чайником, девушка разбудила своего соседа — высокого молодого майора, ловко открыла консервы, намазала куски хлеба маслом, наколола сахару, разостлала даже чистую салфетку и принялась чаевничать. Мне стало завидно. Я вытащил из своего мешка тарань, открытые консервы, в которые насыпался табак, мятый хлеб и стал уныло жевать.

Консервы с табаком есть было нельзя, и я принялся колотить тарань о скамейку, для того чтобы проклятая рыба стала мягче. Но она вдруг вырвалась из моих пальцев, описала в воздухе пируэт и скользнула куда-то во мрак. Стиснув зубы, я отправился на поиски и лазал руками в грязи под скамейками до тех пор, пока не услышал милый и веселый голос.

— Товарищ командир, — говорила моя незнакомка, — бросьте искать, давайте с нами пить чай.

Я вытащил голову из-под скамейки и поблагодарил хриплым от натуги голосом. Должно быть, я был очень смешон, потому что и незнакомка моя и майор едва сдерживались, чтобы не смеяться.

Потом мы пили чай, крепкий, хорошо заваренный, вприкуску, очень горячий. Я выпил две большие кружки и попросил третью. А за третьей спросил, что писала так долго девушка.

— Дневник, — ответила она, — я записываю кое-что.

— Наталья у нас писатель, — сказал майор, — все пишет. Читатели-писатели.

— И давно пишете? — полюбопытствовал я.

— Почти с начала войны.

— О чем же?

— Обо всем, — сказала Наташа, — что вижу, то и пишу. Глупости разные.

— Положим, не глупости, — вступился майор. — Так, различные наблюдения. Типичности, конечно, маловато, образы тоже не созданы, природу она не описывает, но кое-что верно подмечено. Некоторые штрихи. Но с другой стороны, Наталья — не Пушкин и не Лев Толстой. Для себя пишет...

Из дальнейшего разговора я узнал, что... Впрочем, я не буду писать, что я узнал еще.

Внезапно закрипела дверь на блоке. Вошел малень-

кий носастый железнодорожник, высморкался и с сильным кавказским акцентом сказал тем голосом, которым в мирное время, по всей вероятности, оповещал пассажиров о приходе поезда:

— Граждане, воздушный тревог! Воздушный тревог! Сохраняйте спокойствие!

Было что-то смешное в том, как этот штатский старичок просил сохранять спокойствие военных людей, к тому же еще спящих.

Точно выполняя какую-то скучную обязанность, неподалеку издал несколько сильных отрывистых гудков паровоз-кукушка.

— Граждане! — еще раз сказал кавказец. — Граждане, воздушный тревог!

Майор угостил кавказца папирсой. Старичок козырнул и ушел.

— За поездом охотится немец, — сказала Наташа. — Ночь лунная, вот он и безобразничает.

Но поезд пришел через час как ни в чем не бывало. Мы сели в один вагон. Набравшись смелости, я спросил у Наташи, нельзя ли мне почитать ее дневник. Она очень удивилась, поглядела на меня искоса, сказала, что, пожалуй, не стоит, и быстро влезла на верхнюю полку спать.

Мы с майором проговорили до утра. В разговоре случилось так, что мне пришлось назвать свою профессию, а потом и фамилию.

— Нет, что-то не читал, — подумав, признался майор, — не приходилось.

Уснули мы утром, а когда я проснулся, увидел Наташу, которая, сидя у столика, что-то чиркала в своей толстой тетради. Майор сидел с ней рядом. Я вновь закрыл глаза.

— Ты ему скажи, — шепотом произнесла Наташа, — мне неудобно, а ты скажи.

— Нет, ты сама скажи, — ответил майор, — дневник твой, ты и скажи.

— Может, он сам спросит?

— Поскольку ты отказала, чего же ему еще спрашивать.

— Ну и не надо, — обиженно сказала Наташа. — Зря только все почти фамилии замазала.

Я понял, что речь идет о дневнике, сел на своей лавке и вмешался в разговор.

— Он нечаянно все слышал, — сказал я. — Он будет очень благодарен, если ему, несмотря на вчерашний отказ, сегодня дадут дневник почитать.

Наташа покраснела и засмеялась.

— Да, но вам скоро выходить, а мы едем до Москвы, — сказала она. — Теперь уж вы не успеете прочитать.

Мне стало досадно. До станции С. мы почти все время молчали. Дневник лежал на столике, я старался на него не смотреть.

Но когда поезд уже подходил к станции, майор вдруг взял тетрадь, протянул ее мне и несколько сконфуженным баском сказал:

— Вот что... Мы такое решение приняли... Вы тетрадку возьмите. Берите, берите, ничего. В тетрадке в этой Наталья старалась нашу жизнь, то есть ее жизнь, записать, как она была. Одним словом, попросту. Может, вам пригодится, а не пригодится, вы перешлете тетрадку по адресу моей мамани, там записано. Если пригодится, тоже перешлите потом. А может, еще и встретимся, в жизни всякое бывает...

Я взял дневник. Наташа смотрела из-за плеча майора тревожным взглядом на заветную свою тетрадь.

— Может, опинете ихнюю медицинскую жизнь поправдивей, — сказал майор. — Вообще дело, конечно, ваше. Только мы будем вас просить без Наташиной фамилии. А может быть, мы пустяки говорим, может быть, тетрадь вовсе вам и не пригодится.

Все пассажиры, едущие до станции С., уже вышли из вагона, новые занимали свои места. Паровоз загудел. Мы попрощались.

А вечером, лежа на жесткой койке, при свете огарка я читал мелкие Наташины строчки и вспоминал синие Наташины глаза, ее смех, манеру говорить и наше чаепитие в зале ожидания далекой северной станции.

ПРЕДИСЛОВИЕ НАТАШИ ГОВОРОВОЙ

На всякий случай я все фамилии переименовала, потому что, например, тот мой товарищ, которому я дала фамилию Зайченко, может обидеться, если сохранить его имя, отчество и фамилию полностью. Или Лева. Тут я

просто вычеркнула фамилию вовсе. А вообще, так как часто я описываю личную жизнь или, например, наружность, то лучше пусть фамилии будут изменены. Вот Русаков. Я написала, что у него рачьи глаза или что он напоминает кота. Сразу бы обиделся и рассердился. Или, например, военврач Раллон, он всегда обижается, если ему говорят, что он трещит как пулемет. У людей есть разные манеры, и я кое-что зафиксировала. Так уж пусть лучше останутся характерные черты всех тех, кого я полюбила за это время, чем фамилии без характерных черт. Так мне кажется.

С приветом

Н. Говорова, медсестра.

ПОСЛЕДНИЕ СТРОЧКИ ДОВОЕННОГО ДНЕВНИКА

...И Маруся на меня рассердилась. Очень странно с ее стороны, потому что она сама меня просила купить голубенький креп-сатин, а голубенького я не нашла и купила тоном потемнее — синеватенький. Подумаешь, несчастье — синеватенький, а она вдруг разобилась.

— Конечно, я тебя слишком затруднила, конечно, ты переутомилась, конечно, тебя затолкали, но я между тем уверена, что если бы ты покупала для себя, то купила бы жоржет голубенький, ты же знаешь, что я вообще сатин не люблю и хотела только из-за цвета, а цвет оказался другой, и если бы ты ко мне хорошо относилась, то подумала бы...

И пошла. Конечно, я виновата. Мне следует заняться воспитанием характера. В магазине было очень жарко, меня затолкали, а откладывать на воскресенье из-за Сестрорецка мне не хотелось. Идти в магазин в воскресенье — это значит не ехать в Сестрорецк. Но я должна была отказаться от Сестрорецка, если обещала Марусе выполнить ее просьбу. А для этого у меня не хватило силы воли.

Надо анализировать свои поступки и осуждать в себе то, что скверно. А я, к сожалению, мало анализирую и живу как амеба.

И вообще так не годится. Сегодня уже двадцать первое, пол-года прошло, самый длинный день, а я еще не взялась за книги. Все завтра да завтра. И все некогда —

сегодня, видите ли, Наташе надо поехать к Нине Аркадьевне примерять блузочку.

Нет, нет, такая жизнь недостойна студентки медицинского института. Врач должен быть всесторонне образованным человеком, должен много читать, много думать, никогда не удовлетворяться, вечно искать, его взгляд должен смотреть вперед, пронизывать будущее, врач не должен успокаиваться на достигнутом. Только вперед — вот девиз настоящего врача.

А я мещанка, обывательница, я слишком люблю конфеты «Мишка на севере». Вряд ли из меня что-нибудь выйдет. Но я переупрямлю себя. Я заставлю себя. Последний день старой жизни — воскресенье двадцать второго числа. С понедельника — долой развлечения и да здравствует служение науке!

ВОЙНА!

Воскресенье

Только теперь я поняла все. Война. Утром я одеваюсь, вошел отец, обнял меня и несколько раз поцеловал в лоб. Непривычные сентиментальности. Он уже все знал. Но не сказал мне ничего. И город не знал ничего. Я шла и видела трамваи, полные людей. Воскресенье в Ленинграде. Ленинградцы висят на трамваях, трамваи идут на вокзалы, оттуда поезда понесутся в разные стороны: в Петергоф, в Детское, в Сестрорецк, в Гатчину, в Павловск, к морю, к лесу, к далекой узенькой речке. Все в белом, в летнем, давка, смех, веселая ругань, вот и я повисла на шестерке, и так мне хорошо, так легко, так весело... А папа в это время уже все знал, все. И может быть, мама тоже знала...

Война! В четыре пятнадцать я приехала обратно, и все было другим, чем тогда, когда я уезжала. Вдруг сделался вечер, какие-то бумажки мчались по площади, поднялась пыль. Сердце у меня билось, билось. Но я еще толком ничего не понимала. Я почему-то плакала, как девочка, шла и плакала и никак не могла остановиться, и одно только слово стояло в моих ушах: невозвратно, невозвратно! Что невозвратно? А какие-то женщины уже покупали у ларьков спички, массу спичек, полные авоськи спичек, и переругивались, я слышала их злые

голоса, брань, и какой-то дядька, уже пьяненький, распевал, шатаясь, силую и невнятную песню. «Невозвратимо, невозвратимо», — думала я.

А дома пусто, отца нет, ящики его письменного стола открыты, на ковре рассыпан табак, и Глаша рыдает в кухне, как по покойнику. Война. Хлопает окно в папином кабинете. Война.

— Где папа? — спрашиваю я у Глаши.

— Уехали, уехали, — рыдает Глаша, — уехали, уехали Александр Иванович, не видать нам ясного сокола, не видать нам светика нашего-о-о-о...

Мне вдруг делается немного смешно: это мой-то толстый папа — ясный сокол?

Я звоню по телефонам. Никого нигде нет. Воскресенье. Война. Все перемешалось, перепуталось. Пока я звоню, приходит Боря Вайнштейн. У него какой-то почти военный вид. Ремни, новая сумка, бинокль. Зачем бинокль?

— Чтобы видеть воздушный бой, — говорит Боря.

Потом он говорит примерно такие фразы: «Скорее бы на фронт. Руки чешутся хорошенько надавать этим мерзавцам. Война закончится через месяц полным разгромом воинствующего фашизма. Осенью мы войдем в Берлин».

Мне приятно слышать спокойный и уверенный голос Бори.

— Хочешь кушать? — спрашиваю я.

Боря ест борщ и говорит. Говорит много, и все у него получается хорошо. Он точно знает, какая армия у Гитлера, как там начнется разброд, когда у них кончится нефть, как им будет плохо с алюминием и даже называет какой-то там молибден...

— И когда листва начнет золотиться, мы войдем в Берлин, — заключает он и приступает к биточкам.

Смеркается. Боря чавкает в сумерках. Темнее не будет, сейчас белые ночи.

Скрипнула дверь, пришел Шура Зайченко. Милый, толстый Шура, какой он грустный и подавленный. Милый Шура, который никогда в своей жизни не спрыгнул на ходу с трамвая, который не умеет плавать, не курит, а пуще самой смерти боится американских гор.

— Хорошенькие новости, — говорит Шура, входя. — Как вам это нравится, коллеги?

— Эта война не потерпит трусов, — чавкает Борис. — Право на жизнь после войны обретут только герои.

— А если я не герой? — спрашивает Зайченко. — Если я по природе своей не герой?

— Твое дело.

— Что значит — твое, когда я даже в театре не выношу выстрелов.

Боря кончил есть и ковыряет в зубах.

— Это скучно, — говорит он, — я не любитель таких разговоров.

Пришла мама. Оказывается, дядя Женья уже уехал на войну, а мама его провожала.

Вечером мы ложимся с мамой в одну постель. Она тихо плачет, и мне нечем ее утешить. Я начинаю рассказывать и неуверенно хвалю Бору.

— Ах, оставь, Ната, — говорит мама, — все это глупости. Будет большая война, и многие очень хорошие люди погибнут в этой войне. Детка моя милая, доченька моя!

Так мы лежим и плачем обе, пока не является папа. Он садится в ноги и ест батон с маслом, потом ищет табак и сердито сопит. Поблескивают стеклышки его пенсне.

— Ты получил назначение? — спрашивает мама.

— Почти.

— Куда?

Он что-то сердито объясняет, какие-то свои сложности, мне не понятные, но совершенно ясные маме.

— А туда кто поедет главным хирургом? — спрашивает мама.

Папа отмахивается. Он раздражен до последней степени. Но вдруг говорит:

— Тебе, кажется, удастся ехать со мной! Рентгенологом. Вот только как быть с Натой?

— Что значит — как быть? — спрашиваю я. — Я здоровая, молодая студентка-медичка. Неужели я останусь в Ленинграде? Правда, я еще ничего не знаю, но санитаркой ведь я могу быть? Могу или не могу?

Отец скептически смотрит на меня:

— Неважной можешь.

Мне обидно. Я молчу. Отец всегда грубоват с домашними и холодно-вежлив с посторонними.

Пауза. Внезапно мама спрашивает:

— Александр, а ты обязательно должен быть на фронте?

— Я тебя не понимаю, — отвечает отец.

— Вот ты хочешь ехать фронтовым хирургом. Но всегда есть еще глубинные тыловые госпитали. Мне кажется, что твое научное имя и твоя ученая степень... наконец, ты беспартийный...

— Ну и что же?

— Мы могли бы работать все вместе, всей семьей...

Рядом в кабинете звонит телефон, и этот разговор, ужасный и постыдный, прекращается.

— Мама, не надо, — шепчу я, когда отец выходит, — мама, не надо, ни за что не надо, ты же его знаешь, зачем ему это говорить. Если ты не хочешь на фронт, не едь, но ему не говори, не говори ничего, ни за что...

Из кабинета отец не возвращается. Я встаю и иду к себе. Он равнодушно подставляет мне лоб для поцелуя.

— Не сердись на маму, — прошу я.

— Не твое дело, — холодно отвечает он.

Я пишу дневник и слышу, как он ходит по кабинету. Какое у него железное лицо сейчас, неприступное, невозможное! И долго, долго не будет теперь мира в нашей маленькой семье. Ни войны, ни мира. Он станет чужим человеком для матери, а она будет плакать и ломать руки. И любить я буду его, а не ее. Спокойной ночи, мой милый, с тяжелым характером, грубиян, непокорный, непримиримый, милый отец. Как бы мне хотелось быть такой, как ты.

Суббота

Боря Вайнштейн с каждым днем все больше и больше превращается в военного. Сегодня он повесил к своей сумке компас и вооружился свистком.

— Если удастся задержать парашютиста, то свисток окажется очень кстати, — объяснил он моей маме.

Мама вдумчиво покивала головой.

За чаем Боря принялся делать прогнозы.

— А зачем у вас термос? — спросила мама.

Оказалось, что термос Боря носит на случай воздушной тревоги. Если случится воздушная тревога и надо будет долго сидеть в бомбоубежище, то Боре может за-

хотеться пить, а в термосе у него теплая вода с повидлом.

— Вы же знаете, у меня бывают приступы такого как бы овечьего кашля...

Мне стало смешно и немножко противно. Выдумал себе какой-то овечий кашель. Но он продолжает говорить о том, что надо скорее на фронт бить фашистов, переходить в наступление, обрушиться на них лавиной, смять, уничтожить, раздавить.

Подождала к телефону, вдруг слышу папин голос: «Приезжай». Я приехала. Он сидит в ординаторской один, сутулый, усталый, грустный. Перед ним бутылка боржома и стакан. Как я люблю его, когда он в халате, и не в профессорском, а в длинном, с завязками, подпоясан бинтом, на голове шапочка.

— Приехала?

— Приехала!

— Ну, садись, посиди...

Я сажусь. Пирогов смотрит на меня со стены своими косыми глазами. Папин бог — Пирогов. Он всюду с собой таскает этот портрет и наверняка повезет его на фронт.

— Что мать?

— Ничего, здорова.

Не слушая ответа, он кивает головой в белой шапочке. Он лысый, у него мерзнет голова, и потому он в клинике почти никогда не снимает белую шапочку.

— Хочешь боржому?

Я не хочу, но, зная, как он любит боржом, делаю вид, что хочу пить. Он смотрит на меня и вдруг говорит:

— Ты уже взрослая девушка, Наталья, и должна понять меня. Елена Павловна всегда всего боялась. Даже темы моей диссертации. Она считала ее слишком рискованной. Я знаю, что у меня тяжелый характер, я знаю...

Дверь открывается, входит доктор Руднев. Это высокий человек с гладко зачесанными назад волосами, такой же непримиримый и злой, как папа, с таким же характером. Руднев уже в военной форме.

— Без двух восемь, — говорит папа, — вы не опоздали даже ради войны.

— Ваша школа, — очень вежливо и очень холодно говорит доктор Руднев.

Мой отец и Руднев славятся своей аккуратностью.

— Прошу садиться.

— Благодарю. Я вас слушаю, Александр Иванович. Мой отец слегка розовеет.

— Я узнал, — говорит он, — я узнал, что моя дочь подала заявление об отправке ее на фронт. Узнал не от нее. По всей вероятности, моя дочь не сказала мне об этом, предполагая, что я буду чинить ей препятствия.

Он говорит и не смотрит на меня. Мне делается жарко.

— Я же не собираюсь чинить ей никаких препятствий, — продолжает он, — я с удовольствием взял бы ее с собой, но не считаю это достаточно удобным. Я не смогу быть достаточно объективным по отношению к ней на фронте. Чтобы люди не думали о том, что я делаю ей послабления, мне придется быть к ней требовательней, чем к другим, а мне бы этого не хотелось, ибо тяготы войны и так достаточны. Поэтому я решил обратиться к вам, Семен Петрович, и просить вас не отказать мне в огромном одолжении.

Отец продолжает говорить спокойными, гладкими, учтивыми фразами, а я чувствую на себе холодный взгляд Руднева и молчу, не в силах поднять глаза.

— Знания ее ничтожны, — говорит отец, — но я верю ее характеру и думаю, что мне не придется краснеть перед вами за эту особу. Хочешь ли ты, Наталья, ехать на фронт вместе с Семеном Петровичем?

— Я могла бы поехать одна, как едут все другие девушки, — говорю я.

— Поверьте, что я не буду создавать вам тепличную атмосферу, — отвечает мне доктор Руднев.

Мне вдруг делается смешно: не в характере моего папаши и его учеников создавать кому-либо тепличную атмосферу.

— Значит, решено? — спрашивает отец, и в его голосе я слышу непривычную, просительную нотку.

Руднев молчит. Вопрос обращен ко мне.

— Спасибо, — говорю я, — надеюсь, я не помешаю доктору Рудневу.

Вот и все. Военкомат признал меня годной. Я получила обмундирование. А Ленинград, как нарочно, так красив, так прекрасен...

Суббота

У мамы мигрень. Отец ходит уже в военном и скоро уезжает. Мама сказала, что она не может видеть войну и поедет к тете Варе на Урал. Я ее не сужу, она болезненная, нервная, часто плачет, упрекает меня в чем-то.

Встретила на улице Бориса. Он по-прежнему полон оптимизма и, по-видимому, кое-что знает от своего отца. По словам Бориса, немцы находятся при последнем издыхании, у них огромные потери, и не позже как в двадцатых числах они будут окончательно остановлены. Когда я рассказала об этом отцу, он посмотрел на меня странными глазами и спросил:

— А почему именно в двадцатых числах?

Шура Зайченко, который был при этом разговоре, пожал плечами и сказал, что он, как нытик и маловер, вообще очень опасается за будущее.

— Бол-ван! — громко и раздельно произнес отец.

Шура позеленел и собрался было что-то ответить, но отец ушел. Никогда я не знаю, что может произнести мой родной отец в следующую минуту.

Потом мы долго объяснялись с Шурой. Бедный наш пончик страшно надулся, и мне, признаться, очень стало его жалко. Какой-то он беззащитный в своих огромных очках, с короткой ногой, шепелявый. Вот уж действительно тридцать три несчастья! И я еще обидела его. Сказала, что папа выругался потому, наверное, что судить гораздо легче, чем воевать самому.

— Я отметаю эти намеки, — ответил Шура, — я категорически их отметаю. — И встал.

Я что-то ему ответила, не помню что, в результате Шура совершенно изменился в лице, стал бросать на стол бумажки и кричать, что он не виноват, его никуда не берут, он калека, он подавал множество заявлений и требует, чтобы с ним никто не разговаривал, как с дезертиром. Я не хотела смотреть его бумажки, но он совал их в лицо и кричал, что он что-то там отметаю и настоятельно требует и даже мой отец не смеет... Еле я его успокоила. Потом началась исповедь. Зайченко сказал мне про себя, что он патологический трус, что даже мысль о бомбежке для него непереносима, что он нытик, что он не может себе представить, как в него будут стрелять немцы, но что, несмотря на все эти вещи, он будет на

фронте, хоть, впрочем, весьма вероятно, что погибнет он там не от пули, а от страха.

— Вот, — заключил он свою речь, — теперь ты знаешь обо мне все. — И ушел.

А папа позвонил из клиники и сказал, что он просит меня попросить прощения у этого выродка Зайченки за его, папину, глупость.

Среда

Как прекрасен Ленинград в эти последние дни! А мне даже некогда с ним как следует попрощаться. И на Зимнюю канавку некогда сбежать, и на мосты посмотреть некогда, и в Новую Голландию некогда заглянуть.

Да, сенсация!

Шура Зайченко поймал на трамвайной остановке парашютиста, оказавшегося певцом из оперы. Артист страшно разобиделся и назвал Шуру полным идиотом. Вообще это, должно быть, была картина — Зайченко ловит парашютиста.

Мы на днях уезжаем. Мы — это целый эшелон. Мы грузимся, грузимся, грузимся. Северный фронт — вот куда мы едем. Карелия. Я никогда там не была, а папа был, он служил там в молодости земским врачом и говорит, что ничего красивее этого края не знает. Красота красотой, а куда я принимаю белье, одеяла, ночные туфли, халаты, пижамы и прочее. Борис мне сказал по телефону, что я здорово устроилась — светло, тепло и не дует.

Странный человек!

А бедный Шура все ходит, и никто его никуда не берет по состоянию здоровья. Вчера я была с ним вместе у одного большого начальника, и тот спросил, не был ли Шура ранен.

— Я не ранен, — сказал Зайченко, — а меня уронила няня.

Самое печальное заключается в том, что его действительно уронила няня под колеса извозчика и покалечило его еще в детстве.

— Что же вы можете делать? — спросил Шуру большой начальник.

— Не знаю, — последовал печальный ответ,

— Чего же вы от меня хотите?

— Совета.

— Какого же, например, совета?

— Я прошу вас посоветовать, как мне попасть на фронт для участия в боевых действиях, направленных на уничтожение фашистской заразы.

Так ничем и не кончился этот разговор.

Вторник

Мама уехала на Урал еще в воскресенье, а сегодня я проводила отца. Руднев привез ему на вокзал большой букет цветов и холодно преподнес. Прощаясь, они не поцеловались, не сказали друг другу ни единой мало-мальски теплой фразы, не обменялись никаким значительным словом. А ведь я знаю, как отец любит Руднева и как Руднев предан отцу.

А я поплакала. И когда он входил в вагон, мне вдруг показалось, что я никогда больше его не увижу. И помолодел он в военной форме: живот куда-то убрался, плечи широкие, руки сильные, сухие и горячие.

Его провожало очень много народу, и я испытывала чувство гордости за своего отца.

До свидания, папа! До свидания, милый мой, единственный, дорогой, самый лучший папа!

Шурка тоже прослезился и сказал отцу на прощание какую-то сложную фразу, в которой участвовало слово «диалектика» — отец мой оказался диалектической личностью в высоком смысле этого слова.

— Ну, спасибо, Шурик, — ответил отец, — обрадовал ты меня, старик! Это я надолго запомню.

Дома у нас теперь совершенно невыносимо: пусто, темно, уныло. Сразу запахло нежилым. Глазя ворует мои и мамины вещи и рыдает. Вещей мне не жалко, зачем вот только рыдает и жалеет меня, «сиротку». Я не могу смотреть ей в глаза.

Теперь и мы вот-вот уедем.

Понедельник

Наш эшелон идет на север. Положим, как раз сейчас мы стоим и я пишу свой дневник. Шура Зайченко едет с нами в банно-прачечном отряде. Взяли! Он счастлив, но боится, что наш состав будут бомбить.

Очень интересная история с нашим «оптимистом» и «воякой» Борисом.

Зайченко ему позвонил в день отъезда и выяснил, что

этот здоровенный негодяй совместно с папашей и мамашей отбыл в город Ташкент как незаменимый специалист по тутовым деревьям! Откуда, почему, отчего, с каких пор?

Кроткий и честный Шура Зайченко до сих пор не понимает, в чем дело.

А вот и воздушная тревога. Нас будут бомбить, рука у меня дрожит, но я допишу начатую фразу и докончу мысль, иначе я не дочь своего отца, а ничтожество и дрянь.

Кончаю мысль: Шура Зайченко не понимает, что за парень Борис, а я, кажется, поняла, что он за человек, и записываю раз навсегда черным по белому в своем дневнике: «Наташа, бойся оптимистов-говорунов. Пуще всего бойся этих людей, не водись с ними, не считай их за товарищей, за друзей, даже знакомых таких не держи, Наташа».

Я кончила мысль.

В моем вагоне вылетели стекла, а между тем я кончила мысль.

Отец, я не осрамлю тебя, будь покоен.

Продолжаю писать после бомбежки. Это особенно неприятно, когда бомба хлопает — есть такая секунда в ее падении. Говорят, это значит, что она падает прямо в тебя. И как они свистят противно!

Руднев вышел из вагона и сел на рельс. Я все время нечаянно видела его лицо — он был очень бледен, но ни разу не шевельнулся.

Бедный Шура убежал в лес, но там оказалось болото, он провалился и вымок до костей. Все над ним смеются, а он чувствует себя очень неловко, старается держаться развязно и громко говорит:

— Да, я действительно очень боюсь бомб, вы все тоже боитесь, но вы держитесь, а я убежал. И еще убегу. Ведь я же никому не помогу, если буду сидеть на рельсе, как Руднев, или торчать возле вагона, как Наташа.

Говорит и обдирает с себя тину. Бедный Шурик!

И красный как рак.

Я не сужу его, хотя если анализировать свои поступки, то я меньше боялась, чем он, и все-таки я не беру на себя смелости осуждать Шуру Зайченко.

А наш поезд опять стучит колесами как ни в чем не бывало: на север, на север, на север. Мимо серебристых

озер, через болота, через овраги и реки, по мостам бежит наш поезд. На север, на далекую, непонятную северную войну.

Все больше и больше замечаю я следы войны: свежие черные воронки вырыли германские бомбы на полотне дороги. Говорят, даже трава долго-долго не растет в земле, разрытой, взрывом. Оборванные провода. Развороченные рельсы и шпалы. Железнодорожники уже работают, восстанавливают полотно, волокут шпалы, а лица у работающих еще испуганные от прошлой бомбежки, и нет-нет кто-нибудь да и посмотрит на небо. Не видать ли самолета.

На север! На север!

Шла мимо купе, в котором едет доктор Руднев. Он остановил меня и дал мне книжку, на которой золотом написано: «Отморожение». Я вначале подумала, что это роман.

— Прочитайте, — сказал Руднев, — тут, на севере, вам это может пригодиться.

Читаю и делаю выписки,

ГЕНЕРАЛ ЗИМА

Вот с чем мне придется иметь дело, когда я буду знать побольше, чем знаю сейчас, — с отморожениями. Тут, на севере, это дело, по всей вероятности, очень серьезное. Записываю кое-что из трагических цифр прошлого: когда-то, в Крымскую кампанию, на стороне противника насчитывалось тысяча сто девяносто четыре случая обморожения, в общем четыре с лишним процента всей армии, а смертность доходила почти до четверти. А однажды под Севастополем были две такие ночи, в которых замерзли две тысячи восемьсот человек, и девятьсот из них — смертельно. Вот что значит генерал зима. Теплая зима, крымская. Вот еще из теплых зим: в Болгарии на один корпус было почти пять с половиной тысяч обмороженных, в Алжире на одну колонну было двести восемь обмороженных. Это в Алжире! Что же предстоит нам тут, на севере! При наступлении французов под Верденом было три тысячи шестьсот обморожений, а в одной дивизии на тысячу девятьсот семьдесят одного раненого было тысяча восемьсот шестьдесят

девять обморожений. А вот про турок в прошлую мировую войну: на склонах Алла-Икпар в один день замерзло десять тысяч человек — половина всего корпуса. Вот страх-то! А японцы во время оккупации Маньчжурии почти сплошь имели признаки обморожений.

Заявляю с полной откровенностью, дорогая Наташа, что нам много предстоит впереди разных мелких и крупных неприятностей.

Читаю зеленую книжку и, к сожалению, далеко не все в ней понимаю.

Шура делает такой вид, как будто ему все ясно, а на самом деле ничего ему не ясно, и вообще нам с ним следует забыть, что мы медики. Какие мы медики!

А поезд все еще идет на север. Но чаще стоит на станциях и полустанках.

Нас не бомбят после того раза.

Вторник

Навстречу нам идут поезда, в которых везут раненых. Это совсем не такие поезда, к каким я привыкла по плакатам и картинкам за последнее время. Это тяжело груженные поезда с измученным персоналом, с уставшими от передвижений ранеными, с прицепленными теплушками, и далеко не все вагоны кригеровские, как я представляла себе раньше.

Я отправила две открытки — маме и Борису. Борису написала массу гадостей, а маме все, что полагается писать маме, — жива, здорова, в полной безопасности, буду всегда в глубоком тылу — это решено.

Мы приехали.

И сразу же вместо ожидаемых мною величественных подвигов вот что: подходит будущая операционная сестра — толстая Анна Марковна — и неприятным голосом заверяет:

— Интересные новости. Пока что мы не собираемся разворачиваться. Мы тут немного, а может быть, и много постоим. И я вам, девочки, не завидую...

— Почему?

У Анны Марковны таинственное выражение лица.

— Скоро узнаете.

Она ложится на свою полку, курит, пускает дым через ноздри и вздыхает. Мы — я и мои товарки Капа, Тася и Варя — выходим из вагонов узнавать. Никто ни-

чего не знает. Черный, тяжелый дым стелется на горизонте, там что-то взрывается, ухает, точно стонет. Там пожар, вызванный бомбежкой. От каждого взрыва мои девушки вздрагивают, да и мне тоже не по себе. Иногда далеко в небе что-то гудит, тогда все смотрят вверх и прислушиваются.

— Опять полетел, — говорит Тася и зябко ежится.

— Страху-то, страху... — шепчет Капа.

А Варя молчит и только бледнеет так, что голубые ее глаза кажутся темными.

От дыма, который несет к нам, от запаха гари трудно дышать, першит в горле, ноет голова.

Тут мы прощаемся с Рудневым. Он выходит из вагона в шинели, в фуражке, с солдатским мешком за плечами. Узкий рот его крепко сжат, под тонкой розовой кожей возле уха ходит желвак. Ему жарко в шинели, лоб покрылся мелкими каплями пота. Пистолет не очень ловко висит у него на боку.

— До свидания, девушки, — говорит доктор Руднев.

— Куда вы?

Он коротко отвечает:

— Пора! Больше я не могу ждать.

— Но куда же вы?

Руднев рукой показывает вот туда, по шпалам, туда, где пожары, туда, откуда тянет дымом, туда, где падают бомбы.

Что мы можем ему сказать?

Мы прощаемся с ним за руку, и я чувствую вдруг, какие у него отличные, сухие, крепкие, жесткие руки с длинными пальцами, сильные, сильные.

— Ну... — говорит он, и больше ему нечего сказать.

А мы кричим ему вслед:

— Счастливого пути! Ни пуха ни пера! Будьте здоровы! Пишите!

Он шагает по шпалам в своих тяжелых сапогах, в шинели, с пистолетом на боку, и внезапно делается вдруг таким же, как шагающие навстречу бойцы. Больше он не доктор Руднев, щеголеватый, читающий Анатоля Франса, читающий лекции в академии, он вдруг делается солдатом и идет, как солдат, туда, по шпалам, к войне.

Таким я и запоминаю его. Он делается все меньше и меньше, идет не оглядываясь, туда, к далеким пожарам, к огромным воронкам, к разбомбленным домам...

А потом мы узнаем обещанные Анной Марковной новости. Их нам сообщает Шурик Зайченко под величайшим секретом. Новости заключаются в том, что пока мы будем стирать. Мы все.

Прихрамывая, Шурик Зайченко ходит перед нами и показывает.

— Банно-прачечный отряд — это серьезное дело, — говорит Шурик.

А мне отчаянно хочется плакать.

Мы будем стирать? И это все? Стирать? И больше ничего? Для этого я ехала сюда? Для этого я бегала по Ленинграду, подавала заявления, умоляла, упрасивала? Для того, чтобы стирать?

— Какие глупости! — говорю я. — Какой вздор, какие пустяки! Я не для этого ехала сюда. Я не для этого...

Шурик смотрит на меня жалкими глазами.

— Ну что ты смотришь? — спрашиваю я, и голос мой срывается от злости. — Ну, чего ты уставился? Ты думаешь, что ты...

Я не договариваю: грубые, страшные, оскорбительные слова чуть не сорвались у меня. Но Шурик угадал их и отвечает мне, слегка заикаясь от волнения:

— А я для этого сюда ехал. Да! Для этого! И я ничем не хуже вас! А то, что я хромым, ну и что! И я буду стирать! И буду копать в вонючем белье! И не вижу в этом ничего зазорного! Ничего! Вы все герои, а я не герой. Я... да... я... — Он захлебнулся от волнения.

Мы не успеваем помириться, а нас уже вызывают в вагон и сообщают все официально.

Потом мы переезжаем в сарай.

Потом нам везут белье. Его везут на подводах и грузовиках — его, мпожество. Это ужасное, серое, заношенное белье воюющих людей. Тяжелый запах все время стоит там, где трудится Шура Зайченко, в старом сарае тяжелый запах застарелого пота, гнили, нечистоты. И когда я вижу эти огромные груды, эти тюки, узлы — все то, что нам предстоит выстирать, я не понимаю, как это возможно. А белье везут и везут, и Шурик Зайченко уже просто утопает в нем, его не видно в сарае, и когда я вхожу туда, то кричу, как в лесу:

— Шурик, ау! Шурик, где ты?

И Шурик, заикаясь, отвечает:

— От тебя слева. Сейчас я начну вылезать. Подожди, Наташа.

В другом сарае стоят бучильники. В них вываривается белье до того, как мы начнем его стирать. Тут всегда много воды, мокро, и тут тоже стоит тяжелый, сырой, неприятный запах, еще сильнее, чем в приемке у Шурика.

А потом мы стираем в корытах. Когда-то у меня был маникюр, и сейчас я с удивлением рассматриваю свои руки: они распухли, кожа лоснится, ладони загубели — это не мои руки, их не узнать. Поясница у меня ноет целыми ночами, плечи болят, и мне почти невыносимо трудно и тяжело. И моим девочкам тоже трудно. Так трудно, что мы засыпаем сразу же после работы и спим как убитые, долго и крепко, и даже охаем, не просыпаясь полностью.

Так идет наша военная жизнь.

Мимо нас, грохоча, проходят эшелоны, проходят санитарные поезда, груженные пульмановские вагоны. Война проходит мимо нас. Настолько мимо, что мне даже нечего написать папе. Разве только бомбежки. Но ведь бомбежки — это то, что касается также и мирного населения, и тут не напишешь, что в километре от нас упала бомба и убила корову.

В общем, мы стираем. Мы стираем грязное белье бойцов и командиров — вот чем мы причастны к войне, и завидуем...

Но теперь нам немного легче. Мы привыкли, мы научились стирать. Мы не так уж плохо стираем и не так уж плохо гладим. Кроме того, мы зашиваем, штопаем, чиним и теперь иногда вечерами поем в нашем сарае. Топится железная печурка, пахнет глаженным бельем. Шурик, полузакрыв глаза, дирижирует поленом, а мы хором поем:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка...

Все жарче и горячее от печурки, хочется спать иленьку, и песня поется как-то сама по себе. Потом мы ужинаем кашей или супом. Пьем чай, А по крыше нашего сарая барабанит дождь, унылый осенний дождь.

Среда

Машинально написала день, а не все ли равно, какой день. Положим, не все равно. Нас заменили более пожилыми женщинами. А мы едем к переднему краю. И Шурик тоже умолил взять его туда. Мы уезжаем — Тася и Капа, я и Шурик. И Варя. Нас комплектуют, и нам везет: мы все вместе. Глухой ночью, на разбомбленной дороге, над какой-то кручей, под которой грохочет речушка, мы отыскиваем свой автохирургический отряд. Мы тыкаемся в грязи между горячими радиаторами автомобилей, мы слышим незнакомые голоса, незнакомые имена, и нам жутковато — среди этой чужой, заведенной военной налаженной жизни, среди грохота моторов, суровых, хрипловатых голосов, среди привыкших к войне.

Потом мы рассаживаемся по машинам. Меня берут в санитарку. Я так устала, что ничего не соображаю. И есть мне тоже ужасно как хочется. В санитарке темно, тесно, я еле втискиваюсь и уже сквозь сон слышу где-то неподалеку голос Зайченко:

— Разрешите доложить, товарищ военврач второго ранга...

Вероятно, во сне я опустила голову на плечо моей соседки и теперь при свете аккумуляторного фонаря разглядываю маму Флеровскую. Мама Флеровская — фамилия, известная на нашем фронте, и даже у себя в прачечной я не раз слышала эти два слова: «мама Флеровская».

Сейчас я вижу ее в профиль. Крупные черты лица, воротник шинели поднят, стриженные, совсем седые волосы. Внезапно мама Флеровская оборачивается ко мне, и я вижу ее глаза, карие, горячие, совсем молодые, почти юные.

— Есть хотите?

Голос у нее грудной, глубокий.

— Медсестра?

— Санитарка, — отвечаю я.

Мама Флеровская продолжает смотреть на меня пристальным, точно оценивающим взглядом. Фонарь гаснет, машина вновь начинает прыгать по ухабам и рытвинам. А я засыпаю, тесно прижавшись к моей новой знакомой, и испытываю при этом неизъяснимое чувство

доверия к ее плечу, к запаху ее пинели, к горячему взгляду ее юных глаз.

Масса работы. Мы разворачиваемся. Совсем неподалеку идут бои. Воздух дрожит от орудийного грохота, визг и вой от пролетающих снарядов стоит над валунами, над озером, над корявыми, низенькими деревцами. Там, где мы таскаем оборудование, мучается раненая лошадь. В ее золотистом глазу дрожит слеза. Когда мы проходим мимо, лошадь поднимает к нам морду и точно просит о помощи. Вдруг я вижу, как мама Флеровская подходит к лошади, вынимает из кобуры пистолет и стреляет лошади в ухо. За грохотом недалекого боя почти никто не слышал выстрела, а мама Флеровская молча, не оглядываясь, скрывается в одной из палаток медсанбата.

Потом налет. Потом еще налет. Мы лежим в камнях, я и Тася, и я слышу, как плачет от страха Тася, я чувствую, как она прижимается ко мне, как она дрожит всем телом, какая это крупная дрожь, почти судороги.

Мы прощаемся. Крепко целуем друг друга, что-то шепчем, в чем-то клянемся.

Еще налет. Теперь с нами и Варя, и Капа. Прижавшись всем телом к сырым, холодным, влажным камням, я вижу неподалеку от себя Ташино лицо и вдруг понимаю, какая она красивая, Тася, какой у нее рот, и какая шея, и какая стремительность, широта, прелесть в ее тонких, разлетевшихся бровях, сколько... Я не успеваю додумать. Воеет футаска. Мы вжимаемся в камни, нас засыпает щебенкой, землей, грязью, щепками...

А потом мы снова работаем, и я слышу, как Тася шепчет мне:

— Я не выдержу! С ума сойти! Ната, я не выдержу! Ната, я убегу...

Наш старый хирург, толстый и лысый человек с торчащими грозными седыми усами, сидит на ящике и курит самокрутку из деревянного мундштука. Во время бомбежки его ушибло камнем в поясницу, и теперь он ходит почти на четвереньках. Его зовут Петр Андреевич. Мне сказали, что у него какая-то сложная болезнь, я забыла название, что у него бывают припадки этой болезни, и тогда он катается от нечеловеческой боли и совершенно теряет разум.

Сколько я не спала?

Не знаю. Ничего не помню. В голове стучит, руки онемели, в глазах песок.

Холодный вечер. Свистит ветер, свистит и завывает в овраге, в валунах, в кудых деревцах. Ливня льет дождь. Скорее спать, только спать, только лечь или сесть где-нибудь, где сухо и где не дует ветер. А места нам нет. Мы слоняемся полуживые от усталости, промокшие, иззябшие. Спать негде. И вот мы сидим и дремлем в закуте возле нашей будущей перевязочной. Нам хорошо, как в раю. Нам хорошо до тех пор, пока над нами не раздастся металлический голос какого-то военврача третьего ранга:

— Санитарки, тут не спят! Санитарки, вы слышите!

Мы слышим, но мы не можем пошевелинуться, у нас нет сил.

— Санитарки, кому я говорю! Санитарки, встать!

Я медленно поднимаюсь. Если бы этот хлыщ знал, кто мой отец!

Поднимаюсь и вижу — это Лева, один из папиных учеников. Он краснеет. Я молчу и не здороваюсь с ним. Так начинается наша вражда.

Я всегда терпеть вас не могла, многоуважаемый Лева!

— Наташа, не сердитесь, — говорит Лева.

Мы молча уходим под дождь и долго мокнем там, пока на нас не натывается мама Флеровская.

Среда

Писать трудно, но я буду писать при всех условиях, я буду писать обязательно, во что бы то ни стало. Я буду писать подробно, без сокращений, буду писать все.

Солнечный, прозрачный день поздней осени.

Где-то за деревьями жужжит вражеский корректировщик. Он жужжит непрерывно вот уже более часа кряду, что-то высматривает, охотится, подстерегает. Изредка я поглядываю в небо. Жужжит или не жужжит — все равно. От этого ясного, прозрачного северного неба мы не ждем ничего хорошего: там часто лазают немцы и оттуда часто с воем летят бомбы.

Но сейчас мне не до этого. Я работаю в операционной. У меня в глазах радужные круги от усталости, от запаха эфира, бензина, от вида крови, от страданий, среди которых проходит мой день.

Наша операционная в землянке. Над нами несколько накатов. У нас немного душно. Военврач Петр Андреевич Русаков, слегка согнувшись, стоит над столом. Прямо стоять он не может от давешнего удара камнем. Глаза у Русакова красные, щеки ввалились, даже усы как-то повисли, потеряли прежнюю лихость. И в красных, слегка выпученных глазах сердитое и страдальческое выражение.

Сколько человек может не спать?

Сколько врач может оперировать?

Когда хирург замертво падает у стола?

В операционной тихо. Сюда, к нам под землю, не доносятся никакие посторонние шумы. У нас тут своя жизнь, отдельная, особая.

Анна Марковна стоит у своего стола с инструментами. Лицо ее закрыто, видны только измученные, старые глаза. Теперь никто не поверит, что ей тридцать девять лет. Теперь всем видно, что ей под пятьдесят. Но ее измученные глаза все время следят за хирургом.

— Сестра, пеан!

Он еще не договорил, а пеан уже у него.

— Шарик!

И шарик тут.

— Щипцы Листова!

Весь ход операции ясен Анне Марковне. Неотрывно она следит за хирургом. Ловкие, короткопалые, пухлые ее ручки никогда не запаздывают, никогда не задерживаются, никогда не ошибаются.

Ассистирует Русакову мама Флеровская. Я вижу ее блистающие кротким светом глаза, вижу ее руки в перчатках, вижу ее голову, повязанную белым платочком — низко по брови, — вижу, как она растягивает сверкающими инструментами рану, чтобы Русакову было удобнее работать, и вспоминаю, что мама Флеровская стоит тут вторые сутки.

Вторые сутки!

Прошлые сутки она оперировала, теперь ее сменил Русаков, но она не ушла, осталась.

Я слышу сильный голос Русакова:

— Наталья, пойди посмотри, сколько их там.

Пока Русаков, сидя на табуретке, пьет холодную воду, я выхожу из операционной по ступенькам наверх. От воздуха, от света, от ветра, от солнца, от прозрачной го-

лубизны неба у меня кружится голова и перед глазами мелькают золотые мухи. Тут на носилках и просто так, на шинелях, лежат раненые. Почти никто не стонет. Тихо, только ветер посвистывает да жужжит за сопками самолет. В сортировке я считаю раненых, назначенных на операцию. Четверо. Один высокий, горбоносый, заросший черной щетиной. Ему коротки носилки, и ноги его в грязных хромовых разодранных сапогах свешиваются с носилок.

Другой, с тяжелыми скулами, с маленькими медвежьими глазами, страдает невыносимо и говорит мне негромким голосом:

— Нельзя ли морфию, сестрица. Или пантопону!

Тут работает Варя. Шепотом она говорит мне:

— Нельзя ему. Ничего ему этого нельзя. Давали ему, все время давали, только что давали...

Два других раненых в забытьи, один что-то шепчет белыми губами, другой дремлет.

— Четверо, — докладываю я Русакову, — один грузин, один капитан, два бойца.

Русаков кивает усталой головой.

Несколько секунд он спит. Я вижу, как он проваливается туда, в сон. Это происходит мгновенно. Голова Русакова свешивается, шапочка падает с его лысой головы, он всхрапывает и тотчас же испуганно открывает глаза.

— Да, — быстро говорит Русаков, — да, да, да...

Вытирает губы ладонью и идет мыть руки к умывальнику. Моясь, он поет:

Белой акации гроздь душистые...

Голос у него хрипловатый, глаза закрываются сами собой.

Маму Флеровскую вызвали. Теперь Русаков будет оперировать почти один. «Белой акации...» — напевает он, подходя к столу. Потом спрашивает:

— Фамилия?

— Капитан Храмцов, — следует ответ. — Игорь Николаевич.

— Артиллерист?

— Пехотинец.

Это тот самый капитан, который просил у меня морфию или пантопону.

— Так-с, — тянет Русаков, — так-с, молодой человек, так-с...

Я стою на своем месте возле стола. Я вижу, как дрожит кожа на груди раненого, я вижу, как струится пот по его лицу. Он лежит, голый, ширококостый, и все его большое тело покрыто большими и маленькими ранами. На нем почти нет живого места, только лицо и голова не ранены.

— Так-с, капитан Храмцов, — тянет Русаков, — так-с... А вот знал я одного... прозектора... тоже Храмцов... Это не родственник ваш?

Анна Марковна дает маску. Храмцов дышит и ругается. Тяжелая, злобная ругань вылетает из его горла. Он ругается, борясь с наркозом, и Русаков не без удовольствия бормочет:

— Боевой капитан...

Начинается операция.

Моя ладонь вся мокрая от пота. Этот капитан весь взмок, пока его готовили к операции. Я все время гладила его по широкому лбу. Я не знала раньше, что люди могут так потеть от боли.

— Так-с, — кричит Русаков под своей повязкой, — вот мы сейчас таким путем...

Его могучие руки с осторожной и умной силой работают где-то в брюшной полости. Его зоркие, немного рачьи глаза в кровавых прожилках смотрят туда, где работают пальцы. Глубокое молчание, почти ничем не прерываемое, царит в нашей операционной. И вдруг я вижу, как большое усатое лицо Русакова внезапно искажается, дикая гримаса пробегает возле глаз, выражение смертельного страдания сменяет нелепую гримасу и все, что не закрыто шапочкой и повязкой, бледнеет в одно мгновение.

— Морфий! — слышу я хриплый голос.

Кому морфий? Что случилось?

Никто ничего не понимает. Со звоном падает и разбивается какая-то склянка.

— Морфий, — опять хрипит Русаков.

И тут я догадываюсь. Я вспоминаю то, что я слышала о странной болезни хирурга. Я понимаю — с ним припадок. Я понимаю — его руки в брюшной полости, на нем стерильный халат, он весь стерилен, к нему нельзя притронуться. И бросить операцию он не может.

— Морфий, морфий, морфий, — хрипит Русаков, и его рачьи глаза почти лезут из орбит, — морфий, дуры, скорее!

Судороги сводят его лицо.

Я хватаю шприц. Где-то на пути я встречаюсь с взглядом Анны Марковны. Я вахожу к руке.

— Назад, идиотка, — хрипит Русаков, — не подходить ко мне!

Я останавливаюсь со шприцем. Я запуталась, я пропала.

— Куда же? — спрашиваю я. — Куда колоть?

— В зад!

— Но вы же одеты... брюки...

— Через штаны...

Он отставляет круглый, большой зад.

— Левее, — как сквозь туман слышу я голос Анны Марковны, — выше!

Я колю левее и выше и надавливаю поршень. Мое сердце страшно колотится. Бегут секунды. Все мы — несколько пар глаз — уставились на Русакова. Мы видим, как он дышит. Мы видим, как он ждет. Еще несколько секунд — и мы слышим голос:

— Сестра, салфетку.

Операция продолжается. Я смотрю на Русакова и ничего не могу понять: он, толстый и пожилой человек, некрасивый, с носом картофелиной и рачьими глазами, сейчас вдруг стал так дорог и мил мне, так неизмеримо громаден по сравнению со всеми нами, что мне кажется, будто это не он, а другой, не тот, которого я знала уже несколько недель, а совсем, совсем иной человек.

Но это он, он. Опять он противно кряхтит, как кряхтел раньше, двадцать минут назад:

— Так-с, так-с...

Опять ругается:

— Сестра! Черт! Санитарка! Дура! Поросятина!

Я слушаю это, и чувство моей преданности к нему все растет, мне хочется, чтобы он меня выругал, если это доставляет ему хоть каплю удовольствия.

Операция закончена.

Русаков выходит из операционной и ложится на камни. В халате, с короткими ногами, усатый и краснолицый, он теперь напоминает мне толстого и плутоватого

кота из какой-то позабытой детской сказки. Особенно, когда храпит:

— Курррр-мурррр, курррр-мурр.

Кот, нарядившийся в белый халат для каких-то своих проделок.

Я опять считаю раненых и не верю своим глазам.

— Было четверо, оперирован один, осталось двадцать восемь.

Как же это так? Я снова считаю.

Этого просто не может быть.

Я бужу Русакова. Он встает мгновенно и мягко, и мне кажется, что он еще должен потянуться, как кот, но он почему-то не потягивается.

— Двадцать восемь, — говорю я, — еще двадцать восемь.

— Двадцать восемь, — покорно повторяет Русаков.

Ему приносят кружку чаю, он медленно пьет и спускается в операционную. На столе уже новый раненый. Потом еще и еще.

— Сестра, кетгут, — слышу я как сквозь сон, — какого черта, идиотские свиньи...

Собственно, он ругает не нас. Он просто бормочет, это почти как бред.

А ночью я опять докладываю:

— Двадцать один.

Мама Флеровская становится на место Русакова. Он спит, сидя в сенях землянки, и курлычет:

— Курр-мурр, курррр-мурр.

Я сажусь на пол и тоже засыпаю.

И просыпаюсь от холода. Утро. Там, наверху, хлещет дождь. Шатаюсь, я выхожу. За огромным валуном разгружается машина. Я плохо соображаю. Шурик Зайчонко разгружает раненых и, заикаясь, покрякивает.

— П-полегче! Разом!

Это очень странно, но Шурик зарос бородой. Никогда не думала, что у него растет борода.

— Устал, Шурик? — спрашиваю я.

— Ч-чепуха! — отвечает он. — Вздор! — И вновь командует: — П-полегче! Дружище!

Легкораненые приходят сами. Тяжелораненых привозят. Мы все разделены на бригады. Мы работаем еще сутки. Мы сортируем, оперируем, перевязываем, лечим,

кормим, грузим в машины и отправляем. Все это называется поток.

Поток кончился.

Немцы и финны наступают. Везде, всюду они наступают, лезут вперед, прут. Отовсюду дурные вести. Валит снег. Холодно. Я простужена. Доктор Русаков стоит у двери своей землянки и свистит про белую акацию. Я знаю, что это значит: он думает о семье, которая пропала без вести где-то на западе.

Мой папа ничего не пишет, Свистит осенний, холодный ветер,

Понедельник

Проснулась раненько, пошла к своим раненым, у меня уже есть свои; своя землянка, где они лежат, есть свои обязанности, я уже не только на посылках. Пошла, сделала что полагается, выхожу, смотрю — идет по тропинке капитан Храмцов. Идет, немного прихрамывает, в пальцах дымится папироса, фуражка надвинута на глаза.

— А, здрасьте, сестра!

Я отвечаю:

— А, здрасьте, майор!

Он спрашивает, почему майор? Я в ответ — почему сестра? Санитарка, а не сестра.

Вот стоим, разговариваем. Он похудел, побледнел, но медвежьи умные глаза посмеиваются, и говорить с ним на редкость просто и легко. Стоит и причмокивает.

— Что вы? — спрашиваю.

Выясняется, что болит зуб. Уж который день.

— Неловко, конечно, когда война, жаловаться на зубную боль, но понимаете ли... — И лицо у него сделалось ужасно виноватым.

Свела я его куда следует, показала. Спрашиваю:

— Легче теперь?

— Нет, еще хуже, — Посмеивается. Потом прищурился и спрашивает: — Мне говорили, что, когда меня у вас оперировали, что-то произошло. Чрезвычайное происшествие во время операции. Это правда?

Сдвинул немного свою фуражку и сам рассказал, как все произошло с Русаковым, как Русаков на меня кричал, когда я морфий впрыскивала,

— Таким образом, — говорит, — вы приняли ближайшее участие в операции. Так?

Я стою, помалкиваю. Дождик сыплется со снегом. Тихо, безветренно. Храмцов новую папиросу вынул, заговорил:

— Не задерживаю вас?

— Что вы!

Потом я повела его к нам в землянку чай пить. Анна Марковна тоже его узнала, Варя узнала, Тася. Он со всеми вежлив, ровен, чаю пьет ужасно много, мне даже страшно стало, что один человек может столько чаю выпить.

Говорит преимущественно о Сибири. Сибиряк, учитель, охотник. Тася смотрит на него своими ласковыми глазами, слушает его, похрустывает пальцами и смеется как-то особенно.

А мне неприятно.

Потом, когда он прощался, Тася сказала:

— Заходите ко мне! У вас же бывают свободные минутки.

И что за слово — «минуточки»! И что значит — ко мне? При чем тут Тася?

Вышли из землянки мы вместе — я и Храмцов.

— А что касается войны, — сказал он, — то ежели хотите поглядеть, приходите ко мне в батальон. От меня виднее. Попробуйте вашу санитарную работу с самого начала. Сговорились?

Тася вскочила:

— А вы еще тут?

И побежала по тропинке как-то особенно, никогда она раньше так не бегала.

Командир медсанбата у нас молодой — Телегин некто. Молчаливый человек, курит трубку. Когда приказывает что-нибудь неприятное, краснеет, как девушка.

Пошла к нему:

— Можно мне в батальон к Храмцову отправиться?

Смотрит на меня исподлобья:

— Зачем?

Я рассказала зачем. Добавила, что у нас тихо, спокойно, работы нет. В это время вошел Русаков. Пофыркал и говорит:

— Влюбилась, наверное. Знаем эти штучки.

Короче говоря, никуда меня не пустили, но через несколько дней сами меня туда отправили. Так случилось. Записывать подробности не буду, но Телегин, смущаясь, сам меня отправил.

И началось.

Еще по дороге снаряд угодил в санитарную машину, не в машину, правда, а в дорогу, но радиатор весь нам разворотило, и пришлось дальше идти пешком. А тут выяснилось, что финны и немцы пошли в обход с высоты на озеро. Все растаяло, грязь, скользко, мокро, ужас...

Прежде всего мне было ужасно тяжело: создалось такое положение, что ни на машине не подъехать, ни на лошади, ни с носилками не подойти. Озеро набухло, болото расползлось, вот и добирайся. Муть, туман, сырость. Я совершенно промокла, самое себя тяжело таскать, а еще сумка. Да толком неизвестно, куда идти, где отыскивать. Потом в книге я прочитала, что существуют такие пикетажные знаки, которые указывают путь, а тут туман и ничего не видно. Обстрел все время из минометов. Мокреть — гнездо для раненых негде установить. И к тому же военфельдшера ранило. Его я тащила-тащила, думала, умру. Он тяжелый дядька, сердитый, каждую минуту вырывается и говорит, что сам дойдет, а сам идти не может, падает. Потом вижу, на кочке в болоте красноармеец сидит. И никак к нему не подобраться. Вода кругом, снег, грязь, болото. Набралась я сил и влезла в эту тину холодную. Ужасно неприятно. И такая тина, что ноги едва передвигаю. Добралась наконец. Сумка сухая, я ее над головой несла. А он без сознания — молоденький мальчик, сержант. Осколочное ранение. Вожусь с ним и все думаю, как же мне его назад доставить, как же мне его унести с этого так называемого поля боя. Как через воду перетащить? Плыть, что ли? Но автомат его, каска, сумка, моя сумка. А вокруг мины визжат, и темнеет уже, и сержанту моему никак не лучше. А самое страшное, что никого из наших не видно. Бой передвигается правее, обстрел из минометов прекратился, но людей совсем никого. Помучилась я. Опять пошла через болото, спустила на воду корягу, привязала сержанта к коряге, а она вертится, проклятая, и так мне страшно, что сержант мой захлебнется. Вцепилась ногтями в корягу, а сама иду рядом, толкаю ее и тоже бо-

юсь захлебнуться. И почему-то прежнюю дорогу потеряла, пошла иначе и еще глубже. А плыть боюсь, упустишь корягу — пропал сержант.

Вытащила я его наконец и заплакала. Нет больше сил никаких.

Но не могу же я его бросить. Ведь это же подлость, его бросить. Поплакала и понесла его дальше, на спину взвалила и несу. Пять шагов пройду — и падаю. Еще три пройду — и падаю. Наверное, от этих моих падений он и пришел в себя.

— погоди, — говорит, — не тащи, я сам пойду. Дай мне, сестрица, водички выпить — я и пойду.

Какое это прекрасное слово — «сестрица». И тот, кто это слово в таких случаях жизни слышал, тот никогда его не забудет.

Дала я ему попить.

И пошли мы с ним вдвоем. Фамилия его Перехрест. Будь здоров, милый Перехрест! Может, еще и встретимся.

Привела Перехреста и опять пошла. Вынесла студента, командира взвода. Его бойцы вытащили из боя. Он им сказал, что дальше сам справится, и завалился в грязь. Сколько хороших людей, храбрых, сильных настоящих, и как приятно, когда такие люди благодарят тебя, называют сестрицей; спрашивают, не тяжело ли, не устала ли... Потом в палатке стала я разувать студента, а он никак не дается, говорит:

— Бросьте, ну его к черту, у меня ноги грязные.

Фамилия его Барабош, Володя Барабош.

Будь здоров, милый Володя, может быть, мы еще встретимся. На прощание он мне сказал:

— После войны в Ленинграде, ровно в шесть часов! Я не люблю, когда после войны опаздывают, будем точными, сестрица!

Сколько раз я слышала эту фразу, сколько запекшихся губ шептали мне эти слова, сколько великолепных людей, сдерживаясь, чтобы не застонать, говорили мне:

— После войны, в шесть часов...

Да, да, после войны, в шесть часов, в Ленинграде, под аркой Главного штаба. И не опаздывать...

Да, после войны мы обязательно там встретимся. Каждый день после войны ровно в шесть я буду приходить под арку и наверняка кого-нибудь увижу там из

своих крестников. Каждому я пожму руку, каждого я поцелую, каждого возьму под руку, с каждым пройду по набережной Невы.

Морозит. Мне холодно, как мне было ужасно холодно, как дико холодно. Никогда я не переносила ничего подобного.

Теперь на мне все обмерзло. Обмерзли ватные брюки, ватная тужурка, сапоги, белье, гимнастерка. У меня не попадает зуб на зуб. Меня буквально колотит. Беззвездная ночь. Тьма. Я перекликаюсь с санитаром Тимофеевым. И вдруг я слышу знакомый голос:

— Наташа?

Это капитан Храмцов. Он меня втаскивает куда-то. Я сразу начинаю задыхаться от духоты. Это землянка. Печь в ней раскалена докрасна. Мне дают водки. Я пью водку, как воду. Мне все нипочем сейчас. Я слышу, как телефонист кричит.

— «Дон», а «Дон»? «Дон», что ты в самом деле, «Дон»...

Меня завешивают шинелью, и я там за шинелью раздеваюсь догола. Мне дали все сухое, все мужское: подштанники с завязками, длинную сорочку, синие брюки галифе с какого-то гиганта. Я их подворачиваю, подворачиваю и никак не могу подвернуть, все длинно. Потом ботинки и обмотки. А больше я ничего не помню. Оказывается, я так и заснула за шинелью, сидя на полене, обуваясь, а потом упала с полена и проснулась. Поела и ушла. Храмцов мне сказал:

— До свидания, сестрица!

— До свидания, майор!

Опять ночь. Лес дрожит от огненного налета нашей артиллерии. Я устала, колени у меня подгибаются. Сквозь сон слышу, как Храмцов кричит, что ему надоели разговоры об этих окружениях.

— Я запрещаю! — кричит он. — Это ложь и трусость, вот это что! И не смейте на меня таращиться, не смейте!

Он выбритый, худой, бледный и сердитый. Маленькие его глаза сверкают. А я уйду носить раненых на вторую подставу. Теперь я уже многое видела. Я выносила с поля боя. Я ползала, таскала раненых на шинели, на плащ-палатке, даже привязывала к плащ-палатке веревку. Меня обстреливали, меня лично, мне было страшно. Я волокла раненого ползком, выносила за сто — две-

сти метров, потом на первую подставу, потом с первой на вторую, потом со второй... Это тяжелая, лошадиная работа. У меня от нее болит поясница. Я даже охаю порой. И нести нужно долго, около километра, а дорога ужасная: лед, вода, снег, грязь, скользко... Еще я организовала санитарные грабли. Дело в том, что тут можно потерять раненых: очень дикая природа, все эти кочки и болота, и вот мы все, санитары и фельдшер — все идем цепью по тому пути, по которому наступала рота. Идем и аукаем. Негромко, но аукаем, чтобы, если мы не увидим, раненый бы откликнулся. Так мы нашли одного, потом еще одного. Они очень отошались, бедняги, а один долго не верил, что мы свои, ругался и хотел даже отстреливаться. Потом сказал:

— Если фиппы, все равно подорвусь, имейте в виду. Сердитый!

Фамилия связиста Ильяченко.

— В шесть часов после войны, связист Ильяченко, в шесть часов под аркой Главного штаба.

КАК МЫ БЫЛИ В БАНЕ

Вот мы пошли в баню: Анна Марковна, я, Капа, Воря, Тася — вся наша землянка.

А баня у нас не в землянке, а в такой палаточке. Полупалатка, полупостройка. Разделись. Анну Марковну холодной водой плескаем, подняли страшный тарарам. Капа обожглась и кричит:

— Родионов, давай похолоднее. С ума сошел?

Родионов — это у нас боец, который автодушевой установкой заведует.

Он тоже снаружи кричит что-то, а что — не слышно. Потом все наладилось, вода пошла нормальная, мы головы моем, обсуждаем, у кого какая фигура. У Капы ноги слишком длинные, а у Вари слишком короткие. У Таси плечи слишком покатые.

— А у меня? — спрашивает Анна Марковна и становится в позу, как статуя.

Мы собираем консилиум и выносим решение — надо вам, Анна Марковна, немного похудеть.

В это время как загремит что-то, как завоет!

Анна Марковна сразу на корточки и так на четвер-

реньках в угол. Мы все тоже кто куда. А Тася кричит: «Девушки, налет!»

Оно опять как даст! Щепки летят, железа кусок упал, дым — и сразу загорелось!

Анна Марковна кричит:

— Девушки, по щелям!

А мы все голые. И на дворе снег идет. Вот ужас! И одеться нет никакой возможности. А уж Тася наша дверь отворила и на улицу как побежит: длинная, красивая, пар от нее так и валит. А за ней Анна Марковна — скок-скок, как лягушка. И эмалированной миской голову прикрывает — хитрая...

Потом Капа, потом я, потом Варя!

Конечно, ничего не соображаем.

А самолет-то давно улетел. Пока разобрались — хоту было, глаза невозможно людям показать. Ведь мы голыми-то в щель попрыгали, в снег. И хоть бы кто простудился.

Потом наш философ Шура Зайченко заметил следующее:

— Женщины, когда они без мужчин, очень легко поддаются всякого рода массовым психозам. В данном случае был психоз страха. И повальное заражение психозом.

За эту мысль Тася дала Шурику пересохшую конфету «Киска». Шурик у нас сластена.

Четверг

Как вам это нравится, Наташа? Известный Шура Зайченко получил медаль. Ну кто бы мог подумать? И какая прелесть, этот Шурик; с каким удовольствием я его расцеловала в обе щеки. Как он сам и сконфужен, и доволен, и глазам своим не верит.

Опишу историю санитара А. Зайченко с его слов,

КАК ЭТО БЫЛО

— Понимаешь, какая штука, я сам не понимаю, как это было. То есть, Наташа, я не могу дать себе всесторонний отчет. Психологически это для меня самого загадка. Ты ведь знаешь, что я по природе своей нехрабрый человек. Быть может, даже трусоватый. В общем, я не совсем ярко выраженная фигура волевого командира.

Одним словом, ты помнишь, как я прятал голову при первой бомбежке медсанбата. Мне самому это тяжело вспоминать, но я не скрою эту постыдную картину от своего умственного взора. Что ты зеваешь, Наталья, тебе скучно?

— Нет, но ты уж очень красиво говоришь и немножко длинно.

— Хорошо, я буду говорить коротко. Прости, пожалуйста, но ведь ты знаешь мою склонность к психологическому анализу. Я ведь, если ты помнишь, хотел избрать себе в будущем нервные болезни... Ну хорошо, хорошо. Не морщись. То есть, когда я попал в бой, мне, конечно, было невыразимо страшно. Эти пулеметы, черт их возьми, я ведь даже не совсем ясно себе представлял, который час. И главное, так громко. Потом мне мой напарник-санитар заявляет:

— Мы попали в вилку.

Какая вилка? Почему вилка? Меня и так тошнит, а тут еще вилка. Я ненавижу, когда мне говорят такое неясное и загадочное. В общем оказалось — эти минометы нас обстреливали. И у них какая-то там вилка. Меня всего землей закидало. И звук при этом отвратительный, даже в животе щемит, когда она визжать начинает. Короче, мы ползем. Две ящерицы ползут и тянут за собой лодку-волокушу, потому что там раненные и их надо вытащить. Вдруг мой напарник как подскочит. Что такое? Его, понимаешь, ранило. Я жгут ему наложил и думаю, что делать. Тут неподалеку как раз ямка. Я его погрузил один в волокушу и в ямке оставил и дальше пополз. Вот ползу-ползу — и прижмусь к земле. Я потом стихи написал, ночью, знаешь, был страшно возбужден, нервничал и в землянке писал. Там есть такие строчки:

О мать прохладная земля,
К тебе прижмусь,
С тобою я.
Но долг зовет,
Труба поет,
И я ползу, ползу, ползу
Под минометное зу-зу...

— Я вижу, тебе не нравится, Наташа?

— Нет, ничего, — говорю я, — только что это за минометное зу-зу и где ты это слышал трубу?

— Ну не все ли равно, — раздражается Шурик, — здесь же дело в эмоции, в моем ощущении. Это мое субъективное ощущение насчет зу-зу. А труба — это романтизм...

Рассказ продолжается.

Первого раненого Шурик вынес с поля боя благополучно. Натерпелся страху, но вынес. И пополз за вторым. Вот тут-то и началось.

— Понимаешь, какой-то мерзавец решил за мной поохотиться. Для того чтобы подобраться к моему раненому саперу, мне надо было переползти через холмик — иначе никак. И вот как я сунусь — сразу выстрел.

Главное, сидит, негодяй, где-то неподалеку. Посмотрел — кукушки нет. То есть деревьев нету. Значит, кукушке и быть негде. Ну, я пополз в сторонку, думаю, возьму его обходом. В общем ползу-ползу — да как ахну: представляешь себе — несколько валунов, а за валунами сидит боец. Ну совершенно неожиданно! Сидит и на меня смотрит. Я у него спрашиваю:

— Свой?

— Ясно, — отвечает, — свой. Только дальше, — говорит, — не лезь ко мне.

Я только хотел спросить, почему не лезть, а в это время автомат как даст! Как раз между нами. Так щебенка и полетела. Я к земле припал и замер. Опять тихо-тихо. И никак мне это расстояние нельзя проползти. Простреливает какой-то мерзавец. Вот я лежу и слышу, как мой боец говорит.

— Ты, — говорит, — санитар, однако, не психуй. Я в ноги раненный, и ты мне должен оказать первую помощь. Но поскольку ко мне хода нет, ты должен обеспечить ко мне ход. А для этого надо того гада-немца уничтожить...

И объясняет, что за сопочкой, вернее, на маленькой сопке, засел финн или немец с автоматом и стреляет по раненым. У него там оборудована вроде пещерка с амбразурой. Добраться к нему довольно просто, если сзади подползти. И надо гранату кинуть в амбразуру или штыком туда.

Я слушаю и прямо холодею. С ума, думаю, сойти! Это чтобы я, Шурик Зайченко, полз и подползал и с гранатой, и со штыком. И кидать гранату! Так ведь я даже не строевик, я ничего не проходил,

И говорю ему, что я этого не проходил, а он не понимает и вдруг спрашивает:

— Ну, а присягу проходил?

Я отвечаю, что это по меньшей мере довольно странный вопрос.

— Сам ты, — говорит, — довольно странный. Давай, слушай меня.

И аккуратным таким говорком, сибирский у него говор, объясняет мне, как надо кидать гранату, всякие там ужасные подробности. А потом как заругается! Мне даже неудобно тебе, Наталья, пересказывать, как он меня называл. За то, что я боялся, он меня ругал.

Я ему отвечаю:

— Вы, гражданин, посылаете меня на верную гибель. Я для этого не приспособлен.

Он опять заругался. Ужас сколько он этих слов знает, мой Семен Семеныч. И костит меня, и объясняет, что мне обратного хода нет, потому что согласно присяге я раненых должен эвакуировать, а эвакуировать под таким огнем нельзя, значит, я не выполняю то, что мне положено, и брошу товарищей на поле боя.

— Понял?

И сам он сделался белый как снег.

— Понял? — спрашивает парень.

— Ладно, — отвечаю ему, — давайте, учите. Учите, как эту гранату кидать. Все равно — смерть.

Потом швырнул он мне шпегатик с камешком. Я камешек к себе потянул, а за камешком на шпегате висит граната, даже две. Страшненькие такие, тяжеленькие. А мне, представляешь, Наталья, мне уж и море по колено. Нет, думаю, Шурка Зайченко умрет как настоящий человек. Чтобы никто не сказал, что Шура умер как трус. Что угодно, а лучше умереть от храбрости, чем от трусости. Лучше умереть от обжорства, чем от голода. Взял я весь этот арсенал и пополз. Ты себе не представляешь, сколько времени я полз и что делалось в моей голове. Потом ботинки взял и бросил. Потом полакал воды в болоте, как собака. И этим самым болотом ползу. Слышу, совсем близко палит. Опять слышу — выстрелил. Где-то тут, рядом... Ну, в общем, что долго рассусоливать. Я поднял голову и вижу — камни, камни, а в камнях, совсем близко, подковапные, на шипах, здоровенные

такие ботинки. Он, понимаешь, головой в пещерке, а ноги наружу.

Вот я и замер. Притаился. Только одно мое сердце бухает так, что кажется мне, услышит немец. Вдруг там у него камни загремели: шевелится, встает сейчас выйдет...

Что делать?

Нет, не встал. Пошевелился только, позу переменял.

Ну, приготовил я гранату, как во сне все, но руки, представь, не дрожали. Нисколько.

Немец еще выстрелил. Опять, думаю, убийца по раненым бьет.

И как кинул!

Тут сразу грохнуло, а я в болото свалился, отбросило меня в гадкую эту воду. Потом вскочил, огляделся. Тихо все, а там, где немец бил, ничего нет, только тряпки какие-то, и больше ничего. Очень сильный взрыв был в пещере.

Противно мне было, но залез я туда, достал оттуда автомат и ножик какой-то покореженный и пополз обратно. Ползу, и так мне, Наташа, хорошо, так легко, и думаю одно и то же: я — человек, я не дерьмо, я — человек. Потом встал и пошел. Ни черта, думаю, не будет. Кончилось с ползанием. Но не тут-то было, стрельнул какой-то. Опять я пополз. Босой, носки-то изорвались, ногам больно. Ну, приполз. Думаю, мой сибиряк сейчас мне такие слова скажет! Хоть бы что. Даже не спросил, как все было.

— Водочки, — спрашивает, — нет?

И мой трофейный автомат сразу себе. Я, конечно, вспылил.

— Это, — говорю, — моя вещь. Мой трофей!

— Возгордился, — сибиряк отвечает, — возгордился санитарный санитар! Лечи сначала, а потом побеседуем.

Посмотрел я ему ногу: батюшки мои, думаю, как он еще говорить может, не то что сидеть. Прямо каша, а не нога.

Сделал ему, что мог, и к саперу отправился. Сапер совсем плох, без сознания. Они, мерзавцы, его, раненного, второй раз ранили. Долго с ним возился. Вообще выдался денек. И ноги у меня совсем застыли, прямо не чувствую ног. Пока одного оттащил на волокуше, пока санитаринструктор мне попался, пока своего напарника оттащил, потом наконец сапера. И только до первой подставы.

А с сибиряком мы подружились. Я к нему в медсанбат ходил, пока его не отправили, четыре раза. Семен Семеныч Полосухин, человек интересный, но, когда я пытался психологически проанализировать события, он как-то странно на меня поглядывал, как на идиота.

Вот такой у нас Шурик Зайченко. Не правда ли, славный?

И вот как это все было.

Шурик считает, что он убил немца под психологическим нажимом Полосухина, что Полосухин «создал предпосылку деяния» и что он, Зайченко, был только исполнителем воли опытного воина.

Кроме того, Шурик произносил еще следующие слова: «антитеза», «как утверждает Беркли», «я был воцью в себе».

Он сидел в нашей землянке до ночи, и мои девушки совершенно закармливали его сладостями. Он ведь сладко-ежка, не курит, чай пьет жиденький-жиденький.

Теперь Шурик немного волнуется, что ему влетит от начальства за сапоги, которые он так и не нашел после своего боевого крещения.

Мы его дразним, что он попадет на гауптвахту, так как сапоги были новые. Я даже выдумала, что если бы они были второго сорта, то обошлось бы без гауптвахты, а поскольку сорт первый — будет десять суток гауптвахты.

Суббота, первая зимняя

«Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях» и т. д.

Ударил настоящий мороз, и масса наших мелких невзгод как-то разом кончилась. От папы письмо. Состоит оно преимущественно из шуток, а все-таки я понимаю: ему без меня скучно. Главный тезис письма такой: «Когда выйдешь замуж, напиши письмо, и не простое, а заказное, потому что ничего не напишешь, а скажешь, что написала, да письмо не доставлено; квитанцию просьба храть до окончания войны!»

Затем такие шуточки, что на севере полезны фрукты: лимоны, апельсины, свежие яблоки.

«Не ходи на высоких каблуках».

«Квартиру себе подыщи со всеми удобствами, с теле-

фоном, с ванной и пр. Без этих удобств жизнь на фронте тебе скоро надоест и ты начнешь проситься к маме на Урал».

Милый папа!

Приходил на лыжах Храмцов; ходит он к нам через Винькин лес и однажды застрелил там финна разведчика, пришел разгоряченный, сердитый, долго молчал... Тася смотрит на него ласковыми глазами и говорит с ним каким-то особенным, грудным голосом. Что ж, пожалуйста! И пальцами хрустит, точно это может доставить кому-то удовольствие.

Заводили патефон, и Тася с Капой танцевали, а Храмцов смотрел на них какими-то странными глазами.

Ваше дело, дорогие товарищи!

Я взяла и ушла к маме Флеровской и целый вечер штопала чулки, а мама Флеровская смотрела на меня своими милыми глазами и рассказывала разные истории из своей докторской жизни. В Ленинграде у нее брат и муж. Они давно-давно не пишут. И мне почему-то кажется, что с ними плохо.

Когда я вернулась в землянку, Храмцов уже ушел, а Тася спросила:

— Ты где была?

— У Флеровской.

— Зачем?

— А зачем мне было вам мешать?

Варя вдруг фыркнула в своем углу и сказала, что Храмцов ушел через десять минут после меня.

— Ну и что? — спросила я железным голосом.

Потом Капа сказала, что я, то есть Наташа Говорова, очень неоткровенная.

— Какая-то замкнутая, — согласилась Варя, — и немного гордая. Да, да, да!

— Ничем не хочет с нами поделиться, — сказала Капа, — точно мы ей не подруги.

Я молча легла спать.

Пятница

Вчера видела нашего начальника. Не начальника только нашего участка, а выше. Главного нашего начальника по всему фронту. Никак я себе не представляла его таким: оказывается, он большого роста, не в тулупе,

а в шинели, в фуражке, а мороз, холодно. Оружия никакого особенного на нем не навешано, вообще большой человек, почти даже огромный, а думала почему-то, что он маленький, в очках, с бородкой, сидит у себя в конторе, а вокруг него телефоны и он по телефонам кричит: — Запрещаю! Ни в коем случае! Снять с должности! Препроводить!

Я такого раз видела в кино.

Хотя, впрочем, про нашего начальника говорят совсем другое. Мне недавно мама Флеровская рассказывала, что он сам ходил на передний край проверять подноску горячей пищи в термосах и проверял эти термосы там, на переднем крае.

По специальности он хирург, и Анна Марковна мне сказала, что как-то была у него на операции операционной сестрой. Будто привезли тогда женщину-самоубийцу в клинику, она себе горло порезала в нескольких местах бритвой. В общем наш начальник этой самоубийце горло зашил. Пришла самоубийца в себя и заговорила каким-то диким голосом:

— Ах, зачем вы мне спасли жизнь, ах, зачем вы мне не дали уйти туда, в ночь, в смерть, ах, зачем...

Потом, когда сама себя услышала, схватила нашего начальника за руку и спрашивает:

— Доктор, неужели я так и буду теперь хрипеть? Доктор, верните мне мой голос! Доктор, я не желаю хрипеть! Доктор!..

Начальник наш посмотрел на нее да как захохочет...

Вообще про нашего начальника рассказывают много интересного по фронту.

Он еще юношей воевал, командовал какой-то частью, после революции — бригадой, что ли.

Странно как! Хирург командовал бригадой.

А на моих глазах произошла вот такая история.

Финны вдруг обстреляли наш медсанбат. Сильно обстреляли, тяжело. Это случилось внезапно, утром, никто этого никак не ожидал. И начальник этого тоже не ожидал, и два врача, которые с ним приехали. Врачи в тулупчиках. Один, пожилой, лицо большое, довольно сердитый, накричал на нашего одного врача, что у того шинель неправильно застегнута.

Одним словом, начался артобстрел. Мы все напугались, я на себя кружку с чаем опрокинула и скорее на

пол. Все легли, голову закопали кто куда и лежим. Что будешь делать?

Возле большого валуна разорвалось, потом ближе, потом еще возле валуна. Тут я голову подняла, противно стало, что же, думаю, так, как крот, и помрешь? Носом в землю?

Подняла голову и смотрю.

Опять как ударило! Посыпалось что-то, затрещало, лошадь закричала, никогда я не думала, что лошадь может таким голосом кричать. Ранило, наверное, какую-нибудь.

Опять я нос спрятала, потом посмотрела и вижу: кто-то чужой стоит, незнакомая спина, широкая; большого роста человек один, как скала, возвышается. И чего, думаю, стоит? Взяла и крикнула:

— Ложитесь, товарищ командир, опасно же!

Глупым таким голосом.

Он медленно повернулся, поискал глазами, кто ему кричит, не нашел, а я поняла, узнала, ну и совсем в землю зарылась. А он стал в другую сторону смотреть. Стоит, щурится, смотрит. Один. Огромный. Тут опять ударило.

Рядом со мной как раз Лева лежал. Вдруг как подскочит:

— Я же дежурный!

И побежал вподскок, как заяц.

Я его не люблю, и мне доставляло удовольствие смотреть, как он петлял по снегу, чтобы не заметил его начальник. Наверняка вспомнил, что дежурный, именно в ту секунду, когда увидел начальника. Помнил, может быть, и раньше, да предпочел забыть.

Все как-то сразу зашевелилось. Неловко стало лежать эдакими кротами. А тут и налет кончился. И что самое интересное, он никого не выругал, наш начальник, не посмеялся ни над кем. Как будто бы не заметил, что все попрятались, что стоял он один. Как будто бы так и нужно. Никакого не было разноса. А Русаков потом сказал:

— Человек он бывалый и понимает, что к войне надо привыкнуть. Я вот сколько воюю, а все не привык. Как-то во время пальбы стесняться начинаю...

Вообще же после этой истории наш медсанбат начал к войне относиться менее нервно,

Но это еще не все про начальника и про тех двух врачей, которые с ним приехали. Кстати, врачи эти тоже лежали во время артналета, а тот, что постарше, очень нервничал и долго потом ходил какой-то грустный.

Вот побывали они у нас в медсанбате, и начальник дальше собирается, в одно место М., там плохие были дела. Я слышу, как Русаков и Телегин ему в два голоса докладывают:

— Там дорога простреливается, очень тяжело ехать, почти невозможно.

Начальник стоит и барабанит пальцами по столу.

— Сплошь простреливается, — говорит Телегин, — ехать в высшей степени рискованно. О машине речи быть не может. Лошадь, и то почти безнадежно...

Начальник все барабанит пальцами по столу.

Врачи, которые с ним, переглядываются. Один, толстый, все воду пил, три стакана подряд выпил и еще отхлебнул.

Начальник разгладил двумя пальцами лицо, потом усы, потом встал и говорит:

— Так я, товарищи, поехал. — И, не оглядываясь на своих спутников, сел в дровни.

Они, конечно, бодренькими такими голосами:

— И мы! И мы! И мы!

Уехали они все. А я долго стояла и вслед смотрела.

Вечером мы долго говорили у себя в землянке на все эти темы. О храбрости и трусости. О необходимости риска и о войне. О том да о сем. Храмцов помалкивал. Болтал главным образом Шурик. В такие дебри философские забрался, что даже вспотел и никак не мог выкарабкаться.

Потом Храмцов сказал примерно следующее:

— Вы вот в М. не были, а я был. Там положение очень напряженное и неопределенное. И начальник ваш абсолютно прав, что туда поехал. Ему его сердце военного человека подсказало решение. Там трудно, тяжело, люди измучены, а он придет, сам увидит, возьмет на себя всю ответственность в решении задачи, посоветует, поговорит, посмотрит спокойными глазами — и насколько людям легче станет, проще, яснее. Ничего вы, девушки, в войне не понимаете!

Потом говорили насчет целесообразности. Надо или не надо стоять во время обстрела.

— Не надо! — сказал Шурик.

— Я против! — заявила Тася. — Я считаю, что жизнь ответственного командира в данном случае важнее того, что думают люди и как они себя ведут.

— Вообще кому как, — неопределенно заметила Варя.

— Я готова молиться на храброго человека, — покраснев, сказала Анна Марковна. — Прежде всего мужчина должен быть мужчиной.

И так далее. Кто что мог, то и говорил.

Храмцов слушал, моргал, потом заключил:

— Глупости все это, вы уж меня простите. В таких делах есть особая логика, которая обсуждению поддается с трудом. Но я знаю наверняка: негоже войсковому начальнику вести себя хоть и правильно, с точки зрения вашего военврача Левы, но...

Он махнул рукой, встал и принялся надевать полубухоб. Потом спросил:

— Что ж, например, Нахимов или, допустим, Суворов неправильно делали, что не ложились? А? — Рассердился, задвигал густыми бровями и сказал: — И боже ж мой, как мы любим искать неправильность в поведении, если эта неправильность может пойти на пользу темным сторонам нашей души. До чего ж любим!

В СТРАНЕ СУОМИ

Два месяца я не видела тебя, мой дорогой дневник. Длинных два месяца. Сколько писем накопилось за это время даже от папы. Милый, как он, наверное, волновался, не получая от меня ничего. Чего он только не передумал, наверное!

Запишу по порядку, без мелочей, как что вспомню, а то совсем все забудется.

Меня вызвали вечером и сказали:

— Намечается дело, интересное и трудное. Пойдешь?

— Пойду.

— Повторяем — трудное.

— Пойду.

— Возможен вариант самый печальный,

— Пойду.

Смешная постановка вопроса. Поскольку вызвали, что я, должна отказаться? И разве я могу отказаться? Тем более, что опыт у меня имеется.

Как кто собирался, я не знаю. Меня касалось только санитарное обслуживание. Работы было немного, совсем пустяки. Все довольно хорошо налажено. Я главным образом занималась подгонкой обуви для бойцов, одеждой, пищевым рационом, за сухим спиртом ездила и разное такое прочее.

Командиром у нас — некто капитан Храмцов. С ним я почти не разговаривала. Зачем мне? Он большой начальник, я винтик-шпинтик. Только иногда, случайно:

— Здравствуйте, товарищ капитан!

— А! Здравия желаю.

Волевой командир, а я рядовой боец. Но тоже волевой.

Кроме меня по нашей части еще военфельдшер Белоконов и санинструктор. Хорошие люди, только я им не очень нравлюсь. Не очень, потому что...

Поздравляю вас, дорогая Наташа, ничего этого записывать нельзя. Никакие подробности нашего глубокого рейда в тыл к финнам записаны быть не могут.

Можно только записать, что мы ходили. Далеко. Глубоко. Много видели. Было все. Я немного поморозилась, и мне отстрелили кусок ватника. Кроме того, меня чуть-чуть поранило. Кроме того... Нет, это уже нельзя записывать. Бедная Наташа! А какое я хотела написать папе длинное письмо, с какими подробностями, с какими наблюдениями...

Нельзя так нельзя!

Но как бы там ни было, после войны я обязательно все запишу и даже книгу под названием «В тылу у финнов» или «Тропой героев». Или «Обыкновенный рейд». И подзаголовок: «Записки санитарки Н. Говоровой».

Самое обидное — это то, что я ведь могла и не знать, что записывать ничего нельзя. А вот спросила и влопалась. А если рассудить по существу, то действительно нельзя, потому что надо будет рассказывать про наших там, про то, как они работают и что работают, и какие они люди, и надо написать конкретно. Нельзя писать Н. М., П. — это чепуха, а если по-настоящему — запрещается. Да и как не запретить, когда из-за болтовни может погибнуть человеческая жизнь!

Кстати, у меня температура ровно тридцать девять.

Капитан Храмцов, волевой командир, человек, который вел нас, которому мы подчинялись беспрекословно, капитан, который командовал нами, с которым я в походе не сказала ни единого слова, человек, которого я видела там только издали и никогда не претендовала на большее, капитан Храмцов, ввиду того что у Говоровой Н. 39, разрешите обратиться!

Воскресенье, после болезни

Получила письмо от мамы. Дядя Женья убит на фронте, Ян Робертович, тот латыш, папин приятель, у которого погибла вся семья, тяжело контужен и сейчас лежит в госпитале в глубоком тылу, на Урале. Мама у него бывает.

Письмо мамино какое-то испуганное и недоумевающее. Я не люблю ее писем, ничего там никогда нет, кроме страха и причитаний. «Я за всех вас боюсь, — пишет она, — у меня мигрени, по утрам я просыпаюсь с тяжелой головой, и сны у меня какие-то неопределенные. Вечерами мы с тетей Варей гадаем на вас, на тебя и на папу, и на войну тоже, но результатов не имеем, это мучительно. Пиши мне чаще, мое дитя, помни о своей маме, я думаю о тебе непрестанно». Мама, мама, ведь ты рентгенолог и у тебя нет маленьких детей!

Наверное, это дурно, то что я так думаю о своей маме. Но если бы она видела то, что видим мы, она бы рассуждала так, как я. Иначе нельзя. Когда такая война, все должны делать то, что могут, во всю силу, иначе нельзя жить.

Грустно мне почему-то сегодня, грустно, и настроение плохое. Вечером за мной пришли по очень интересной причине: привезли раненого немца-врача, а я довольно сносно знаю по-немецки!

ОСКАР ШТАММ — ПОЛКОВОЙ ВРАЧ

Снежок шел, тихо, безветренно и совсем не холодно. Наши поджидали меня возле перевязочной. И приезжий полковник — он мимо ехал и узнал, что нам давеча привезли этого немца, — посмеивается, говорит:

— Всяких видел — горных егерей, саперов, эсэсовцев, связистов. А врачей ихних не видел. Надо посмотреть. — Поглядел на меня: — Вы что, девушка, такая бледная?

Я объяснила.

— Пойдемте?

Пошли. Я, полковник, командир нашего медсанбата и тот лейтенант, который вместе с санитарями привез немца. Немец лежит один в землянке, лицо белое, длинное, бритый, глаза выпуклые, прозрачные. Помалкивает.

Полковник говорит:

— Прошу садиться.

Закуривает сам, угостил наших, немцу папиросу не дал. Я заметила, как немец втянул ноздрями табачный дым. Хочет курить.

Начинается разговор. Какая часть, откуда пришли, где формировались, кто командир, какие вести из фатерлянда. Немец отвечает хотя и неохотно, но, видимо, не врет.

Я аккуратно перевожу. Перевожу слово за словом, фразу за фразой и не могу оторвать взгляда от светлых, холодных, прозрачных глаз немца-врача. В этом взгляде немца, в его глазах, в манере слегка поднимать одну бровь, в холоде, которым дышит каждое слово, им произносимое, есть что-то такое, от чего мне несколько холодно и неспокойно, а я ведь все-таки не трусиха.

Постепенно, далеко не сразу, выясняется специальность врача. Я вижу, и все мы видим, как не хочется ему полностью рассказывать свое занятие, свой промысел, свое дело. Даже испарина выступает на его тонкой, бледной коже.

И только тут он просит папиросу.

Ему дают папиросу, дают спичку. Он бережно закуривает, стараясь не потерять ни крупинцы драгоценного дыма. Кстати, чтобы не забыть: сколько я ни видела пленных немцев, всегда замечала одну особенность — бережливость, с которой они едят, пьют, курят. Бережливость, осторожность, жадность. И всегда спрашивают:

— Это табак настоящий? — И затаившись: — О да, настоящий!

Настоящий ли сахар, настоящий ли хлеб, настоящий ли табак — это они всегда спрашивают.

Врач тоже спросил, но, не дождавшись ответа, констатировал сам:

— Настоящий! Очень хорошо!

Вдруг глаза у него помутнели, голос стал резче, он сел на койке и попросил:

— Переведите, мне нужен морфий.

Я перевела. Командир велел спросить, есть ли у немца боли.

— Это все равно, — каркающим голосом ответил немец, — это совершенно все равно.

— Вы морфинист?

— Да, с вашего разрешения.

Морфия немцу не дали. Разговор зашел о количестве морфинистов в германской армии.

— Сплошь, — оскаливая крупные белые зубы, сказал Штамм, — что касается врачей, то это сплошь. И высшее офицерство тоже. Есть много наркотиков, пользующихся большим спросом. Имеются сложные комбинации. Весьма сложные, игра дьявольской фантазии, кухня ведьмы, шутки сатаны. — Он засмеялся, но, не встретив ни в ком из нас сочувствия, оборвал смех и опять заговорил: — Вы чисты и невинны, как дети, господа, вы ничего еще не знаете, абсолютно ничего. Не так давно я имел дело с одним вашим человеком, который с возмущением сказал мне, что мы, немцы, спаиваем своих солдат перед боем, что наши солдаты постоянно пьяны во время атак, что наш синтетический ром превращает солдат в безумцев... Если бы вы знали, если бы вы знали...

Он снова лег и прикрыл глаза. Потом привскочил. Движения у него были не совсем координированны, на лице вдруг появилось выражение злобной одержимости.

— Дайте морфия, — быстро сказал он, — я прошу, дайте морфия. Дайте морфия, я буду много говорить, долго, я все расскажу, передайте господину полковнику, я не могу обещать чего-либо интересного в военном отношении, но я буду много говорить относительно нашего духа, наших мыслей, нашей внутренней жизни. Мне нужно немного — и тогда вам будет небезынтересно посидеть тут, в этой уютной земляночке.

Выпуклые глаза немца стали просительными, жалкое, нищенское выражение появилось на его узком лице, он быстро, несколько раз кивнул головой и замолк в ожидании.

Я перевела и с интересом поглядела на грузного нашего полковника.

Полковник молчал. Что-то глубоко брезгливое мелькнуло в его умных узких глазах, он по-стариковски пожевал губами, вздохнул и ответил:

— Скажи ему, девушка, что не дадим. Папироску еще так-сяк, а насчет белены не будет. А что касается до разговора, то говорить он будет, потому что жить хочет. Очень хочет жить, так хочет, что это даже и не передать. Знаю я их, видал.

— Все переводить? — спросила я.

— Так и переведи. Очень, дескать, хочет жить пленный немецкий врач, а потому все будет рассказывать, даже то, о чем его и не спрашивают. И папироску ему дай, в уважение, что он псих.

Про психа я не перевела. Немец взял папиросу, пожевал ее передними зубами, обвел всех сидящих каким-то нерешительным взглядом и сказал:

— Здесь меня никто не уважает.

— Вот, здрасьте, — ответил полковник, — вот он куда поскакал.

— Я имею научные работы, — быстро заговорил немец, — у меня есть ученая степень, я прошу заметить, что ученая степень дает мне право...

Он опять замолк на полуфразе и опять стал приглядываться к полковнику, точно испугавшись, что сказал слишком много.

— Ладно, довольно, — сказал полковник, — пускай отвечает на вопросы. Когда получил ученую степень и за что?

Я перевела, немец быстро ответил и сразу же испуганно побледнел.

— Я получил ученую степень месяц назад за работу под названием «К вопросу о специфике симуляции в воинских частях имперских войск на северном участке Восточного фронта».

Он проговорился, позабыв на мгновение, где он, — это было ясно.

Полковник присвистнул.

— Хорош мальчик! Ну, дальше...

— Таково было приказание моего командования, — быстро заговорил немец, — выбор темы этой работы был произведен не мною, а моим начальством. По приказанию моего начальства я занялся разработкой материалов для этой темы, и мои коллеги...

Он долго, путапо и искательно стал что-то объяснять.

— И много у вас симулянтов?

Немец опустил голову.

— Видать, случаются? — спросил полковник.

— Я наблюдал некоторые примеры.

— Постреляли?

Немец опустил голову во второй раз.

— Пускай говорит, мы послушаем, — сказал полковник и сложил руки на животе. — Как, например, они там распознают симулянтов по ихней немецкой науке?

Несколько мгновений немец молчит. Думает. Вновь испарина выступает на его лице. Потом он произносит то, что, по его мнению, должно расположить полковника к нему:

— Наши солдаты не хотят воевать. Именно потому они занимаются членовредительством.

Полковник исподлобья поглядывает на немца.

— Сейчас скажет, что читал Маркса и что его папаша рабочий, — ворчливо произносит полковник. — Вот посмотрите...

И немец действительно произносит что-то в этом роде. Но никто не жмет ему после этого руку, как он, видимо, предполагал, никто не дает ему морфия.

Внезапно в землянке гаснет электрическая лампочка. Делается совершенно темно, тлеет только папироса немца, и раздается только его каркающий голос.

Свет зажегся, немец, помаргивая, продолжает рассказывать о том, как он распознает керосиновые флегмоны, ранения, нанесенные солдатами друг другу, самоотравления, раны, наносимые солдатами холодным оружием, как он распознает людей, нарочно отмораживающих себе ноги, руки, пальцы.

— Вас награждали за эту вашу деятельность?

— Да. То есть нет. Я был учтен, и мне предстояло...

— Сколько, по вашим подсчетам, на основании ваших заключений расстреляно солдат?

Гробовое молчание. Потом робкие слова:

— Видите ли, дело в том, что...

— Отвечайте на вопрос!

— Я никогда не подсчитывал, потому что наука...

— Наука тут ни при чем! Отвечайте на вопрос! — Я не могу теперь узнать полковника. Он побагровел, шея его налилась кровью. — Отвечайте! Сколько! Отвечайте, когда вас спрашивают! Слышите, вы! Сколько!

Выпуклые глаза немца с ужасом останавливаются на лице полковника. Немец вжимает голову в плечи. На-

верное, он думает, что его будут бить. И быстро, коснеющим от страха языком начинает бормотать:

— Я не знаю. Я не помню, Я никогда не считал. Я помню лишь несколько случаев. Чех один, но это не целиком мой случай. Он подорвал руку гранатой, мне была поставлена задача — установить обстоятельства, я установил, я ничего не мог делать, картина была до того ясной...

— Его расстреляли?

— Да, но...

— Как расстреляли?

— Его расстреляли в госпитале... Его вывели из госпиталя.

— Вы там были?

— Да, но господин полковник...

— Как его расстреляли?

Я перевожу. У меня начинает кружиться голова. Немец рассказывает все подробности. Это такие ужасные подробности, что я не могу их записать. Потом он рассказывает про двух поляков, двух молодых людей. Как там было с ними раньше, я не совсем поняла, но, когда их привезли на север, они сговорились устроить друг другу то, что там называется — выстрел на родину. Ушли как-то от своей части, на какое-то там озеро, переплыли на островок и устроили нечто вроде своеобразной дуэли. По счету «три» каждый из них должен был выстрелить в своего друга, но так, чтобы не убить, а только отправить на родину. Одним словом, первый из них опоздал выстрелить, а второй выстрелил и ранил своего друга смертельно. Подбежал и видит — товарищ умирает. «Я на тебя не сержусь, — говорит раненый, — это, пожалуй, самое лучшее, что мы можем придумать».

И через полчаса умер. Тогда тот, который остался в живых, решил сам застрелиться и застрелился, но в сердце не попал, прострелил себе грудную клетку и потерял сознание. Потом их обоих там нашли, установили всю картину, как что произошло (кстати, этот мерзавец и устанавливал — врач этот), и того, который себя ранил, повезли еще в госпиталь, чтобы у него выпытать, кто еще был участником всей затеи.

Ну, привезли, положили под стражу. Выходили. Этот врач сказал, что очень было трудно выходить. А когда выходили, начали на него нажимать, еще там, в госпи-

тале. Он ничего не сказал, ни слова, но, по выражению этого немца-врача, вел себя вызывающе и не проявил никаких признаков раскаяния. И кроме того, все время что-то устраивал со своей раной, загрязнял ее, расковыривал, а когда заметили и поймали, швырнул чем-то в своего караульного. И вот ночью они его вынесли из госпиталя (а мороз был сильный, градусов двадцать), вынесли привязанного к носилкам, вынесли и поставили, чтобы он на морозе подумал о раскаянии. (Тут немец заявил, что это не он делал, что он даже не знал, что это дело некоего Пауля Эберлиха — военного следователя.) В общем поставили — и забыли. По его словам, забыли. У них была выпивка, что ли. А когда утром проснулись, то поляк, привязанный к носилкам, был уже в мертвецкой, замерз и заледенел, северная ночь длинная.

Не могу я больше это все писать.

Не могу и не хочу...

Декабрь

Немцев бьют под Москвой. Немцы отступают. Немцев можно бить. Вот в чем все дело. Теперь доказано, что немцев можно бить. И теперь их будут бить все сильнее и сильнее, все жестче и жестче, потому что есть пример.

Наши раненые лежат с просветленными лицами.

Мы все ходим от человека к человеку и рассказываем все то небольшое, что знаем сами. Но с нас спрашивают, как с очевидцев, и сердятся, что мы еще не знаем подробностей, что мы лаконичны и что рассказ наш короток.

— Да вы, сестра, позвоните туда, что ли, — раздраженно говорит молодой артиллерист, — куда ж такой рассказ, только в общем и целом. Мы люди военные, нам поподробней надо...

С переднего края пришла машина, привезла двух раненых. Один сердито спрашивает:

— Может, тут кто знает, побили немцев под Москвой?

— Побили.

— Честное комсомольское?

— Честное...

— Ну, брат, — кричит боец своему товарищу, — ну, брат Серега, живем!

Я веду обоих в перевязочную — так называется у нас землянка возле обрыва. Военврач Русаков велит поло-

жить Серегу на стол и моет руки — удалять инородные тела из Серегоиной ноги.

— Что же, отрезать будете? — уныло спрашивает Серега.

— Зачем же такую ножку отрезать, — следует ответ, — такую ножку отрезать не надо. Прелестная ножка. Вот мы ее сейчас почистим, раскроем кое-что, возродим к новой жизни... Так-с!

Во время операции Серега ведет себя спокойно и мужественно, а военврач разговаривает. В своей землянке военврач не договорил до конца, не обсудил полностью стратегические и тактические планы немцев, подготовку нашего удара, результаты удара, и сейчас ему так же необходимо разговаривать, как дышать. Он высказывает предположения, Серега подтверждает предположения военврача хмыканьем и короткими междометиями.

— Вот тебе и Гудериан, — говорит Русаков, близко наклонившись над раной и точно бы ловя там осколок, — вот и Гудериан... Есть, поганец!

— Еще? — спрашивает Серега.

— Еще.

— Большой?

— Маленький, крошечный. Да ты, брат, не волнуйся, я все тебе сохраню на память. Вы ему, сестра, все осколки заверните, он любимой девушке после войны будет показывать, знаю я их.

Серега хмыкает, но тут же стонет.

— Ну, не стонать, — ворчит Русаков, — нечего тут стонать. Ничего особенного не происходит, пустяки, вздор. Сейчас мы его, сейчас... Так-с.

Это «сейчас» тянется довольно долго. Отыскать все осколки не так просто и легко.

— Есть? — спрашивает Серега.

— Не торопитесь, не на свадьбу, — сердится Русаков, — нетерпеливый, право, какой!

Моя руки после операции, Русаков продолжает говорить о Гудериане. Серега подает реплики. Реплики его обнаруживают в нем живой ум, какой-то особенный, сердитый юмор, острую наблюдательность. Русаков идет за носилками, на которых несут Серегу, размахивает руками, громко объясняет:

— Великий писатель русский Лев Николаевич Толстой словами князя Андрея говорил, что на войне один

батадъон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни от числа, а уж меньше всего — от позиции. Успех зависит от того чувства, которое есть в каждом солдате. Понятно?

— Непонятно, — отвечает Серега.

— Почему же?

— Набуравлено тут чего-то, потому что я могу вас заверить — вооружение нынче тоже в дровах не валяется.

— Да брось, — громко и сердито кричит Русаков, — брось, тут в высшем смысле, в самом наивысшем, тут не в смысле ПППШ или ППД, тут другой, высший смысл...

— Дай боже такого смысла, как в ПППШ, — говорит Сергей, — хорошая вещь, чего там...

Они скрываются в землянке, и Русаков приходит назад через час, разъяренный и злой.

Входит — и в ту же секунду начинается огневой налет по нашему медсанбату.

Пятница

Сколько у меня уже знакомых, приятелей, друзей — это даже невозможно себе представить.

В вагоне железной дороги, на маленькой разбомбленной станции, на шоссе, в городишке, на батарее, в полку, у связистов, в штабе, на КП дивизии, у пограничников, просто на лесной военной дороге — всюду, всегда, постоянно я встречаю друзей и товарищей, которые сторицей расплачиваются со мной за те часы, которые я провела с ними, когда им было плохо, когда они стонали, хрипели, ругались, охали.

Иногда я не помню, они мне напоминают.

Иногда они не узнают старых знакомых.

И как пароль произношу заветные слова:

— После победы ровно в шесть часов...

Что только тогда делается! Какие слова произносятся! Сколько извинений я благосклонно принимаю. Как меня угощают, сколько милых и незаменимых услуг мне оказывают. И вообще мне легко и просто живется именно из-за этих людей, из-за товарищей моих, из-за друзей.

Вот этот — Маслов Алеша, был ранен в грудную клет-

ку, ему было довольно плохо, его долго лихорадило, лежал с «телефончиком», я писала письма его девушке и даже помню, как ее зовут: Туся.

И ему я сказала:

— Здравствуй, Туся!

Мы встретились с ним на лесной дороге. Он шел на лыжах, румяный, крупный, сильно вышагивал длинными ногами, и я крикнула ему:

— Здравствуй, Туся!

Все вокруг было в инее: и сосны, и телефонные столбики, и провода. Маслов посмотрел на меня дикими глазами, потом просиял, потом бросился ко мне.

— А как «телефончик»? — спросила я.

Захлебываясь, он начал рассказывать мне про свою Тусю, как она приехала на фронт, как она сейчас тут неподалеку работает санитаркой, как они встречаются, как он ей говорил про меня, как он меня искал и не мог найти. Я слушала его, смотрела на него и самонадеянно думала, что, может быть, я немного причастна к тому, что он сейчас здоров, идет на лыжах, рассказывает про Тусю, воюет — ведь все-таки я сидела по ночам над ним, я перевернула его тогда, на заре, когда ему сделалось совсем плохо, я...

Не будем хвастаться, дорогая Наташа, не будем прикидываться добрым доктором Гаазом.

А все-таки...

Не будем же, Наташа!

А один в меня влюбился, поздравляю вас, узнал бы об этом мой папа! Но как влюбился! И хоть мне это было в общем смешно, но все-таки немножко приятно тоже было. Только он очень красиво об этом мне рассказывал. Прямо почти в стихах. А я стихи не люблю. Я слушала, слушала, потом спрашиваю:

— Товарищ лейтенант, а помните, как вы кричали: «Нянька, судно! Нянька, утку! Нянька, сейчас рвать буду!»

Он смотрит на меня обалделыми глазами,

— Что вы хотите этим сказать?

Я отвечаю:

— Ничего особенного. Просто вспомнилось. Нянька-то ведь я была. А у вас сделалось расстройство потому, что вам какая-то рябенская девушка орехов принесла и вы ими объелись. Помните?

Сразу перестал лейтенант красиво говорить. И сделался парень как парень. Веселый, простой.

И его я встретила на военной дороге; кого я только не встречала: то возле нашей медсанбатовской развилки, то внизу, где мост, то на заставе, где проверяют наши документы, то в кузове попутного грузовика, то на дровнях...

Вот недавно финны почти на дорогу выскочили. А их решили отрезать. Всю эту группировку, которая к нам влезла. Завязалось дело. А я как раз по этой дороге ехала в дровнях, ящик крови везла. Вроде чемодана такой ящик.

Есть у нас учреждение — называется «Служба крови». Учреждение это поставляет кровь для переливания туда, где эта кровь нужна. Сложное учреждение, умное и вместе с тем простое. И самое дело интересное — служба крови. А дружинницы, которые возят кровь в ящиках и собирают назад посуду от крови, называются экспедиторшами.

Вот пришлось мне стать экспедиторшей на два дня, потому что Лидочку, экспедиторшу, ранило на дороге. И чемодан ее с кровью разбили. Вообще это дело опасное — работа экспедиторши. Кровь обычно нужна там, где бой, а если бой, то дороги и обстреливают, и бомбят. Только ведь кровь не ждет, ее нужно быстро-быстро доставлять, вот девушки и несут эти чемоданы под любым обстрелом, под любой бомбежкой.

Короче говоря, Лидочки нет, а кровь нужна. Вот я и отправилась с дозволения нашего Телегина. Туда благополучно, а назад застряла. Нет проезда. И кругом не проехать — все простреливается. Как быть?

Заехали мы с дровнями на какие-то кочки и встали. В лесу так и визжит все. Возница мой совсем скис, старый дед, маленький, мохнатый. «Пропадем, — говорит, — нельзя дальше ехать — убьют нас с тобой».

Уговаривала я его, уговаривала — никак. Рассердилась, взяла чемодан и пошла пешком одна. Где пройду, где проползу, где посижу — отдышусь. И вот так сию — вдруг слышу, по-фински говорят. Батюшки мои! Что делать? Куда деваться? Часа полтора ждала, пока они не ушли. Очень было неприятно. А потом опять шла-шла — и встретила с нашим боевым охранением.

До смерти обрадовалась, залепетала что-то, как старуха: «Миленькие мои, дорогие!»

Они на меня глаза выпучили. Откуда? Как? Почему?
А один меня сразу узнал — из бывших моих раненых.

— Ну и девка, — говорит, — отчаянный экземпляр человеческой породы. Чего в чемодане-то?

— Кровь.

Отправили меня на КП. А я уже еле иду. Совсем измучилась. Пришла, а там и командир знакомый — Анохин некто, сразу на меня закричал:

— Таскаются тут, управы на вас нет, кто разрешил, безобразии...

Я села и сижу, и все у меня перед глазами так и ходит. И не заметила, как уснула. Вдруг кто-то меня будит:

— Покушай, девушка!

Расставили на ящичке угощение и сами все сели — три командира: командир части, комиссар и еще один из саперов, пожилой, Евтихий Семенович. А самое интересное, что несколько месяцев назад они все лежали у нас, а теперь я их встретила.

— Кушай, — говорят, — кушай поскорей.

— Некогда мне, — отвечаю, — я и так проспала.

И так мне хорошо, тепло тут, дымом пахнет, чай крепкий, сладкий-пресладкий. Ну просто не сдвинуться. Все-таки стакан выпила и встала. А Евтихий Семенович и спрашивает:

— Умеешь, дочка, верхом ездить?

— Плохо, — отвечаю. — Не ездила.

Вышли они все меня проводить, там уже двое верховых меня дожидаются, и для меня лошадка, мохнатая, пузатая, тихая. Я на нее взобралась, чемодан мой мне за спину пристроили, и поехали. А командиры мне вслед руками машут. Очень мне было хорошо той ночью.

Ехали-ехали и приехали. Кто-то в нас стрелял, но благополучно все обошлось. Чуть не забыла, когда прощалась с командирами, я им сказала:

— В шесть часов...

— После победы... — сказал Анохин.

— После войны... — добавил комиссар.

— В Ленинграде, под аркой Главного штаба, — засмеялся Евтихий Семенович.

— И не опаздывать, — заключила я, — терпеть не могу, когда после войны опаздывают.

От верховой езды долго потом болели ноги. Трудно без привычки, как сказал у нас один боец, когда ему ампутировали палец.

Среда

У нас вновь поток. Не такой, как тогда, но все-таки поток. И насколько иначе все это организовано. Иногда мне даже кажется, что это не мы, что это другие люди работают. Все изменилось, все стало четче, определеннее, яснее, мы многому научились, и Телегин, вообще скупой на похвалы, вчера вечером нам сказал, что мы молодцы. Шурик Зайченко тут же попытался что-то философски обобщить, но номер не прошел, его никто не стал слушать.

Одно плохо — заболел Русаков: лежит у себя в землянке под тулупом, лицо сморщилось, шевелит усами и кашляет. Слабость у него ужасная, смотрит в стену, слова от него не добьешься. Тася, я, Капа, Варя по очереди дежурим у него. Он нас точно не замечает.

Мама Флеровская совсем измучилась. Не спит, час за часом работает у операционного стола. Но глаза ее так же блестят юным и теплым светом, голос глубокий и ровный, и не меркнет ни на секунду та сила любви к раненым, из-за которой весь наш участок фронта называет Флеровскую матерью.

Она никогда ни с кем не сюсюкает, не произносит сладких слов, не называет раненых «миленьким», «сыночком», «лапушкой», но вся точно светится состраданием, теплом, любовью и не в пример иным, для которых раненый есть тот или иной медицинский случай — «спина», «живот», «грудная клетка», — для нее каждый раненый имеет имя, фамилию, характер, человеческие и гражданские качества. Я не раз от нее слышала:

— Вы с ним поосторожнее, он очень обидчивый человек.

Или:

— Афанасьев сам ничего не попросит. Он вчера спал, когда сахар разносили, его нечаянно обнесли, он и не попросил — самолюбив очень.

Или так:

— Я вчера заметила, Тася, что вы изволили назвать Невкушенко просто раненым. А он вас назвал в ответ Тасей. Очень сожалею, что мне приходится говорить вам

об этом, но Невкушенко, который вынес с поля боя своего командира, закрыл его своим телом и был ранен, имеет право, чтобы некая Тася знала его фамилию.

Тася стоит красная, в глазах у нее слезы, она кусает губы и хрустит пальцами.

Сегодня ночью маму Флеровскую, простоявшую у стола ровно восемнадцать часов кряду, Телегин отправил спать. Флеровская ушла, и я была уверена, что она спит, когда вдруг увидела такую картину: в полутемной землянке, при свете красных отблесков от временки, на коленях у койки раненого стоит Флеровская и кормит раненого с ложки компотом. Я выскочила и позвала Телегина. Мы оба встали с ним в дверях и услышали тихие слова мамы Флеровской.

— Вы, Николай Иванович, человек молодой, и все еще у вас впереди. Если эта девушка разлюбила вас во время войны, то это значит, что она вас попросту никогда и не любила, и встретите вы другую девушку, лучшую, полюбите ее еще крепче... Ну-ка, съешьте — это абрикос, а косточку сюда выплюньте.

Так Телегин ей и не сказал ничего в эту ночь, а когда спросил ее наутро, почему она, вместо того чтобы спать, кормит раненых компотом, она вспыхнула и ответила:

— Его супом покормили и вторым покормили, а про компот забыли. Я прохожу, вижу — стоит компот...

— Ну?

— Я и решила быстро покормить Егоркина.

Глаза мамы Флеровской смотрят прямо на Телегина, и взгляд ее так и лучится мягким, горячим светом.

Вот таким и должен быть доктор.

Сколько бы лет жизни я отдала, чтобы быть чуточку похожей на маму Флеровскую. Хоть чуточку. Хоть немножко.

Сегодня вечером Русаков вышел из своей землянки. Он очень похудел, щеки его обвисли, под глазами мешки, взгляд неподвижен. Что-то с ним случилось. Анна Марковна ночью плакала и вздыхала, Телегин ходит мрачный, даже Шурик не философствует, не обобщает.

А раненых все подвозят и подвозят.

Поток продолжается.

На наш участок приехала группа усиления — есть также подвижные группы на фронте. Вместе с группой

приехал главный хирург, Я пошла вместе с ним; меня послал Телегин. Александр Евгеньевич — человек среднего роста, широкоплечий, необыкновенно вежливый, никогда я не слышала от него приказа. Говорит он обычно так:

— Видите ли, на мой взгляд, стоило бы поступить так-то и так-то.

Или:

— Я считаю, что это будет не совсем правильно.

Или еще:

— Было бы отлично, если бы вам удалось попытаться...

Как-то ночью, ветреной и сырой, мы попали в место, где разворачивался полевой подвижной госпиталь. Было темно, хоть глаз выколи, врачи, приехавшие из тыла, нервничали, одна, молоденькая, плакала и говорила:

— Баранов, почему вы меня не слушаете! Баранов, вы должны меня слушать! Баранов!..

Александр Евгеньевич позвал к себе этого невидимого в темноте Баранова и что-то сказал ему негромко и вежливо. Я не расслышала, что сказал, но сказал так, что Баранов весь вытянулся и дрожащим голосом забормotal:

— Есть, товарищ начальник! Будет выполнено, товарищ начальник!

Потом мы работали в подвале станции Л. Станцию непрерывно бомбили, Александр Евгеньевич оперировал под бомбежкой, и я надолго запомнила секунды, когда он выжидал, пока вокруг все сыпалось, трещало, падало, выжидал, стоя над раненым в перчатках, в халате, в шапочке, а потом опять продолжал оперировать, плести тончайшие кружева своими замечательными руками, удалять инородные тела, ампутировать, обрабатывать раны..

Странные дни и ночи. Мы подолгу идем пешком. Тут нигде не проедешь, все простреливается, и мы ходим, точно маленькая бродячая трупша. Нас везде встречают с распростертыми объятиями, мы везде дорогие гости, мы везде нужны. Но никому не приходит в голову, что Александр Евгеньевич страшно устал, что он только что прошел восемь километров, а перед тем как пройти эти восемь километров, тоже оперировал, а до этого прошел одиннадцать километров и ночью не ложился спать ни на минуту.

Однажды Александр Евгеньевич попросил:

— Нельзя ли рюмку водки...

Но за грохотом канонады никто не расслышал этой просьбы. Александр Евгеньевич вздохнул и принялся мыть руки для операции.

Оперировал раненого майора-одессита. Операция была длинная и мучительная. Майор молчал. Мучился он ужасно. Потом, под конец, громко и внятно произнес:

— Ой, мама-мамочка, возьмите меня из этой гимназии.

ШУРИК ЗАЙЧЕНКО ВСТРЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИКА

— Ты понимаешь, Наталья, я ехал в грузовике, и вдруг пробка. Много машин собралось. А небо какое-то беспокойное. Я достаточно повоевал, для того чтобы ощущать небо, спокойное оно или на него нельзя положиться. Это очень тонко, это почти необъяснимо, но для военных ясно. Одним словом, я на небо поглядывал и ждал от него всяких гадостей. Оно потенциально было мне враждебно. Так и оказалось. И пробка. И машины с боезапасом. И передние машины встали безнадежно. Первая там буксует, объехать невозможно, а немцы тут как тут. Отвратительное ощущение. И как назло, в первой машине шофер психопат. Разнервничался и совсем засадил свой грузовик.

Ну вот, я иду, иду возле обочины и слышу ужасно знакомый голос. Тут бомбы падают, и я не то чтобы уж очень прямо шел, я шел, слегка согнувшись, потому что глупо же умереть ни за понюшку табаку, и вдруг вижу: наш начальник в своей шинели, в фуражке, совершенно так же стоит, как тогда у нас в медсанбате во время артналета. Только тогда он молчал, а тут ругается. Ну, я должен тебе прямо заметить, что он довольно сильно ругался, настолько, что мне сразу пришла мысль, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне податься в сторону.

И вдруг вижу — залезает начальник в грузовик, садится за баранку и начинает ее крутить. А я в канаве сижу. Тут как засадит бомба неподалеку, потом вторая...

А бойцы помогают машину вытащить.

Я посмотрел, потом тоже полез помогать. Вообще состояние у меня было нервное.

Короче говоря, вывез начальник первую машину, сбросил остальные, ликвидировал пробку и поехал дальше. И самое интересное, что машина его была впереди пробки, он мог уехать из зоны бомбежки, вовсе не занимаясь тем делом, которым он занимался.

Вообще я тебе должен сказать, Наталья, что наш начальник, если вдуматься и обобщить, если проанализировать, как должно нам, материалистам и марксистам, если не скользить эмпирически, если...

И пошли «если» и всякие Шурины «измы».

Вторник

Мама Флеровская сказала мне, что жена и взрослая дочь Русакова убиты немецкой бомбой. Вот в чем дело. Анна Марковна, которая знала семью Русакова, плачет по ночам. Русаков молчит. Вчера от него пахло спиртом.

Еще три часа, и будет Новый год.

Здравствуй, новый год! Что-то ты принесешь нового, новый год? Чем нас порадуешь?

Ночь морозная, лунная, я сижу на корточках возле печурки и топлю, топлю, подкидываю маленькие полена, мешаю самодельной кочережкой, думаю...

Девушки за моей спиной потихонечку гадают, и до меня доносятся слова о бубновом короле, о казенном доме, о дальней дороге, о письме.

А он не приходит и писем не пишет, и никто ничего про него не знает.

Как мне жить без него? Как?

Пришел Шурик Зайченко и пригласил меня гулять.

Так мы и прогуляли с ним почти до самого Нового года и ввалились в землянку, когда девушки наши уже выходили нам навстречу — идти к раненым встречать Новый год.

Встретили, а потом долго сидели в полутьме и вместе с докторами и сестрами пели песни, пели про костер, который в тумане светит, пели «Выйду-выйду в рожь я высокую», а потом Анна Марковна пела «Синий платочек».

Русаков выпил несколько рюмок водки, и я заметила, когда Анна Марковна пела про синий платочек, из выпуклого глаза хирурга выкатилась слеза и медленно поползла по щеке в усы.

С Новым годом! Здравствуй, мой замызганный, старый, грязный дневник, в новом году. И все мои друзья и знакомые, здравствуйте! С Новым годом, папа! С Новым годом, некто капитан Храмцов! С Новым годом, все мои далекие друзья, все, кто помнит меня сейчас, в эту морозную, студеную ночь!

Мне грустно почему-то.

Должно быть, потому, что Шурик Зайченко объяснился мне в любви. Ну что я могу сказать? Ах, если бы эти слова мне сказал не Шурик, а другой человек, совсем другой и совсем непохожий.

А Шурик говорил, говорил, а потом поскользнулся и упал. Я засмеялась, а он обиделся.

Тася сказала:

— Жалко, нет нашего капитана. С ним бы повеселее было.

Почему — нашего?

Я против Таси ничего решительно не имею, она хорошенькая девушка, которая так хрустит пальцами и при мужчинах смеется совсем иначе, ненатуральным смехом, а при своих — натуральным. Кроме того, у нее сломался зуб, и она пришепetyвает.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВОЕНВРАЧ РУДНЕВ!

Смешную песенку поет Капа:

И вот открывается дверь,
И доктор вбегает, как зверь,
И мучает бедную крошку,
И режет ей нежную ножку.

Поет, а потом открывается дверь, и входит военврач Руднев. И с порога говорит:

— И вот открывается дверь, и доктор вбегает, как зверь. Не тут ли живет санитарка Говорова Наталья?

— Есть Говорова Наталья, — отвечаю я.

Он подходит ко мне, потом узнает Капу, Варю, Тасю, потом узнает Анну Марковну, которая сидит в коричневом мужском теплом белье и закрывается одеялом. Мы снимаем с него тулуп, ремни, пистолет, и вот доктор

Руднев стоит перед нами таким, каким он был в Ленинграде, — тонкий, с румянцем на щеках, с лысеющим лбом, с узкими губами и умным взглядом.

Начинаются рассказы и расспросы. Он немного изменился. Сейчас Руднев стал проще, чем был, только шутки его по-прежнему алы и не услышать от него сладких слов.

Мы хвастаемся нашими делами, он слушает скептически.

Мы говорим о том, как мы хорошо стали работать, а он совсем поджимает губы. И вдруг спрашивает про Леву.

— Лева в полку, — говорю я.

— И рукава у него по-прежнему на пуговицах?

У Левы действительно рукава гимнастерки возле локтя отстегиваются. Он очень гордится этой гимнастеркой и говорит, что, когда нужна срочная операция, такая гимнастерка очень помогает.

— И все у него, как всегда, прекрасно? — продолжается допрос. Непонятно, чего Руднев от нас хочет.

Я провожаю его до землянки командира медсанбата. По пути он всматривается в мое лицо и говорит:

— А вы подурнели, Наташа! Было личико тонкое, как камень, сейчас изменилось. Очень изменилось.

Мне становится обидно, и я отвечаю:

— Вы тоже изменились, товарищ военврач первого ранга, как-то набрякли.

Это неправда, что он набряк, но слово обидное, и я ухожу, довольная собой.

А вечером начинается небольшой разгромчик. Является Лева из полка и привозит с собой раненого. Руднев спрашивает его о раненом. Лева путается, сбивается и врет. Красные пятна появляются на щеках Руднева. Фамилию раненого Лева тоже переврал. Потом при раненом сказал, что ранение тягчайшее. Потом стал говорить примерно так:

— Резекцию голеностопного сустава мы производили два раза и имеем отличные отдаленные результаты. Что такое затеки, наши раненые не знают. На фронте борьбы с анаэробной инфекцией мы делаем неплохие успехи.

— Совсем как Иван Иванович, — вдруг сказал Руднев.

— Какой Иван Иванович?

— Я знал одного санитаря, отличного гипсовальщика. Этот санитар говорил, что для него анаэробная инфекция — раз плюнуть, он ее с первого взгляда определяет и может без врача ее один на один побороть. Вы очень похожи развязностью своей и невежеством на этого Ивана Ивановича, только с той разницей, что Иван Иванович хороший гипсовальщик.

Лева позеленел. И началось. Я никогда не видела такого разгрома и никогда не представляла себе, что Руднев может так вспылить.

Потом он говорил Русакову:

— Невежество есть несчастье и само по себе может вызвать лишь сочувствие. Но невежество, помноженное на самовлюбленность, невежество наглое, бездумное, да еще в нашем деле — это...

— Да уж... — крихтел Русаков, — пехорошо, пехорошо...

Потом занимались отморожениями — этим делом ведает Руднев.

Когда-то я очень боялась, что на нашем Северном фронте будет много отмороженных, и даже завела целую тетрадь записок на эту тему, а вот, поди ж ты, и зима, и морозы, и оттепели, а отмороженных совсем немного, пустяковые цифры.

Вот что значит хорошая постановка дела.

Начальник и санитарное управление сразу, с начала войны, взялись за это дело по-настоящему, и результаты получились отличные. У нас как-то очень точно разработано, что надо делать в каких случаях, как надо поступать, как беречь от обморожений, как лечить.

Может показаться, что я хвастаю, но я вовсе не хвастаю, когда утверждаю, что и я кое-что сделала, даже я! Еще ранней осенью я ко всем привязывалась с профилактикой отморожений, а когда была возле переднего края, разговаривала с санитарями, санинструкторами, фельдшерами и рискнула кое-что посоветовать даже военврачу третьего ранга Лева. Что делать, если он учился у моего папы, правился маме и, когда приходил к нам, мы его называли просто Левой.

Конечно, он мне заявил своим противным голосом:

— У вас, санитарка, никто не спрашивает. Можете не беспокоиться.

Обидно мне не было, потому что я себя приготовила

к этому, а характер Левы я знаю давно. Кстати, он и напоролся на неприятности. Я заметила, что его бойцы мажут ноги вазелином — от холода, и сказала ему об этом, он отмахнулся — и в результате несколько случаев траншейной стопы.

— Вас не спрашивают, и зарубите себе на носу, что тут вы не дочь профессора Говорова, а санитарка. Прошу меня не учить.

Кстати, я его не учила, а просто сказала.

Вот когда мы ходили в тыл к финнам, я у Храмцова в части у всех бойцов ноги пересмотрела на досуге, сказала осторожненько, что, по-моему, надо делать, как поступать, как обувь сушить, как что подогнуть, и мы не имели ни одного случая обморожения. Ни одного! Ерундой, чепухой, педантичностью можно серьезно помочь делу.

Милый мой дневник, сколько я всего в тебя напихала. А сейчас чуть не стала писать о борьбе с потливостью ног на фронте!

Милый, милый, я, кажется, влюбилась. Угадай — в кого?

А он не приходит, не приходит, не приходит. Гниет там, в своей дурацкой землянке, и думает, что это его долг. Ну хорошо же! Если он сегодня не явится, я ему завтра устрою такую встречу, что тот рейд в тыл к финнам покажется ему раем.

Итак, я провела борьбу с потливостью ног у бойцов. Она, как известно, способствует обморожению. Там на счет раствора формалина и всякого такого, о чем Лидия Чарская и не думала.

Мы проводили Руднева. Лева ходит надутый и свистит «Трубадура». Будет ему «Трубадур» от начальника. Увидит небо в алмазах.

Вьюга воеет, злится, стонет. Я не пошла ужинать. Ну хорошо же! Завтра вы узнаете!

Воскресенье, метель, вьюга

Вечером они изволили пожаловать.

Ха-ха-ха!

Они изволили пожаловать, пройдя с автоматом на шее через Винькин лес, который, как известно, посещается финнами. Этим они предполагали поразить мое воображение.

Но мое воображение нисколько не было поражено, Я сказала:

— А, здравствуйте! — И ушла в соседнюю землянку к девушкам, где просидела, чуть не воя от тоски, два часа.

Полтора часа он беседовал с Анной Марковной. Представляя себе его бешенство!

И ушел на лыжах через лес, бесстрашный, милый, всегда молчаливый, длинный мой дурак...

Долой эту тему. Извини меня, дневник, за все эти банальности. Больше не буду. Продолжим наше хвастовство насчет обморожений. Вообще я заметила, что хвастаться в дневнике очень приятно. Потом считаешь и думаешь, какая я хорошая, какая я умная, какая я энергичная, какая я дуся.

А я капризная, взбалмошная, эгоистическая ерунда. Вот я что. Я — ничтожество.

Кажется, я опять возвращаюсь к запрещенной теме.

Одним словом, я провела сегодня в перевязочной почти весь день. Приехал консультант, собрал там всех обмороженных и кроме того, что сам делал свое дело, еще нас подучивал, как кого лечить, куда кого отправлять, что у нас хорошо, что у нас плохо, что совершенно недопустимо.

Я санитарка, мое дело маленькое, но как-то у нас в перевязочной так повелось, что я выполняю функции почти сестры, а если обморожения, то и вовсе сестры. И несколько раз консультант обращался ко мне. И это было мне приятно, потому что, значит, он заметил, как я действую руками.

А действую я ими недурно.

Да, да, недурно, пускай это непомерное хвастовство, но недурно.

Анна Марковна поет насморочным голосом «Синий платочек». Какой ужас.

Все-таки я прилежная и я молодец. Подумайте, просто санитарка, а смотрите, что она записывает, — так можно сказать про меня, но никто этого не скажет.

Каждый раз, когда я встречаю капитана Храмцова, мне грустно с ним расставаться. Почему это? Ужас, как грустно.

И ничего в нем особенного нет. Капитан как капитан.

В общем все это довольно смешно, если вдуматься. Чепуха, Наташа, чепуха и смешной вздор. Мещанство. А Шурик Зайченко позволил себе задать такой вопрос:

— Как ты смотришь, Наталья, на проблему любви во время войны?

Дурацкие намеки?

Я ему и отрезала:

— Никак не смотрю. Подумаешь — проблема, Смешно слушать.

— Нет, а все-таки?

И глаза у самого печальные-печальные,

— Да тебе-то что? — спрашиваю.

— Психологически интересно.

Пристал со своими вопросами. А у меня настроение кислое-прекислое. Храмцов ушел куда-то на ночь глядя, теперь этот психологические вопросы задает. И толстая операционная сестра Анна Марковна задает мне совсем странные вопросы:

— Не помните ли, Ната, лирическое стихотворение Александра Симонова «Ожидание»?

— Какое это «Ожидание»? И какого Александра Симонова? Константина?

— Да, да, Константин, ну, помните, где он пишет — обожди меня, обожди, я вернусь к тебе, я вернусь...

Шурик Зайченко, конечно, вспомнил.

Она записала.

Оставили бы они меня в покое. И еще досадно, что я больше месяца ездил, а когда вернулась, так мы с капитаном Храмцовым всё время вели какой-то не тот разговор. Он мне говорил неприятности насчет огней и цветов в тылу и танцев, а я ему тоже гадости говорила. Ужасно глупо, ужасно.

Слышу:

— Наконец я вас оторву от ваших грез на несколько мгновений.

Я молчу, притворяюсь, что сплю,

— Наточка, вы спите?

Раз пять спросила, сплю я или нет,

— Что? — спрашиваю.

Стоит Анна Марковна передо мною, в ватнике, в валенках, красная, толстая, улыбается так, что видны все золотые зубы.

— Простите, что я вас разбудила, Наточка, но у меня к вам глубоко интимное дело. Я хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что я... я люблю.

Я чуть не приснула.

И почему-то вспомнила, как Анна Марковна выглядит в коричневом теплом мужском белье, которое она давеча получила.

— Да, — говорю, — я слушаю вас, Анна Марковна.

Она совсем покраснела, мне ее даже жалко стало. Свернула себе козью ножку, заложила ногу на ногу и говорит:

— Человек, которого я люблю, эвакуировался в Ашхабад. Может быть, вы слышали такую фамилию: Финкельман? Аркадий Витальевич Финкельман, он крупнейший специалист по газированным водам в Союзе. В Грузии есть Логидзе, у нас — Финкельман. Не слышали?

— Не слыхала, — говорю.

— Очень жаль. Такой интересный, представительный мужчина, очень импозантная профессорская внешность. Седой, умеет одеваться. Даже воротнички не носил покупные, всегда на заказ, была такая специалистка в Ленинграде — Анна Ивановна, она ему специально делала кремовые воротнички.

— Ну?

— Я очень волнуюсь, что он... как бы вам это сказать... Он может забыть меня... И вот я написала ему письмо. Я хочу прочитывать вам, Ната, это мой крик души.

Я слушаю. Наташа слушает письмо гражданину Финкельману в Ашхабад. Бедная Наташа. Голос у Анны Марковны дрожит и срывается, в ее глазах слезы, нос покраснел, она очень волнуется.

«Мое сердце, Аркадий Витальевич, — слушаю я басовитый голос Анны Марковны, — наши дни, Аркадий Витальевич, где вы сейчас? Я не могу себе представить вас! Я помню ваш голос, как сон золотой, ваши манеры, изысканность ваших слов, вашу любовь к духам. Аркадий Витальевич, нас разлучила война, но мы еще увидимся, и я заключаю эти строки словами поэта: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть желтые дожди, жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут...»

Анна Марковна всхлипывает.

Мне ее жалко, но что я могу поделать, мне и смешно.

— Мое сердце разрывается, Ната, — говорит Анна Марковна и продолжает читать стихи.

Потом она читает письмо. В письме она рассказывает приподнятыми словами о нашей жизни. А я слушаю и думаю, что бы мне ей посоветовать. Думаю и не могу придумать.

Я же знаю, что Финкельман не ответит из Ашхабада.

Зачем Финкельману из Ашхабада отвечать Анне Марковне?

Положение спасает Шурик Зайченко. Он позабыл свою полевую сумку и вернулся за ней. А может быть, это маленькая хитрость Шурика? Может быть, вовсе не в сумке дело?

Воскресенье

У мамы Флеровской ревматизм, и начальник перевел ее в тыл. Она очень не хотела уезжать и даже поплакала, писала какие-то заявления, но ее все-таки перевели. И правильно, что перевели, но нам от этого не легче. Ужасно жалко, что она уезжает.

Маленький сержант татарин вырезал из дерева тройку коней, саночки, сделал сбрую и вручил свое изделие Флеровской со словами:

— Возьми, товарищ военврач, хорошая запряжка, красиво от нас поедешь, как птица, помчишься. Бери.

Девушки мои ревели как белуги, провожая маму Флеровскую, а она улыбалась сквозь слезы и говорила:

— Ничего, девочки, еще увидимся после войны, как Наташа обещает, — ровно в шесть часов, в Ленинграде, возле арки Главного штаба. Я куплю сто штук пирожных, наварю шоколаду, и нам всем будет очень хорошо.

Русаков, Телегин и все наши стоят возле полуторки и не знают, что говорить. Все мы стали одной семьей, все мы знаем друг друга, как знают близких и родных, мы знаем привычки, слабости, достоинства и недостатки, мы все разные, но все делаем одно и то же дело, нам трудно расставаться и трудно привыкать к новому человеку, который приедет сегодня вместо мамы Флеровской, мы — семья, коллектив, мы уже всего хлебнули вместе, мы — братство, спаянное воедино, и если мы полюбили кого-нибудь, то это уже накрепко, навсегда.

— Так-с, — ворчит Русаков, — вот и расстаемся, пришло, значит, время, да-с...

А Телегин заглядывает в свою трубку, точно там что-то очень интересное.

Мы целуемся, и полуторка уезжает. Еще несколько секунд — и мы слышим только далекий шум машины, маму Флеровскую больше не видно: снежная пелена скрыла ее от нас.

Еще минута — и я слышу голос из снежной пелены:
— Наташа! Эх, черт!

По дороге с другой стороны мчится Храмцов. Поткатит с него градом, из-под лыж летят маленькие снежные вихри, он совершенно замучился.

— Уехала?

— Уехала, — говорит Тася, — уехала, ох, проводили...

Медленно мы возвращаемся в нашу землянку. Русаков кричит и потирает поясницу. Храмцов ставит лыжи торчком возле землянки, обметает сапоги веничком и входит к нам. Мы садимся. Из кармана Храмцов вынимает маленький трофейный пистолет, на щечках которого что-то написано, и говорит:

— Надо переслать. От наших бойцов на память. Не поспел я. Тут написано... Вы перешилите, девушки!

Мы читаем то, что выгравировано на пистолете, каждый из нас хочется быть такой, как мама Флеровская. Потом мы долго говорим об этом, а Храмцов слушает и неожиданно заключает:

— Трудно это. То, что есть у нее, — это талант, дано от природы. Есть разные врачи, а таких, как она, мало...

Пока мы разговаривали, Шурик писал, а потом прочитал нам свой стих:

До свиданья, доктор, доктор наш любимый,
Ты покинула нас в вихре снеговом,
Мы запомнили твой профиль милый,
И запечатлел твой профиль наш альбом.
Наш альбом военный дик и страшен,
Ярость гунна в нем и бомбы вой.
Но сиянием прекрасным и безгрешным
Нам украсил его профиль твой...

Шурик прочитал и выжидающе посмотрел на всех нас. Мы молчали.

— Как вам, товарищ капитан? — спросил Шурик.

— Что ж., не Пушкин, — сказал Храмцов и начал одеваться,

— Да я ж, так что ж, — как-то неопределенно прожужжал Шурик и скис.

Но насколько мне известно, стихотворение все-таки послал почтой. Милый Шурик!

Вторник

Военврач Русаков награжден орденом Красной Звезды. Военврач Флеровская награждена орденом Красной Звезды. Военврач Руднев награжден орденом Красной Звезды. Военврач Говоров награжден орденом Красной Звезды.

Вот как это бывает.

Некий капитан Храмцов награжден орденом боевого Красного Знамени.

И бывают же такие совпадения, папина фамилия и фамилия Храмцова напечатаны в одном и том же номере газеты.

К нам приехали две новенькие докторши: Ася Егорова, терапевт, и Вера Гибрцева, хирург. Две подруги, обе с испуганными глазами, у обеих такой вид, как у новеньких в школе. Мы все тут давно вместе, а они чужие, ничего еще не знают и все робко спрашивают.

— Скажите, а когда бывает почта? Будьте добреньки, как пройти к командиру? Скажите, пожалуйста, а где берут воду для умывания?

Поселились они в землянке, в которой жила мама Флеровская, и землянка вдруг преобразилась. На стене вдруг очутился коврик, совсем почти детский коврик, на котором изображена курица, цыплята, вода, куст, — такие коврики висели в комнатах у девушек в общежитии медицинского института. На столе у девушек вышитая скатерть, на окошке сразу же появилась занавеска.

Вера — маленькая и худенькая, я заметила: уши у нее такие, что она сняла с фонендоскопа наконечники — не входят. И только огромные, ясные, необыкновенно красивые глаза. Ася — веселая и смешливая. Я даже видела, как она вдруг закурила папиросу, но закашлялась, на глазах у нее выступили слезы, она замахала руками и засмеялась.

Вообще совсем девочки. Я чувствую себя по сравнению с ними взрослой и даже старухой. И трудно им обем, ах как трудно.

ЕЕ ПАНАРИЦИЙ

Трудно быть молодым врачом, а еще труднее молодому врачу занять должность опытного, серьезного врача со стажем. Почти никто не скажет просто и ясно, хорош этот молодой врач или плох, но каждый вздохнет, помочает головой и произнесет:

— Да, это вам не мама Флеровская...

Точно мама Флеровская никогда не была молодым врачом, точно никогда у нее не было таких же испуганно-вопрошающих глаз, как у Веры Гибрцевой, точно никогда она никого ни о чем не спрашивала...

И бесконечно трудно, разумеется, заменить собою маму Флеровскую, заменить ее опыт, ее спокойствие, ее ласковый голос, ее манеру разговаривать, приказывать, просить.

Я тоже хочу быть врачом. Я тоже приеду когда-нибудь и куда-нибудь так же, как к нам приехала Вера Гибрцева. И так же на меня посмотрит операционная сестра, какая-нибудь добрая и милая Анна Марковна, добрая и милая, но удивительно безжалостная к неопытности и молодости, посмотрит и скажет:

— Это врач? Она — хирург? Она будет мною командовать?

Еще бы! Анна Марковна работала с профессором Дженалидзе. С Петровым. С Грековым. С Гирголавом, но ведь это были фигуры. Это опыт! Это...

И, поджав губы, Анна Марковна будет молча и бесцеремонно рассматривать нового хирурга до тех пор, пока я в будущем, а Вера Гибрцева в настоящем не покроемся пунцовым румянцем стыда и гнева. А сказать-то нечего, потому что такая Анна Марковна за словом в карман не полезет и бойко ответит:

— Вам, голубушка, вручена человеческая жизнь, и потому я к вам присматриваюсь, ничего удивительного в этом нет, с меня тоже спросят, когда вы во время операции заплачете и маму будете звать...

Я как-то слышала, как Русаков говорил о семи качествах хорошей операционной сестры. Говорил при Анне Марковне, и Анна Марковна кокетливо посмеивалась, ей нравились слова Русакова.

— Хорошая операционная сестра, — ворчливо говорил Русаков, — должна быть старой девой, должна быть

злой, как ведьма. Тэк-с... Дальше, должна она уметь оказываться всегда во всем виноватой, рук у нее должно быть никак не менее десятка, обижаться она не имеет никакого права ни при каких обстоятельствах и хирурга своего должна она так знать, чтобы отгадывать его сон. Так я говорю, Анна Марковна?

— Все вы шутите, — сказала Анна Марковна, — любите вы пошутить, товарищ военврач первого ранга.

Вот что такое операционная сестра.

А наша Анна Марковна повидала на своем веку. Человек она опытный, и есть у нее свои взгляды, свои привязанности, свои установки. А тут Вера Гибрцева! Когда она с университетской скамьи? Где сказано, что она знает больше, чем операционная сестра, если даже для санитаря Ивана Ивановича анаэробная инфекция — пара пустяков...

На днях вечером у нас в землянке произошел небольшой скандалчик. Я позволила себе сказать, что мне очень нравятся новые докторши.

Какой крик поднялся! Как возмутилась Анна Марковна!

— А что же вам нравится в Асе Егоровой? А вы видели, что у нее кружевные платочки? Вы видели, как она несолидно себя ведет? Видели, как она прыгает?

— Как так прыгает?

— А со ступеньки на ступеньку? Видели? И при этом поет «Чижика»!

Я вышла из себя.

— Очень жалко, — говорю, — что вы не прыгаете! Многое от этого теряете!

— Как вы смеете! Девчонка! Это выпад!

Хорошо, что вошел Телегин, а то неизвестно, чем бы это кончилось. Но я ясно чувствовала, что назревают события. Слишком гордое и чуткое существо новая наша докторша, чтобы выдержать такой тон Анны Марковны. И как ужасно не хватало нам в эти дни мамы Флеровской.

Пришел как-то Храмцов. Я даже его впутала в эту историю и нарочно повела в гости к Егоровой — чай пить.

Чудесные, сказал он, девушки, и никого, Наталья, не слушай.

Русаков ни во что не вмешивался, а может быть, и не замечал. Телегин помалкивал. Товарищи мои почти

все держали сторону молодых докторш. А Анна Марковна все больше входила в амбицию.

Я не знаю точно, как произошло это событие. Атмосфера была накалена донельзя. Анна Марковна ходила багровая от гнева, а Гибрцеву я часто видела с заплаканными глазами. Ася тоже как-то увяла, и даже в землянке у них вроде бы потемнело и помрачнело.

И вдруг точно гром грянул.

Вера Гибрцева посадила Анну Марковну на трое суток на гауптвахту с исполнением служебных заданий.

Я даже ушам своим не поверила.

До сих пор я не знаю, как это произошло, и до сих пор не могу себе представить голоса Веры Гибрцевой, когда она произносит:

— На гауптвахту на трое суток!

Как это она сказала?! Из-за чего?

Кто знает. Характер у нее оказался железный. Она никому ничего не говорит, а Телегин и Русаков и подавно не скажут,

Взбешенная Анна Марковна побежала к Телегину.

Но умница наш командир: оказывается, давно следил за поединком и не вмешивался только потому, что считал— Гибрцева сама должна поставить себя на подобающее ей место. Русаков целиком был согласен с Телегиным.

Короче говоря, Телегин подтвердил приказ Гибрцевой. А Русаков сказал при этом:

— Так-то, барыня! Довели девушку добрую и умную до эдакого состояния, пеняйте на себя. Военная служба. Она, Вера, права, а вы поступили не только неправильно, но и возмутительно. И терпению Гибрцевой я поражаюсь.

Умница Телегин все понял. Понял, что Гибрцева измучена, что, если эта кроткая тоненькая девушка решилась на такую меру, значит, ее довели, что молодость врача вовсе не вина, что Гибрцева настоящий работник, и утвердил приказание своего военврача.

При мне Анна Марковна вернулась в нашу землянку, которая должна была ей служить и гауптвахтой. По ее виду я поняла, что случилось нечто ужасное. Она даже не плакала, а только дышала, дышала и никак не могла отдышаться. Потом сказала дрожащим баском:

— Все кончено! Все кончено! О боже!

И вновь смолкла.

В этот день она из принципа пила холодную воду и ела хлеб, ходила же, высоко подняв голову и глядя на всех отсутствующим взглядом.

Ночью она не спала. Я просыпалась раза два. Анна Марковна раскачивалась на койке и дула на палец.

— У вас что-нибудь болит? — спросила я, хоть мы почти не разговаривали.

— Невыносимо, — сказала Анна Марковна. — Панариций, наверно.

Утром она побежала к Русакову, но он, оказывается, вечером уехал в город. В это время, кроме Русакова и Гибрцевой, хирургов у нас не было. Что оставалось делать Анне Марковне?

Но у нее тоже был железный характер. Она не сдавалась. Она сидела целый день на своей койке, раскачивалась из стороны в сторону — и ни одного звука, ни одного стога! А когда я ей посоветовала выйти хоть на воздух, она ответила:

— Я никуда не пойду. У меня сегодня нет служебных обязанностей, и потому я только заключенная. Только заключенная, и ничего больше! О боже!

К вечеру навестить больную зашел Телегин. Посмотрел ее палец и сказал, что надо оперировать. Анна Марковна молчала.

— Это специальность Гибрцевой, — сказал Телегин, — она вас прооперирует.

Я была на этой удивительной операции. Вера Гибрцева, большеглазая, необыкновенно хорошенькая, ловко и быстро действовала своими маленькими тонкими руками. Анна Марковна не проронила ни звука. Потом церемонно поклонилась, сказала «спасибо» и пошла к себе «в заключение». Ночью ей стало легче. А утром она в присутствии всех нас в перевязочной попросила у Веры Гибрцевой извинения и заплакала.

Вера тоже заплакала. Ася, которая была поблизости, от восторга подпрыгнула, а потом тоже заплакала. И все мы пустили слезу, потому что это было так умилительно и трогательно, что даже написать трудно.

Вот!

И сейчас Анна Марковна часто говорит:

— Нет, я с вами категорически, товарищ, не согласна! Среди нынешней молодежи попадаютсЯ отличные хирурги. Вот военврач товарищ Гибрцева. Ничего не

могу сказать. Знающая и серьезная девушка. Оперировала меня по поводу панариция, и посмотрите, превосходно. Посмотрите, прошу вас!

И при этом Анна Марковна показывает свой пухлый указательный палец.

Один раненый говорил мне, что сейчас на фронтах тысячи людей пишут дневники. У нас не тысячи, но сотни врачей занимаются научной работой. Вначале я этого не понимала, как во время такой войны можно заниматься научной работой, а теперь понимаю и радуюсь, когда вижу, что это у нас почти массовое явление.

Научная работа очень поддерживается нашим начальником, да и как не поддерживать стремления врачей к обобщениям, к науке, к настоящему делу.

Одним словом, я все это пишу недаром.

Я это к тому, что Гибрцева давно и упорно занимается панарицием — заболеванием серьезным, распространенным, мучительным и, как это ни странно, мало изученным. Занимается с толком и даже написала работу, а кроме того, сама на практике получает блистательные результаты. А кроме того — и, пожалуй, это главное, — она организовала лечение панарициев сначала в дивизии, потом в армии и теперь часто выезжает в полки, занимается там инструктором. И не только в полки, но и в медсанбаты, и даже в армейские госпитали.

Вот она какая, наша Вера Гибрцева, и недаром она мне так понравилась с первого взгляда.

Четверг

Весна. Как подробно я раньше писала обо всем, и как мало я пишу сейчас.

Весна. Я уезжаю отсюда. Я еду учиться. Как странно писать такое слово: «учиться». Разве могла я себе представить в начале войны, что я буду учиться?

А сейчас я еду учиться.

Весь вчерашний вечер я ходила по нашим землянкам и четыре раза пила чай в гостях: у Гибрцевой, у Аси, у Анны Марковны (с шоколадом) и еще в двух местах.

И провожали меня до полуторки совсем так же, как маму Флеровскую. Больше всех расстроен Шурик.

И Тася тоже плачет.

А на развилке нашу полуторку остановил один человек. Милый, милый один человек... Хотя мы и условились, что вы будете поджидать меня на развилке, но все-таки я ужасно волновалась, пока не увидела вас возле нашей машины.

Теперь, после всех приключений, я и не помню, о чем мы говорили тогда. Но о чем-то говорили и поцеловались даже на глазах у изумленных зрителей и поклялись шепотом... Потом мы расстались.

Потом меня бросили в пизинке у железнодорожного полотна. Потом я поехала на летучке и о ней хочу немного сказать.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЕТУЧКЕ

Запишу, как мы чуть не попали в плен к финнам и какие мы герои. Прямо-таки герои мои девчонки, молодцы девочки.

Летучка — это такой санитарный поезд, маленький и быстрый. Он должен всюду поспеть, везде побывать, всех раненых увезти, и все очень быстро. Вот случилось мне попасть в такую летучку. Раненых много, персонала мало. Прямо мы на части разрывались. И довольно темновато в вагонах, ступить некуда, раненые пить хотят, у одного повязка совсем промокла, другого перевернуть надо, вообще хлопот полон рот. Заправляла всеми нами сестра по фамилии Петрова, маленькая, беленькая, немножко шепелявая, энергичная. И младшие сестры Делябова и Холявина. И еще сестра Азарова. Все работали без усталы, кроме начальника военврача, который был какой-то больной: его тошнило, он мерил температуру и не очень проявлял себя как начальник. А потом ему стало совсем плохо.

Вот едем, все идет нормально, поезд наш постукивает по рельсам, некоторые раненые утрелись, уснули, другие разговаривают понемножку, вообще летучка как летучка.

Вдруг тормозим, и так внезапно, что я едва не разбила лицо о стенку вагона.

И как-то сразу почувствовала неладное.

И раненые забеспокоились.

Что такое?

Я к двери. Там уже Петрова. Спрашивает меня:

— Что случилось?

В это время как засвистят пули. Мы назад в тамбур. Я говорю: «Ложитесь, Петрова».

Дальше не помню, как было по порядку. Только вижу, стреляют по вагонам по нашим, стекла летят, щепки, пыль. Потом взрыв, один, второй. Сильные довольно взрывы. И совсем темно стало. Лейтенант в темноте рядом со мной ругается:

— Сестра, — говорит, — меня в руку ранило. Что за безобразие!

И не пойму, шутит или серьезно.

Мне-то, конечно, самой страшновато. Не хочется в плен попасть, я слышала, каково у них там. И думаю, смогу застрелиться или нет? Вот глупости-то. Папу вспомнила, всех вспомнила.

Такие воспоминания печальные, просто плакать захотелось. Неужели, думаю, умирать? Капитан Храмцов, где вы! Вы бы не испугались!

И слышу, как мой лейтенант говорит сердитым голосом:

— Вот что, сестра, запомните: спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Тут доброго дяди нет. Быстро на разведку. Я бы с вами пошел, да у меня ноги в гипсе, ничего не выйдет.

А финны слева как дадут еще очередь, как дадут.

И такая меня злоба вдруг взяла, такая страшная злоба. Ах, думаю, гадины, видят же, что тут раненые, видят, какой тут поезд. Ну, ладно, думаю, попадешься мне, негодяй, я с тобой поговорю...

Вдруг Петрова говорит:

— Девушка, я сейчас лазала, смотрела. Финнов много, но все они с левой стороны, а тут справа обрыв крутой, там никого нет. И вообще все это пустяки, раненые, не волнуйтесь, я перед вами за все отвечаю, ведите себя, как подобает бойцам Красной Армии.

И голосок у нее тоненький, шепелявит. Сейчас вспомнить смешно, а тогда было не до смеха.

Сестра Азарова ей отвечает, что падо послать сани-тара Григорьева в разведку.

— Есть, в разведку, — говорит Григорьев и уходит.

Пока он ходил, нас опять обстреляли. Еще двоих второй раз ранило. Бандиты! Вот пишу, и сердце колотится,

Один артиллерист умер у меня на руках. Я его голову держу на коленях, и руки у меня вдруг все мокрые сделались от крови. И что-то он шепчет быстро так, быстро...

Вернулся Григорьев, рассказал, что они подорвали паровоз и тендер, что теперь все тихо, но, пожалуй, вернутся.

Посоветовались и решили пешком пробираться к станции за помощью.

Одни пошли, другие остались. Я тоже осталась. Вот это было жутко, ожидание это: придут за нами наши или финны придут.

Но финны не пришли. Попались, наверное, где-то влопались. А наши пришли. Тут некоторые девчонки даже плакали.

Вот какие бывают стечения обстоятельств странные.

Иду я по улице и вижу — трое красноармейцев ведут двух пленных. Финны. Оба в куртках, в лыжных сапогах, носки шерстяные вывернуты наружу, на одном маленький картузик, на другом фетровая шляпа. Оба малорослые. Идут, моргают. Я сзади спрашиваю:

— Откуда их ведете, товарищи бойцы?

— Мы, товарищ медик, справок не даем, обратитесь в справочное бюро.

Конечно, глупо спрашивать, но ужасно мне было интересно, не те ли это финны, которые напали на наш поезд. Иду сзади, не отстаю. И поглядываю на бойцов. Обогнала их, смотрю на того, который спереди, и сразу узнала. Говорю ему пароль:

— В шесть часов после победы в Ленинграде, под аркой Главного штаба...

Он смеется и отвечает:

— Только не опаздывать! Я не люблю, когда после войны опаздывают. Здравствуйте, Наташа. — Товарищи его на нас поглядывают, а он им говорит: — Она меня с поля боя вытащила, честное слово, хлопцы, самолично на себе принесла.

Короче, рассказала я бойцам, что думаю по поводу этих финнов. Мой крестник Пилипчук отвечает:

— А вы идите за нами. Приведем куда надо, доложим кому надо.

Вот привели, я жду-пожду. Финны переминаются с ноги на ногу, поглядывают на меня, чем-то я им не нравлюсь. Потом меня позвали, минут через пятнадцать после

того, как их опросили. Я вхожу. Так говорят и так. Майор стал с ними по-фински говорить. А они все на меня поглядывают, особенно один, с подстриженными беленькими усиками. Потом говорит:

— Я понимаю по-русски. Я слышал, как эта девушка говорила, что мы обстреляли раненых. Я хочу объяснить — это неправда.

Очень я его беспокоила.

Но с майором шутки оказались плохи. Посмотрел на финна, вздохнул и говорит:

— Первое мое условие — не врать. Вам же будет хуже. Запомните. Не сегодня, так завтра мы переловим всю вашу группу и, несомненно, будем знать все.

Финн молчит.

Потом тихонько и осторожно заявляет:

— Говорить все — это изменить Суоми.

— Да? А по-моему, вы изменили Суоми еще тогда, когда ввязались в эту войну. Вот когда вы изменили родине. Отвечайте, участвовали вы в налете на санитарный поезд?

Молчание. Финны переглядываются. Майор спрашивает что-то у второго по-фински.

И тот вдруг утвердительно кивает.

Вопрос: Вы видели международные знаки Красного Креста на вагонах?

Ответ: Видели, господин офицер.

Вопрос: Вы понимали, что расстреливаете раненых?

Ответ: У нас было приказание.

Вопрос: Чье приказание?

Ответ: Господина обер-лейтенанта.

Я молчу и смотрю на финнов. Сердце мое тяжело колотится. Мне даже трудно дышать. Я вспоминаю всю ту ночь. Я почти не могу сидеть. И я все-таки ничего не понимаю. Я не понимаю, как это могло случиться. Я вижу, ясно вижу, как эти люди, которые сидят сейчас передо мною, как они там, в поле, в снегу, спокойно стояли и били из своих автоматов по нашему поезду, как они переговаривались, может быть, даже пересмеивались. Я больше не могу на них смотреть.

Потом мы сидим с майором вдвоем. Он курит самокрутку и молчит. Я тоже молчу. В комнате тепло, в печке трещат дрова. Майор долго шарит в своем столе и кладет передо мною маленькое, сморщенное яблочко.

— Пожуй, девушка, — говорит он, сдувая с яблока табачные крошки, — пожуй, не расстраивайся. Злее будешь теперь, посмотрела своими глазами, каковы «молодцы».

Я уйду от майора.

Мне тошно.

И все у меня перед глазами лицо финна, востроносенное, приклеенные его усишки, блеклые глаза. И голос его я слышу до сих пор, старательный голос человека, которому угрожает смерть.

Мне еще раз попадается мой крестник Пилипчук. Он стоит на улице, в шинели, туго подпоясанный ремнем, красный, и протягивает мне фунтик с конфетами.

— Бери, бери, товарищ Наташа, — говорит он, — кушай на здоровье.

Фунтик небольшой, такие фунтики с конфетами вешают на елку.

Это подарочный фунтик. Пилипчук, видимо, получил подарок из тыла и подарил мне.

Мне нечего ему сказать. Я готова заплакать, и мне кажется, что и майор, и Пилипчук утешают меня яблочком и конфетами, утешают за только что увиденную мною подлость.

ПУТЕШЕСТВИЕ К СТАРЧАКОВУ

Поезд идет на север. Наташа Говорова едет учиться. Довольно Наташе быть санитаркой. Она может научиться быть сестрой, медсестрой военного времени. Да-с!

И настроение у меня хорошее.

За эти дни я много повидала, я проехала от передовой по грунту, побывала в полевом госпитале, увидела обогревательно-питательные пункты, санитарный поезд, летучку, увидела транспортный самолет, в котором перевозят раненых в тыл, увидела армейский госпиталь. И в первый раз за все время войны я поняла, какое сложное, огромное, разветвленное дело нашей санитарной службы, как трудно было все это наладить в нашем краю, где валуны, сопки, быстрые речки, озера, болота.

Поезд мчит меня в тыл, которого я не знаю. В кармане у меня командировочное предписание, литер, аттестат. Передо мною на полке разложен сухой паек, который я в данную минуту ем: омуль соленый, сахар в бу-

мажке и хлеб ржаной. Один мой спутник заглянул ко мне на полку и сказал, что так могут есть только девушки. А чего особенного: посыпаю хлеб сахарным песком и закусываю соленым омулем. Очень вкусно!

Омуль соленый завернут в газету. В газете написано, что боец Иванов Григорий был ранен дважды, вернулся в строй и теперь стал известным по всему фронту снайпером. Не без удовольствия я разглядываю лицо Иванова Григория. Знакомое лицо, хорошо знакомое. На груди у вас, товарищ Иванов Григорий, не было тогда орденов...

А помните, товарищ Иванов, как некто Наташа потянула неловко марлю у вас на ноге, на ране, и как вы в сердцах обозвали Наташу «дубовой коровой»? Это все-таки немного обидно для девушки моих лет: корова, да еще дубовая. И как вы извинялись потом перед вышеозначенной «коровой»? Помните?

Спасибо вам за ваше письмо, мне было приятно прочитать его и узнать, что вы уже младший лейтенант и что в городе Свердловске у вас родилась дочка, которую вы называли Наташей.

Бывший студент-химик Володя Барабош, помните, как вы стеснялись, что у вас грязные ноги? Все-таки очень хорошо, что я вам сняла тогда сапог — невеселый вид был у вашей ноги. А военврача Русакова вы помните, Володя Барабош? Это его руки возвратили вам здоровье, это его искусство полностью вернуло вас к жизни, и вот вы уже командуете батальоном, и у вас такой же орден, как у военврача Русакова. Поздравить вас от его имени?

Поздравляю.

А его от имени Володи Барабоша?

Тоже поздравляю.

Сержант Фоменко? Военинженер Духовкин? Лейтенант Разувайко?

Что передать от вас военврачу маме Флеровской? Военврачу Русакову? Операционной сестре Анне Марковне? Санитарке Тасе? Санитарке Наташе? Санитарке Варе?

А наш договор не забыли: в шесть часов после победы в Ленинграде, под аркой Главного штаба?

Боец Кулибаба Евграф, помните, как вы лежали у нас в медсанбате, тихий, бледный, грустный, как мы вас оперировали и как затем я встретила вас в колонне войск, шедших на фронт? У вас разматалась обмотка, когда я

вас увидела, а вы так и шагнули ко мне с размотавшейся обмоткой, шагнули и закричали:

— Здорово, Наташа! Здорово, сестрица!..

А какое вы нам письмо написали, как поразили нас всех своими знаниями анатомии: «Рана в области «фибулы» заганулировалась, и рана на тибен тоже закрывается».

...Они проходят передо мною — все наши раненые, я вижу их лица, их голоса, взгляды, жесты, помню, как они стонали, когда им было плохо, и как постепенно в землянках возникал смех, слышались шутки, а то вдруг кто-то запоет или замурлычет песенку... А как вдруг они просили есть, курить, разрешения встать, выйти на воздух... Товарищ Иванов Григорий, помните, как захотелось вам поколоть дрова и как вы попросили у меня разрешения поработать по хозяйству?

Я все помню и никогда ничего не забуду.

Когда навстречу мне, или Тасе, или Варе, или Капе идут красноармейцы, мы всегда всматриваемся в их лица, ищем знакомых, и найти знакомого, шагающего с песней в строю, это наша первая, лучшая, высшая награда — вспомнить и сравнить, чем он был и кем стал. Мы помашем вслед рукой, громко окликнем по фамилии или просто по имени — вот и все, больше ничего не надо.

Папа мой дорогой, а что, если я влюбилась?

Папа, ты бы сам в него влюбился!

Один мой знакомый, где вы? Война нас познакомила, и война нас разлучила.

Может быть, вы в бою? И что в вас такого особенного, объясните мне наконец? Жили вы в Сибири, преподавали математику, ходили на охоту, читали разные книжки. Ну я-то тут при чем? А теперь я должна за вас беспокоиться, думать про вас, сны мне всякие снятся...

И главное, ужасно у вас противная манера писать — раз в год. Отвратительная. Вот подождите, я вам сейчас такое письмишко напишу, что вы долго будете охать,

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Кругом тут горы. Свистит и воет пурга, все замело, в двух шагах ничего не видно. Тут еще совсем зима, сердитая и холодная... Совсем недавно вышел из нашего госпиталя один боец по фамилии Утыкач. Вышел, прошел шагов сто, и напал тут на него медведь. Вышеозначен-

ный медведь был застрелен красноармейцем насмерть, сам Утыкач был поцарапан медведем, а медвежатиной угощала меня... Кто бы вы думали?

Мама Флеровская. Она здесь.

Начальник госпиталя — военврач первого ранга Старчаков. Высокий, гладко выбритый, суровый человек, молчаливый, прямой, редко улыбающийся.

Начальник наших курсов — военврач второго ранга Москвин.

А теперь я запишу про Лену Орлову, которая живет в городке рядом с госпиталем и которая... В общем по порядку...

ЛЕНА ОРЛОВА И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ

Жила-была девочка, у девочки была мама Людмила Ивановна. Мама служила, Лена училась в школе. Папа умер давно. Жили мама и Лена скромно и тихо. Даже более чем скромно.

Потом началась война.

Людмила Ивановна, как и многие другие женщины этого прифронтового городка, стала ходить в госпиталь, что-то там помогала, стирала белье, работала по мере сил и возможностей. Вечерами дома Лена говорила матери:

— Мам, возьми меня с собой в госпиталь. Мам, возьми, а? Мам, пожалуйста, возьми.

— Да что ты там будешь делать?

— Не знаю.

— Ну и я не знаю. Занимайся-ка лучше.

На другой день повторился тот же разговор. Девочка смотрела на мать умоляющими глазами и уговаривала ее со всем пылом красноречия, которое бывает у десятилетних детей.

— Да нечего тебе там делать, — говорила мать, — там раненые, которым и так тяжело, они и так мучаются, а тут ты еще явишься с разговорами. Учи лучше арифметику.

Лена придвигала к себе книжку, а через полчаса на мать вновь смотрели умоляющие серые глаза:

— Мам, а если напемножко. Я напемножко пойду. Я ненадолго. Я только посмотрю.

Людмила Ивановна рассказала, шутя, о просьбах дочери военному госпиталю, женщине умной, рассудительной.

— Ну и приходите с ней вдвоем, — сказала военком, — придете, там посмотрим.

Лена пришла.

— А что ты умеешь делать? — спросила военком.

Лена ответила тоненьким, но спокойным и серьезным голосом:

— Умею петь, танцевать и рассказывать.

Подходящего по росту халата для Лены не оказалось. Ей дали длинную мужскую ночную рубашку вместо халата и кусок бинта — подпоясаться. Маленькая, пугливо озираясь по сторонам, вспоминая мамины слова, что тут раненные, которым и так тяжело, которые и так мучаются, Лена шла по длинному полутемному коридору госпиталя.

Все тут было ей чуждо, непонятно, странно: и запах медикаментов, и тележка на колесах с клеенкой, и яркий свет в белой перевязочной, и длинные стоны, которые доносились из раскрытой в палату двери.

Внезапно из палаты навстречу Лене вышел раненый с костылем, нагнулся к девочке и спросил густым басом:

— Это что за привидение?

Лена молчала, прижавшись к стене.

— Что это за привидение? — еще раз спросил раненый.

— Я не привидение, — собравшись с силами, тонким голосом сказала Лена. — Я девочка и пришла к вам петь, танцевать и рассказывать...

— Ну? — удивился раненый.

Постукивая костылем, он привел Лену в большую палату, в которой стояло четырнадцать коек. Тут были тяжелые. Под серыми одеялами кое-где вздымались возвышения — позже Лена узнала, что это за возвышения, узнала даже, что их называют зенитками. Кое-где в полусумерках она видела что-то странно белое, почти бесформенное, позже она узнала, что это загипсованные руки и что ничего страшного в этом нет. Один раненый лежал навзничь, ноги его были покрыты колпаком, в колпаке горела электрическая лампочка — эта лампочка просто ужаснула Лену, и она никак не могла отвести глаз от раненого с лампочкой.

Тот, с костылем, который привел ее, вызвался быть конференсье, и это очень помогло Лене.

— Вот, — сказал раненый, — тут к нам пришел ребенок по имени... Как тебя зовут-то, привидение?

— Лена.

— Ребенок Лена. Она говорит, что может петь, танцевать и рассказывать. Вроде оно артист. Что ж, просим?

— Просим, — донеслось с одной койки.

— Пускай попробует.

— Давай, девочка, не робей...

Не зная, куда себя деть, Лена подошла к одной из коек, взялась руками за изножье и сказала:

— Песня. Под названием «Золотые вечера».

Кашлянула и запела тонким, чистым, слегка дрожащим голосом:

Пахнут медом,
Пахнут мятой
Золотые вечера,
Сели вечером ребята
У веселого костра.

Пела и смотрела серыми, немного испуганными глазами на раненого, у которого над ногами горела электрическая лампочка. А раненый смотрел на Лену. Смотрел просто и серьезно, а когда она кончила, сразу же сказал:

— Бис, bravo, бис!

Лена спела еще. В дверях теперь стояли госпитальные сестры, санитар, дежурный врач. Пришло несколько ходячих раненых. И у всех были серьезные лица, все глядели доброжелательно, приветливо. И те раненые, которые только недавно казались Лене страшноватыми, теперь были самыми обычными людьми, только лежащими в каких-то странных позах. И лица у них были никакие не таинственные, а самые обычные лица.

— А теперь я вам расскажу стихи, — сказала Лена. — Хотите, чтобы я вам рассказала стихи?

Бойцы захлопали, а те из них, которые не могли хлопать, потому что были ранены в руки, закричали:

— Просим! Давайте стих!

Все так же держась пальцами за изножье кровати, Лена принялась рассказывать про старушку,

Старушка несла продавать молоко,
Деревня от рынка была далеко,
Устала старушка и, кончив дела,
У самой дороги вздремнуть прилегла.

Дальше в стихотворении Маршака рассказывалось много смешного про старушку, и бойцы громко и весело хохотали, а у того, который грел ноги электрической лампочкой, даже слезы выступили от смеха. Он утирал слезы ладонью и долго еще причитал:

— Ну и старушка! Это всем старушкам старушка! Это да!

— А теперь я вам станцую, — сказала Лена, покончив со стихами.

Третья часть программы — танцы — прошла хуже, чем предыдущие. Оказалось, что доски пола в палате не очень прочные, и, когда Лена начала прыгать, осуществляя различные сложные повороты, па-де-де и просто па, пол очень затрясся, и некоторые раненые застонали. Танец «Кабардиночка» был прекращен Леной на половине, и она очень сконфузилась, но ее тотчас же стали хвалить и объяснять, что танцевать лучше в коридоре, что танцы хорошая вещь, но поскольку тут имеется такая специфика, постольку тут танцевать не надо, а лучше еще спеть.

И Лена спела.

На это второе пение ей аплодировали значительно больше, чем в первый раз, вероятно, за то, что пришлось оборвать «Кабардиночку».

А потом она ушла.

Раненый с костылем проводил ее до самого госпитального парадного и попросил обязательно завтра приходить еще. Она сказала, что придет, подпрыгнула и убежала, а раненый еще долго стоял у двери, покачивал головой и улыбался...

На следующий день в это же время Лена пришла опять, но раненые из другой палаты перехватили ее и повели к себе, тайком от той палаты, в которой она выступала вчера. Тут ей тоже аплодировали и хвалили. Репертуар у нее был большой: и «Катюша», которая, как известно, выходила вечером на берег, и веселая песенка «Ни туда и ни сюда», в которой Лена прохаживалась насчет Гитлера, и «Песня Харитоши» из фильма «Трактористы» — ради этой песенки Лене пришлось несколько раз подряд ходить в кино, и «Метелица», и даже «Я на подвиг тебя провожала».

Раненые водили Лену из палаты в палату, под конец вечера она совсем осипла и измучилась, ей везде хло-

пали, всюду ее хвалили, а в одной палате веснушчатый боец даже выразил ей специально благодарность от имени всех и пожал Лене маленькую, перемазанную школьными чернилами лапку своей большой рукой.

На следующий день Лена опять пришла, потом опять, потом еще и стала ходить каждый день, как на службу, к определенному часу, со всей присущей ей аккуратностью, минута в минуту. Теперь она знала военврачей, знала, что суровая с виду военврач Антонина Владимировна Орловская вовсе не суровая на самом деле, а удивительно добрая и ласковая женщина, знала, что бояться Орловской нечего, если ни в чем не виновата, знала военврача маму Флеровскую, знала смешно ей подмигивающего начальника Старчакова. Знала Анастасию Алексеевну и многих других военврачей, сестер, санитарок...

И мало-помалу госпиталь сделался для Лены вторым домом, второй семьей, а может быть, и первым домом, главной, хоть и немного великоватой, семьей.

Как-то однажды старшая госпитальная сестра сказала Лене:

— Хорошо, что ты сейчас пришла, у нас в это время всегда обед, помогай.

— Как помогать-то? — спросила Лена.

— Очень просто. Многие раненные сами не могут есть, а мы не успеваем всех кормить сразу, из-за этого некоторые должны есть холодное. Вот займись-ка!

И Лена занялась. Серьезная, маленькая, тоненькая, в своем собственном халате (у нее теперь был свой халат), с аккуратно подстриженной челкой, с широко раскрытыми серыми глазами, деловитая и неторопливая, она подходила к раненому с тарелкой супа и говорила:

— Здравствуйте, приятного аппетита. — И принималась кормить.

Очень скоро у нее выработались свои навыки в этой работе, свои привычки, своя тактика кормления. Если раненый отказывался есть, она говорила, что нельзя не есть, что ей будут неприятности, что ей попадет, что есть надо обязательно. У нее было свое всегда чистое полотенце, которое она клала на грудь раненому, чтобы не залить супом, по-своему она ставила тарелку, по-своему брала хлеб. И так как самой ей бывало скучновато (нельзя забывать, что ей всего десять лет — одиннадцатый), то во время кормления она рассказывала, развлекая рассказа-

ми и себя, и своего раненого. Рассказывала разные истории: про маму, про школу, про учительницу, про то, как трудно научиться танцевать танец «Матрешки», про военврача-рентгенолога, какой он хороший человек и как к нему приехала из Ленинграда дочка.

— Худенькая-худенькая, прямо одни косточки, бледненькая такая, ужас! Он как встретил ее, чуть не заплакал, я видела.

Историй было много, истории были разные, и раненые теперь называли Лену «живой газетой».

С каждым днем все ближе и ближе становился ей госпиталь.

К ее маленькой фигурке все привыкли, ее полюбили и раненые, и врачи, и санитарки, и сестры. Теперь бывало нередко, что военврач Орловская остановит Лену и потреплет ее за челку, за светло-коричневые мягкие волосы, потреплет и спросит:

— Ну как, Лена Орлова?

— А никак, — ответит Лена и побежит дальше.

Раненые, которые поначалу казались ей страшными со своим гипсом, шинами, зенитками, лубками, теперь стали привычными, своими людьми, с которыми можно было разговаривать, как с мамой или даже еще ближе, потому что мама нет-нет да и скажет:

— Помолчи ты, Лена, со своими глупостями!

А раненые все слушают и на все улыбаются и кивают головой, все им интересно, все их занимает.

Как-то однажды Лена привела в госпиталь с собой двух своих подруг — Инну и Галю. Подруги жались к Лене, оглядывались с опаской, а Лена им говорила:

— Ну что за вздор! Чего вы боитесь! Сами же просились, чтобы я вас привела. Ну, госпиталь как госпиталь, люди как люди, раненые бойцы... Я сначала тоже боялась, а теперь я все знаю. Вон там с лампочкой лежит — это ожог. У него нога обожжена, и лампочка ему обогревает ноги и держит одну температуру. А вон там — это зенитка. Зенитка — по-нашему, как мы говорим, а по-настоящему это не зенитка, а костное вытяжение...

— Так ему же больно! — сказала Галя.

— Ужас какой, — сказала Инна. — У него иголка через всю кость проткнута!

— И ничего ужасного нет, — с превосходством заявляла Лена, — этот боец не испытывает сейчас боли. И во-

обще, ко всему надо привыкнуть. Я вот привыкла и ничего этого не замечаю.

Потом Инна, Галя и Лена пришли в палату, в ту самую палату, где когда-то давно в первый раз пела, танцевала и рассказывала одна Лена.

Сюда же пришла Тамара Кириллова с баяном. И три девочки под аккомпанемент баяна стали разыгрывать пьеску, сочиненную ими всеми вместе. Пьеса была довольно бестолковая, не все в ней было понятно, но бойцам понравилась. Понравились и сами детские голоса, и смешные танцы, и то, как кто-то из девочек забыл слова своей роли, и баян, и стихи, и знакомые мотивы с новыми словами. Все понравилось, и раненые долго аплодировали детскому ансамблю.

Как-то девочки придумали натаскать в госпиталь свежей зелени и натаскали веток хвои и разных северных растений со странными названиями: копытень, погребмок, бодяк...

Натаскали, и в палатах сразу же запахло лесом, жизнью, здоровьем...

Но это все было не главное, это были развлечения, а не работа. Работа же оставалась работой — накормить раненого обедом, ужином, завтраком, подать костыль, дать воды, принести судно, купить марок и конвертов, отправить письмо, телеграмму.

И несмотря на то что эта работа не менялась из месяца в месяц, Лена продолжала делать ее любовно и добросовестно, точно и просто, аккуратно и деловито.

А однажды Лениной маме позвонили на службу из госпиталя по телефону.

Мама подошла к телефону и сказала:

— Да, я слушаю. Орлова слушает,

Людмилу Ивановну поздравили.

— С чем? — спросила Ленина мама.

— Ваша дочка Лена Орлова награждена медалью.

Ленина мама немножко побледнела.

— Спасибо, — сказала она, — большое спасибо!

Это было не такое уж простое дело, если припомнить, что Лене шел всего-навсего одиннадцатый год.

Член Военного совета вручил Лене медаль «За боевые заслуги». Лена сказала: «Спасибо вам, товарищ начальник», — и пожала руку генерала.

И с медалью, привинченной к старенькой кофточке,

пошла в школу — учиться арифметике, русскому языку, истории.

А из школы — в госпиталь, как всегда, как каждый день.

В госпитале она перевинтила медаль на халат, в ее десять с половиной лет она могла позволить себе поносить медаль на халате.

Был час обеда. Лена занялась обедом. Потом она развлекала раненых альбомами марок, которые она набрала у товарищей школьников.

— Вот это марка английская, — говорила Лена, сидя возле раненого командира, — красивенькая, правда? А это уж я не знаю какая, забыла. А это тоже забыла. А это пирамида. Вы знаете, что такое пирамида?

— Нет, — сказал раненый командир, который до войны был преподавателем истории в высших учебных заведениях, — нет, девочка, не знаю, что такое пирамида. Ты уж мне расскажи.

Лена рассказала довольно правильно.

— Такая могилка древняя, — сказала она, — из камней. Сюда ихних царей укладывали, мертвых. Они тут себе и лежали. А строили пирамиды рабы. Тяжелая, наверно, была работа, да?

— Да, — согласился командир.

После марок Лена показала командиру альбомчик советских киноактеров.

— Товарищ Янина Жеймо, — говорила она, — уж она мне нравится. А это товарищ Макарова Тамара, мне так девочки говорили, что она всю войну на фронте была автоматчиком и ничего не боялась. Верно? Будто фрицы ее очень хотели убить, но не вышел номер, Да?

— Не знаю, — сказал командир.

— А это товарищ Жаков. Всегда, говорят, создает хорошие типы. А это...

— Ленуша, — позвал командир из угла палаты. — Ленуша, дай покурить, пока никого нет.

— Заругают нас с вами, — сказала Лена.

— Ну дай!

— Какие вы! — ответила Лена. — И чего в нем хорошего, в дыму!

— А ты сама не курила и не знаешь. Дай, Леночка! Вот возьми у майора папироску и принеси мне. И спичку.

Потом, когда раненый старший лейтенант покурил из Лениных рук (он был ранен в кисти и сам курить не мог), Лена под его диктовку стала писать письмо крупными, толстыми буквами.

«Моя дорогая Катюша, — писала Лена, — дорогая моя, я шлю тебе мой пламенный привет из самого сердца и желаю тебе помнить своего Николая, как он тебя помнит, как он помнит все твои родинки и всю твою фигуру, которая ему во сне снится...»

— Дочке пишете? — спросила Лена.

— Почему дочке? — спросил лейтенант и, спохватившись, сказал: — Ну да, дочке, маленькая у меня дочка, вроде тебя, чуть побольше.

— Ленуша, утку, — окликнули от окна.

— И давно пора, — сказала Лена, — давно пора. Сейчас сестре скажу, что пошло у вас, а то с самой операции хоть бы что...

С уткой в одной руке и с пером в другой она вошла к сестре и сказала ей, что капитан Одинцов все сделал по-хорошему, сам попросил, а сейчас хочет есть.

Сестра посмотрела утку на свет и велела кормить Одинцова обедом.

— Есть, обедом, — сказала Лена.

Вечер. Я стою в коридоре госпиталя, начальником которого работает военврач первого ранга товарищ Старчаков. Дверь в палату открыта. Лена с новенькой медалью поверх халата поет тонким, свежим, негромким голоском:

Пахнут медом,
Пахнут мятой
Золотые вечера,
Сели вечером ребята
У веселого костра...

Раненые тихо слушают. Лица у всех задумчивы и грустны. У многих есть дети, где-то далеко, такие же, может быть, девочки с челками.

Среда

Ровно год войны. Как давно я ничего не записывала в тебя, мой милый, старый дружок. Как мне некогда, как ужасно мне некогда...

Дни бегут один за другим, страшно похожие, длинные, огромные, мы мало спим, много работаем и учимся, учимся, учимся.

Запишу немного про Старчакова. Прежде всего он хороший доктор. Мне говорили, что перед самой войной он написал интересную диссертацию — талантливую и оригинальную. Специальность его — терапия. А сейчас он почти не занимается своим делом, а занимается хозяйством. Организовал охоту на лосей — у нас в госпитале все время кормят свежим мясом. Построил водопровод. Целых два — летний и зимний. Лесопилку, уакоколейку, электростанцию, да не простую, а такую, которая топится маленькими чурками, чтобы не тратить бензина. Потом построил маленькую гидростанцию. В нашем госпитале всё механизировано, и это почти невероятно, потому что механизация произведена во время войны руками нашего персонала и тех из выздоравливающих, которые скачут по работе, а таких, надо сказать, довольно много.

Лечился у нас пожилой инженер по фамилии Барinov, милый и веселый человек. К нему Старчаков заходил частенько с чертежами. Баринов их поправлял, потом переделывал, потом сердился и чертил все наново. Так построил он сушилку для посуды, гидролизный электрический стерилизатор, электрический умывальник для хирургов и еще много полезных вещей... А ведь наш госпиталь — военный и нынче война, и сюда к нам частенько залетают немецкие бомбардировщики. Самое хорошее, конечно, в Старчакове — это его положительность и серьезность, с которой он работает. Госпиталь наш для легкораненых, и у него много своеобразных особенностей.

Прочитала то, что пишу, и очень удивилась: какой-то хозяйственный доклад.

Пятница

Опять запоздала, все пропустила, и ничего уже невозможно восстановить. Вот даже не записала начало наших курсов, как мы ездили в город за скелетом, за книжками, за пособиями, за муляжами, как ничего не достали и вернулись сердитые, как потом я одна поехала и достала скелет, а поехала без машины, и вот — попробуйте доставить скелет в неразобранном виде. Идешь, тащишь, бумага порвалась, в которую он завернут, люди в сторо-

ны шарахаются — будь ты неладен: и смешно, и досадно...

Пришла, а у нас бомбежка.

С одного здания вся крыша приподнялась, потом опять опустилась, села набекрень. И ни одного стекла — все вылетело, водопровод наш развалился, лесопилка тоже. Я влезла к своим раненым в землянку (есть у нас такое бомбоубежище), втащила туда скелет, а вокруг все так и ухает...

И все пришлось почти сначала начинать. Ремонтировали, белили, стекла вставляли, водопровод провели заново. И в это же время занимались.

Получила письмо — убита наша Тася, тяжело ранен Русаков, контужена Варя. Они ехали в санитарной машине, на них налетел немец и стал их обстреливать из крупнокалиберного пулемета. Вот и все.

Часто я вспоминаю теперь того немца по фамилии Штамм, часто, очень часто. И вот сейчас про него думаю и вообще про всех про них, которые напали на нас и убили Тасю.

У меня странная военная жизнь. Я знаю только один участок войны, только тот, что носит красный крест, знаю, вижу, работаю только тут. За это время я увидела много немцев у себя в медсанбате, и в госпиталях, и когда их везут и несут.

И чем дальше, тем труднее мне быть им санитаркой. Я знаю, не мое дело судить, вмешиваться, решать, я знаю, наша эмблема, красный крест, как бы ставит нас вне, выше всех страстей человеческих, это ведь еще издавна так уж повелось, но ничего я не могу с собой поделать.

Я чувствую, что руки мои дрожат и не слушаются меня, когда я перевязываю ногу тому длинному, седому вестфальцу.

Я чувствую, что голос мой неестествен, когда я спрашиваю у них то, что мне полагается спрашивать по моей военной должности.

Я чувствую, что я смотрю на них иначе, чем мне надобно смотреть, помня мой халат и символ наш — красный крест, я чувствую, но не могу иначе.

Кончился ремонт, вновь паладилась наша жизнь, и все

опять пошло по-прежнему. День наш начинается очень рано — в шесть часов утра. Мы встаем в пять. Сонные, плохо соображая, мы умываемся ледяной водой, чтобы прийти в себя и соображать немного лучше. С шести до одиннадцати у нас теория: внутренние, инфекционные, анатомия, физиология, хирургия и разное прочее. Занимаемся мы где придется. Орловская, Старчаков читают нам лекции, и теперь я часто вспоминаю Ленинград, ленинградскую осень в институте, вспоминаю тогдашние свои мечты и думаю, что все еще будет, что война кончится и я вновь буду студенткой, но как все будет тогда иначе, как научимся мы ценить то, что не ценили, то, что не замечали, то, что проходило мимо нас.

Начальник наших курсов — мама Флеровская. Она читает нам хирургию и все свое свободное время проводит с нами. Она строга больше других, взыскательна и необыкновенно требовательна. Мы ее слушаемся и очень боимся, как это ни странно.

Потом старшие сестры ведут с нами практические занятия. Мне эти занятия скучны, потому что все это я знаю и умею хорошо делать сама, но я терплю и подчиняюсь.

Я устаю. Мы все устаем. Мы устаем и никогда не говорим об этом. В госпитале, где начальником Старчаков, неприлично, невозможно говорить об усталости. В этом госпитале совершенно справедливо считается, что поскольку мы военные люди, постольку мы должны вести себя так, как ведут люди на переднем крае. А там, как известно, об усталости не говорится.

Но хоть мы и не говорим об этом, мы устаем. Кроме того что мы учимся, мы работаем санитарками. А кроме того что мы работаем санитарками, мы еще занимаемся хозяйством, например доставкой и заготовкой дров, картошкой, капустой, мы убираем, моем, стираем. Мы еще готовимся к занятиям. Мы еще читаем раненым газеты, устраиваем спектакли, участвуем в конференциях сестер, где тоже не хочется сидеть чурбаном... А темы докладов на конференциях сестер тоже не такие уж пустяковые, если хорошо подготовиться, например: наркоз и наркотические вещества, переливание крови...

Спать! Я хочу спать!

Кроме всего перечисленного мы еще изучаем военное дело: пулемет, гранату, винтовку...

Получила два письма. От отца и от одного военного товарища, которого я люблю больше жизни и, может быть, больше папы. Так вот от этого военного товарища получила письмо на трех страницах. Настоящее любовное письмо.

Села отвечать папе и этому самому товарищу, ответила и перепутала конверты.

Представляю себе папино лицо в том случае, если бы я не спохватилась вовремя.

Могу себе представить...

К нам привезли Русакова. Он будет у нас долечиваться. Ему уже хорошо. Я часто к нему забегаю, а мама Флеровская читает ему по вечерам «Войну и мир».

Четверг

Вот как это было: я бежала с бутылкой за перекисью в аптеку и за поворотом увидела повозку и пару лошадей. А возле лошадей стоял он и чесал лошади за ухом. И честное слово, лошадь ему улыбалась. Честное слово.

Я остановилась из-за лошади, из-за того, как она улыбалась, и только тут увидела его и его руку на перевязи и подумала, что у меня сейчас разорвется сердце. Просто возьмет и лопнет.

Он ранен уже четвертый раз и все посмеивается, говорит — злее будет. Я сказала — злее некуда, и он в ответ:

— Найдется...

И блеснул своими медвежьими глазками. Ох, и страшенькие бывают у него глаза.

Ему тут очень нравится, и чрезвычайно он доволен этим госпиталем и всей его системой. А я ему ужасно верю, каждому его слову верю, знаю, что он ничем никогда не увлекается, пустяков не болтает и если что-то ему нынче нравится, то это всерьез, это он десять раз обдумал, проверил и решил для себя, как отрезал, раз навсегда.

Вот что он говорит про эту систему госпиталя для легкораненых:

— Я в вашей работе, Наташа, мало чего понимаю, почти что бревно я в вашей работе. Понимаю, поскольку ваша служба обеспечивала мне решение моих задач. Но должен сказать, что, когда раньше ко мне мои солдаты возвращались из госпиталя, я очень бывало сердился.

Вернутся и рассказывают: чуткость к нам проявляли, цветов прямо-таки оранжерея была, сплошные тропики, кино нам, подарки нам, кровати нам на пружинах, разные фигли-мигли. Послушаешь, послушаешь — да плюнешь. Вернется такой боец, и назавтра в землянке у него грипп, видишь ли, а послезавтра воспаление в легких — и поехали. А это потому все, что ранение у него ерундовое, а вы его изнежили вашими оранжереями, развратили, отучили от военной обстановки, и ему надобно ее наново осваивать со всеми выходящими отсюда последствиями. А вот тут дело другое. Смотрю — нравится. Правильно, что казарменное положение, что постели жесткие, что физзарядка обязательна, что нары, а не кровати. Правильно! А самое правильное — это военные игры, занятия военные, знапия, которые боец за время излечения у вас приобретает. Смотрю я эти дни на вашего лейтенанта Сергушева. Орел парень. И конечно, командиру типа Сергушева боец полностью доверяет. Командир не столько раз ранен на этом театре. Знает обстановку. Знает, как тут надобно воевать. Лыжи знает, знает повадки врага, его хитрости, его тактику, стратегию. Знает, чего не надо делать. И тут, в госпитале, вместо того чтобы терять форму, мускулы, легкость тела, меткость руки, зоркость глаза, боец теперь приобретает целый ряд знаний, так необходимых ему в военном деле. Ты знаешь, я интересовался, наблюдал, какой колоссальный интерес к военным знаниям в госпитале у бойцов. Огромный. А почему? Поняли: для того чтобы бить врага и самому оставаться живым, надо уметь воевать. Еще на фронте это поняли, а тут торопятся узнать, понять, догнать тех, которые знают и потому что знают — воюют лучше. Народ тут уже обстрелянный, поверивший в необходимость военных знаний, такой народ, который своими глазами видел, как необходимо, жизненно необходимо уметь и знать. Вот я смотрел — у вас с восьми часов до трех пополудни боевая подготовка. Казалось бы, утомительно, а от желающих нет отбою. Смешно, но даже слабые стараются словить и попасть на занятия. Далеко стал смотреть народ, видят в этих занятиях свою, личную пользу. Я у одного тут спросил: «Почему идешь на занятия, ты еще слабый, лежащий, а притворяешься здоровым?» Отвечает: «Боюсь, не успею, много проходят, хочу все узнать». «Зачем?» — спрашиваю. Смеется: «Жить хочу, товарищ начальник,

фашистов хочу много побить, а сам домой пойду после войны. С орденом!» Видала? Даже с орденом...

Среда

И опять он уехал. Сколько раз я его провожала, сколько раз это можно выдержать, сколько раз можно возвращаться одной после того, как...

До свидания, майор Храмцов! Скучно мне, скучно мне без вас, и первые дни, когда вас нет поблизости, я места себе не могу найти.

Знайте!

Приехал доктор Руднев. Оперировал, потом сказал мне:

— Вот что, золотко, там у меня внизу, в ординаторской, гимнастерка осталась, принесите портсигар. — Узнал и покраснел: — Ничего, я сам принесу.

Я принесла ему портсигар — что ж, я санитарка. Он улыбнулся и сказал:

— А вы совсем молодец.

Поговорили с ним немного про папу. И опять он уехал колесить по фронту, учить врачей, ругаться, хвалить, оперировать.

Я — СЕСТРА

Ну, дневник, запишем, как что было.

Во-первых, были экзамены, со мной, как у нас выражаются, произошло чрезвычайное происшествие. Как раз когда я отвечала, отворилась дверь. Мама Флеровская сказала каким-то слишком громким голосом: «Встать!» Все встали... короче говоря, приехал начальник.

— Кто экзаменуется?

Мама Флеровская все доложила, отрапортовала, как полагается, не очень это у нее гладко вышло, но начальник сделал такой вид, что все отлично. Сели. Я стою. Меня экзаменуют. Начальник слушает, сам молчит! Никаких вопросов не задает.

Потом разгладил двумя пальцами лицо и вдруг говорит:

— Я ранен в живот. Так-то и так-то. Что вы будете делать?

Я говорю. Ответила верно, потому что не только в книжках читала, но все это на самом деле видала.

Тогда начальник просит:

— Дайте попить. Пить очень хочется!

Я в ответ спрашиваю:

— Кому дать попить? Начальнику управления или раненному в живот командиру?

Он отвечает:

— Командиру.

— Не могу. Нельзя.

— Немного. Несколько глотков.

— Ничего не могу.

Он улыбнулся и похвалил меня. И я стала отвечать комиссии, которая торжественно беседовала за большим столом. И Русаков, уже почти совсем здоровый, тоже беседовал и задавал вопросы своим сердитым голосом. Я написала рецепты по-латыни, отвечала на множество вопросов, один раз поплакала, но потом вынырнула, и все обошлось благополучно.

А потом вечером нас всех пригласили в клуб, и начальник вручил нам косынки с маленьким красным крестиком на лбу — эти косынки означают, что мы больше не санитарки, а сестры, настоящие, медицинские сестры, «сестрички милосердные», как говорили во времена Пирогова.

Я сидела сзади, и мне было видно, как все наши повязывали вместо платочков санитарок белые косынки сестер и как все те, что сидели передо мной, вдруг преобразились, стали иными, стали сестрами, в новых косынках с крестиками, а у меня колотилось сердце и слезы готовы были выступить на глазах.

Я тоже получила косынку, тоже сказала свои несколько слов, села с девушками и подумала про себя, что теперь я сестра, настоящая сестра. И так мне стало хорошо, так прекрасно, что это даже невозможно выразить словами. И у всех наших девушек от волнения блеснули глаза.

Мы тихонько поздравляли друг друга, шепотом, едва слышно.

Никогда не забуду, как мы вышли в косынках и тулупах на мороз, какие звезды были на небе и как потом звезды исчезали и на небе стало играть северное сияние — длинные, острые языки какого-то ослепительного цвета...

А мы шли по снегу и все вспоминали, как что было, как военврач Старчаков нас поздравил... А кто-то пел, кто-то снежками бросался, кто-то громко крикнул:

— Прощай, учеба, здравствуй, война!

Кончился еще какой-то кусочек моей жизни, и чего-то мне жалко, и сердце немного щемит, и радостно на душе.

Я отстала от девушек и иду одна. Они поют где-то далеко, ночной, морозный ветер треплет мою косынку, куда я иду — не знаю. Майор, где вы? Милый майор, я бы сейчас на вас поглядела одну только секундочку, как вы морщитесь и посмеиваетесь. И вы бы, майор, поглядели на медицинскую сестру Говорову Наталью...

Январь. Понедельник

Еще один Новый год я встретила на войне. Милый дневник, папа все знает про майора! Милый дневник, как я испугалась, когда начала читать письмо, и как мне потом стало приятно. Какая прелесть мой папа! Он пишет, что майору, наверное, сто лет в обед и что напрасно я связала свою жизнь со стариком. Но впрочем, насколько он помнит, пушкинская Татьяна была счастлива со своим старым хрычом, чего папа и мне желает. А конец письма какой-то грустный. Папа пишет, что нам надо повидаваться, потому что он мой отец.

Четверг

Майор переведен на другой фронт. Что же это будет? Ведь я же умру.

Вечер.

Наверное, это подлость, но я умру, если не поеду за ним. Он переведен на тот фронт, где папа. Они увидятся. Они будут разговаривать. Они будут на одном фронте. А я буду тут.

Какой ужас, как мне быть, что делать?

Среда

Н. Говорова едет к папе через Москву. Мой папа железный человек. Он пишет, что я уже настолько самостоятельна и так себя проверила, что без всяких угрызений совести могу быть в той же армии, где он. Ну и, конечно, разные колкости насчет того, что если бы не майор, то он бы и думать не смел, а поскольку майор — постольку и папа тут пристроился.

От мамы нечто трагическое. Отец ей написал, что я выхожу замуж, она написала мне в своем вечном торжественно-приподнятом тоне — подумай, дочь моя, достаточно ли ты знаешь этого человека, увлечение может пройти, моя дорогая Наташа...

От Шурика Зайченко открытка. Вот она приблизительно:

«Мой боевой друг! Отныне я буду называть тебя так, потому что теперь ты только мой товарищ, и все остальное должно быть отмечено. Он — стоящий человек, его энергия подобна стальной пружине, его голос — это голос эпохи, его взгляд сверлит и пригвождает...»

Майор, за что это он вас так?

И очень интересное письмецо из города Ташкента от специалиста по тутовым деревьям Бори Вайнштейна. Он пишет, что в то время как некоторым счастливицам подвезло и они бьют немцев, другие принуждены мучиться в тылу и всякое такое прочее в слезливо-патетическом тоне.

Попадись вышеупомянутый специалист по тутовым деревьям мне сейчас, я бы ему такое сказала, такое!

А теперь опишу конференцию, которая была уже давно и которую я боюсь забыть.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Это еще тогда было, когда нас выпускали, давно. Конференция армейских врачей. Теперь они все разъехались — разные мои близкие и далекие знакомые, доктора и докторши, молодые и старые, а я как-то зашла в клуб, вспомнила, как они тут заседали, и решила немного написать, потому что мне было очень приятно на этой конференции. Сидела я на ней зайцем, все со мной здоровались, все мне говорили: «А, Наташа, здрасьте», или «Здравствуй, золотко», или «Где ты растешь, где ты цветешь», — наши армейские доктора в тяжелых сапогах, в гимнастерках, с чашами и змеями, кудрявые, лысые, очкастые, толстые, тонкие, разные, милые мои доктора...

А была одна докторша, с которой мы разговаривали, потом она вынула из кобуры для пагана губную помаду, накрасила губы и сказала:

— Ко всему привыкла, а без сумочки жить не могу, не могу привыкнуть.

Итак, конференция.

У всех праздничные лица, все выбритые, докторши какие-то торжественные, от всех пахнет одинаковым одеколоном (был в военторге), до открытия конференции все жужжат в коридоре, а сколько новых орденов! Сколько поздравлений, сколько рассказов, сколько приключений! Эх, была бы я писателем вроде Ф. Гладкова, сколько бы я этих рассказов написала.

Все довольны.

Конференция открылась.

Военврач Инна Евгеньевна делает доклад. У нас совсем немного времени, и, слушая ее, я думаю о том, как многим нашим привычным ораторам из говорильщиков на общие темы надобно поучиться у врачей их скромности, их лаконизму, их простоте. А ведь Инна Евгеньевна излагает не знакомые всем чужие мысли, а то, что она сама видела и решила, то, что подсказал ей ее врачебный опыт, то, что она сама выяснила и продумала.

Речь идет о ранениях крупных суставов. Мысль такая: опасность, связанная со вскрытием сустава, та опасность, которая была основанием для старого, консервативного лечения, преувеличена. Гораздо опаснее, чем вскрыть сустав, оставить в полости сустава различные инородные тела. Инна Евгеньевна говорит негромко, волнуется, говорить ей куда труднее, чем оперировать. Все слушают молча, у каждого есть свои соображения на этот счет.

Я сижу тихо, как мышь. Сестрам на конференции делать нечего. Одна Оля торжественно восседает на скамье посредине двух раненых. Раненые эти — романовские. Он их будет демонстрировать. Это два здоровых парня, которые сидят с торжественными и важными лицами. Не каждому бойцу дано демонстрироваться на ученой конференции, далеко не каждый раненый принимает участие в научной работе, да и вообще будет что рассказать после войны.

Романов — румяный, черноглазый, веселый, прохаживается возле своих раненых, подмигивает им, подмигивает мне:

— Ну как, Наташа? Что новенького?

Доклад идет за докладом. Все новые и новые схемы, диаграммы, рисунки появляются на досках. Незнакомый

военврач говорит о лечении проникающих ранений черепа методом первичного глухого шва.

Слушать интересно, военврач увлечен своим методом, техникой, которая позволяет уменьшить опасность гной-ного заражения проникающих ранений черепа. Как всякий воодушевленный и верящий идее человек, он говорит сильно, напряженно, даже проникновенно. Потом молодой военврач Дубов демонстрирует раненых. В заключение он заявляет:

— Ранение такое-то и такое-то. Лечение такое-то и такое-то. Оперирован был так-то. Больной — военврач третьего ранга Дубов, то есть я.

Оказывается, этот молодой доктор был ранен на фронте, попал в госпиталь, вылечился, и теперь Дубов на себе демонстрирует преимущества первичного глухого шва.

Смех и аплодисменты.

В перерыве я узнала, что этот самый Дубов, едва начав ходить по госпиталю, пробрался в операционную помогать и учиться работать.

Выступает Романов. Дело идет о вторичной пластике при ранениях мягких тканей. Надо правильно раскраивать кожные покровы. Тогда, полностью используя способность кожи к эластическому растягиванию, можно закрывать значительные кожные дефекты. При этом методе резко сокращаются сроки лечения ран, а главное, не образуются мучительные, неподвижные рубцы, так характерные при старом, пассивном лечении.

Меня разбирает зло. Что делать, если человек с такими золотыми руками, как у военврача Романова, не умеет говорить? Разве это не обидно?

Он кончает свой доклад такой скороговоркой, что у меня перехватывает дыхание.

Милый Сергей Иванович! Как я люблю смотреть на вас в операционной и как мне обидно, что тут... Но это все равно. Это даже не важно. Сейчас смотрят ваши отдаленные результаты. Оля провожает к эстраде вашего раненого. Он ждет, этот раненый, он оглядывается по сторонам, сейчас он нам покажет, что такое доктор Романов, который не умеет говорить, но умеет лечить.

И раненый показывает.

Короткий вздох проносится по залу. А когда целый зал хирургов так почтительно и завистливо вздыхает и

причмокивает — это что-нибудь да значит. Правда, дорогой мой дневник? Ты же знаешь, что за народ наши доктора? Им трудно угодить...

Эта рана когда-то была колоссальной. Огромной.

— Вот и вот, — показывает Романов. — Отсюда и сюда...

Оглушительная пулеметная скороговорка. Все встают, все сгрудились возле эстрады, возле раненого. Раненого наклоняют — так и так. Пробуют, нет ли все-таки рубцов. Ох эти врачи, им пальца в рот не клади. Нет, рубцов нет...

— Да, — говорит один, седой, в очках.

— Это да-с, — говорит другой.

— Лихо сработано.

Опять причмокивания и завистливые вздохи. Романов сияет и дает еще пару коротких очередей. Врачи теребят спину раненому. Да какой это раненый? Это совершенно здоровый человек. Теперь он ходит по рядам, «носит» свою спину, как драгоценную реликвию, все больше и больше проникаясь уважением к тому, что у него там, за плечами. Оля протягивает ему рубашку, но он не хочет. Разве это уж все? Разве больше никому не интересна такая удивительная спина? Ведь она же составлена из кусочков, из лоскутов, это почти мозаика, то, что сделал Романов, — ведь тогда никакой спины не было, была каша, страшная каша...

Демонстрируется другой раненый. Ему Романов сделал ягодицу.

Построил отличную, крепкую, круглую ягодицу. Чем плоха?

Врачи сгрудились теперь возле ягодицы, которая построена великолепными руками хирурга Романова. Заметив меня, боец, которому Романов построил спину, подходит ко мне, смотрит молодыми, добрыми глазами и говорит:

— Ты глянь, сестрица, какая работа. Видала? Да ты пощупай, ничего, не больно! Ты только пощупай. А? Приеду после войны к матери, покажу, что спина новая, не поверит. Верно? Родная мама не поверит.

Вечер

Рабочий день конференции закончен. Я стою в углу возле печки. Мимо меня проходят все те, с которыми я вместе работала,

Я закрываю глаза.

Я слышу, как доктора стучат своими тяжелыми ко-
жемитовыми сапогами, как они смеются, слышу их го-
лоса, знаю — они скручивают папироски, острят, шутят.
И мне, пока я стою с закрытыми глазами, кажется, что
мимо меня проходят все те, с которыми я работала, все
те, которых я встречала, все те, которые поругивали ме-
ня и похваливали, те, которые разносили меня и стави-
ли в пример другим санитаркам, те, с которыми я пере-
несла трудный год войны, те, которые делили со мной
кружку кипятку, тесную палатку, сырую и дымную зем-
лянку...

Так я прощаюсь со всеми.

Я стою и слушаю знакомые голоса людей, с которыми
меня сроднила война, людей, которых я никогда не за-
буду, и тоска внезапно сжимает мое сердце: увидимся ли
мы когда-нибудь? Где? Как?

А доктора все идут и идут.

Я слышу знакомые голоса, чудится скороговорка док-
тора Романова, голос Русакова, точные, сипловатые фра-
зы нашего начальника.

До свидания, товарищ начальник управления.

Бряд ли вы помните санитарку Наташу Говорову, но
я вас помню, помню тот артналет на наш медсанбат, пом-
ню, когда вы стояли тогда, помню, как ничто не дрогнуло
в вашем лице, помню, как встретила я вас на тропотке,
когда шли вы в роту, задумались о чем-то, один, а кру-
гом свистело и ныло, и санитарке, которая прошагала
вам навстречу, было очень страшно тогда...

Я очень благодарна вам, хоть вы никогда этого и не
узнаете, за все: за суровую школу мою, за медсанбат,
в котором я работала, за госпиталь, в котором я училась,
за людей, которых я видела на этом самом северном
фронте в мире...

До свидания, самый северный в мире фронт.

Все-таки я была маленькой частицей этой грандиоз-
ной машины — санитарного управления фронта.

И я очень горда этим.

В зале тихо, совсем тихо и пусто.

Тихонечко я открываю глаза: тут никого больше нет.
Я одна.

До свидания же, самый северный фронт!

*ПОСЛЕДНИЕ СТРОЧКИ ДНЕВНИКА
НАТАШИ ГОВОРОВОЙ*

На Ленинградском фронте перемены.

В Ленинградской блокаде пробита брешь.

Я сижу на станции, ночь, луна, все спят, кроме меня да еще чудака командира, который то поглядит на меня, то подремлет. Что-то я расписалась сегодня. Майор мой спит и посапывает. Я знаю, проснется — попросит чаю. Так и есть.

Пока мы пили чай, этот чудака командир уронил свою рыбу под скамейку, полез доставать — и ни туда, и ни сюда. Застрял под скамейкой вместе со своей рыбой. Очень смешной чудака.

Потом мы вместе с ним пили чай!

До свидания, мой дневник. Мы много пережили вместе с тобой, а теперь я отдаю тебя в чужие руки. Оказывается, ты можешь пригодиться.

Чем-то мне кончить эту тетрадку?

Вот чем:

— Помните, как мы улаживались? В шесть часов после победы в Ленинграде, под аркой Главного штаба. Ровно в шесть часов, не опаздывая ни на минуту.

Медсестра Наталья Говорова

СТУДЕНОЕ МОРЕ

1. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ



рупной рукой отец взял полштоф зеленого старинного стекла и аккуратно налил ледяную водку — сыну в старинную, червленого серебра стопку, Анцыферову — в тяжелый стеклянный стаканчик, себе — в любимую рюмку «вапъка-встанъка». Наливал он медленно, очень точно, по самый край, рука его не дрожала ни сколько.

— Интересно получается, — заговорил старик, сдерживая свой могучий, раскатистый, сиповатый голос, — собрались в одной комнате за столом три капитана. Анцыферов — капитан да двое Ладынины — тоже. Правда, один из них почему-то старшим лейтенантом называется, но все равно кораблем командует. И выбрали для встречи себе три капитана довольно шумный вечер...

Федор Алексеевич прислушался: опять затрещали зенитки и нечто осязаемое прошло над головами, над дощатым полированным потолком, над крышей — там, в холодном осеннем небе. Анцыферов сморщился и едва заметно втянул голову в плечи.

— Не куксись, Пал Петров, — улыбаясь, сказал Ладынин, — на праздник пришел, водку пить, гулять пришел — обидишь. Давай чокнемся!

Улыбаясь бледной улыбкой, Анцыферов поднял хрустальный стаканчик. Водка пролилась на его толстые пальцы, закапала на скатерть. Но Федор Алексеевич слов-

но и не заметил всего этого: он умел щадить людей. Обращаясь к сыну, глядя в его яркие голубые глаза, он заговорил о том, как привык встречать день своего рождения, как однажды встречал в Африке, под «паршивой сухой пальмой», и как все-таки была настоящая русская водка, первосортная, и русские маринованные грибы.

— Ты еще мал был тогда, — сказал старик, — под стол пешком ходил и небось...

Он не договорил, что «небось». Дрогнула земля, весь старый прадедовский дом точно бы раскололся, черная пыль тучей поднялась в комнате, лопнуло стекло в старинной укладке, и, когда все затихло, вдруг упала со специальной полки модель шебеки, грохнулась на пол и разлетелась в кусочки.

— Сукиного сына! — со злобой сказал Федор Алексеевич и, грузно поднявшись с кресла, наклонился над тем, что было когда-то искуснейшей моделью полугалеры. Лет уже пятьдесят шебека стояла под стендом, в специальном колпаке, и никто, кроме самого капитана нынче, а раньше деда Алексея Феоктистовича, не имел права касаться не только самой модели, но даже и колпака, для того чтобы стереть пыль. — Сукиного сына! — повторил старик, краснея от злобы и беспомощно сгребая ладонью по полу гнилые шкертики, изображавшие ванты, да мелкие щепки, да позеленевшие медяшки.

Ему было жалко своей драгоценности до того, что он длинно выругался, а потом пнул башмаком остатки корабля, построенного руками слепнущего шкипера-деда, и заговорил, сердито морщась и глядя на черную пыль, которая еще ходила по столовой:

— Вот и живем. Как собаки. Без женской руки все какая-то чертовщина из щелей лезет. Вот возьму, да и женюсь, ну вас всех к черту!

Александр тихо улыбнулся.

— Чего смеешься? — крикнул отец жалобным голосом. — Думаешь, выжил старый отец из ума? Женюсь, тогда будете знать! Глафира! — заорал он своим совершенно громовым голосом. — Глафира, ведьма!

Кривобокая и носастая Глафира высунула из передней бледное, странно злое лицо с черными бровями.

— Выходи за меня замуж, — сказал Ладынин, — надоело бобылем жить. Выйдешь? С попом, честь по чести. Что смотришь, чертовка?

Глафира прищурилась, плюнула и ушла.

Капитан захохотал стреляющим смехом.

— Зато бесстрашная, — сказал он, — ничего не боится. Хоть какая уютно бомбежка — только шипит. У-ух, ведьма!

Федор Алексеевич налил еще водки и рассказал, как штормовали в Японском море и как, несмотря на шторм, он все-таки справил свой день рождения.

— На полчаса дал себе антракт, спустился в салон, буфетчик стол имел накрытым, пшеничная водка во льду, грибы-рыжики в салатницах, икра в хрустале, все как полагается. Старпом и прочие крахмальное белье надели, бритые, надушенные, только у старпома через всю морду заплатка из пластыря: на бритву напоролся — до сорока градусов крен доходил; тут побриться — подвиг... Что ж, выпьем, капитаны?

Закусив после водки, Ладынин закурил трубку и прислушался, но тотчас же начал рассказывать, точно заглушая раскатами своего веселого баса то, что вновь начиналось там, за окнами, закрытыми ставнями, во тьме этой дикой воробьиной ночи. Рассказал анекдот не до конца, замолк и выругался:

— Всяко праздновал свой день, а так не приходилось. Ведь... — Он махнул рукой.

У Аяцыферова вдруг затряслась нижняя челюсть, худым заходили узловатые татуированные руки, лицо сделалось совсем стариковским.

— Вот Шурик небось думает, трушу, — крикнул он, — думает небось, выдохся бывший капитан Аяцыферов, а нет, врешь, не выдохся, но только это я не могу терпеть, понял — не могу, это какая ж война, когда они по городу швыряют, по женкам да по ребятам, это что ж такое, я спрашиваю, а?

И точно в ответ ему со злобой начала бить молчаливая до сих пор ближайшая к дому зенитная батарея, с ноющим жалобным звуком зазвенели стекла; вновь там, над крышей, в холодном небе прошли самолеты.

— Выйдем, — сказал отец.

Выходя, Александр заметил: старик Аяцыферов потстал, налил себе полстакана водки, выпил залпом и, догоняя, сказал:

— Хорошо! Ой, хорошо! Теперь я под любую фугаску

полезу, не испугаюсь. А еще полстакана кипяченой, так и сам полечу хоть в стратосферу.

Толкнул его в бок и спросил:

— Таким молчальником и остался? Все помалкиваешь?

— Помалкиваю.

На дворе было совсем темно, и все трое остановились на крыльце, привыкая к звездному мраку. Луна еще не начала всходить. Тонким голосом с крыши закричал Бориска:

— Тарелки какие-то бросают. Честное пионерское, мы с Блохиным две видели. Скажи им, Блохин.

— Фосфорические поджигательные тарелки, — солидно сказал Блохин и чихнул.

Мальчики засмеялись наверху.

Высоко в небе что-то прожужжало. Лучи прожекторов беспомощно отыскивали самолеты, и один — главный луч — сердито замахивался на остальные, которые делали что-то не то. Самолет спикировал, и далеко прогрехотали четыре взрыва. Свесив голову с крыши, Бориска сказал, что пожаров пока нигде нет — немцы либо не попадают, либо ихние зажигалки хорошо ликвидируются.

— Ты вот гляди, чтобы тебя какой осколок не ликвидировал, — ответил отец, — и кастрюлю с башки не снимай.

Вновь загрели разрывы, но значительно ближе, и опять в небе прошли самолеты, точно обдав землю смертельным холодом.

«Юнкерс» развернулся и пошел в пике.

— Ложитесь вы там! — крикнул Бориска сверху звонким и бесстрашным голосом.

Хриплый, холодный, захлебывающийся вой делался все ближе и ближе. Анцыферов присел. Отец и сын Ладнины неподвижно стояли возле крыльца. «Юнкерс» все еще тянул.

— О господи! — сказал Анцыферов.

Все ниже, ниже ложились нити трассирующих пуль. «Юнкерс» продолжал тянуть. Федор Алексеевич положил руку на неподвижное плечо сына. В это мгновение их обоих забросало землей и щепками, камнями и песком, перевернуло, ударило о стену, но они ничего почти не заметили, крикнули в один голос:

— Бориска, жив?

— В болото кинул, — закричал Бориска, — думал, болван, что там мост, Шурик, слышишь, он в болото кинул.

Кряхтя и обчищая жилетку обеими ладонями, поднялся Анцыферов. Молча ушел в дом и вернулся оттуда через три минуты совсем веселый.

— Теперь в стратосферу полечу, — сказал он, — где моя сивка-бурка вещая каурка? Так куда ж бомбы падали, молодые люди?

— А в болото, — охотно откликнулся Бориска, — или в озеро. Вот мы завтра с Блохиным пойдем глушеную рыбу искать. Пойдем, Блохин?

— В болоте рыбы не бывает, — солидно ответил Блохин, — а даром время терять я не намерен, тем более что по плану я завтра должен клеить гербарий.

— Но воронки-то нужно осмотреть? — спросил Бориска.

Анцыферов сказал, что полезет к ребятам на крышу.

— Ну его, знаете ли, — добавил он, — не могу вот этак гнить. Там оно как-то повиднее, что к чему.

— Крышу мне продавишь, — сказал Ладынин, — ходи полегче. Время военное, где мне новую ваять?

Точно огромная кошка, старик Анцыферов взобрался по стремянке наверх, смешно мяукнул и спросил у ребят, берут ли они его в компанию.

Опять загрохотали зенитки. Отец с сыном вернулись в столовую.

— Хороший мужик Анцыферов, — сказал отец, — подходящий мужичок. Много мы с ним попили, почудили много. Чего копаешься?

Александр достал из чемодана небольшой пакетик, аккуратно крепкими пальцами развязал шкертик, неторопливо его смотал и развернул хрустящую бумагу. У старика округлились глаза. Александр улыбался своей прекрасной, широкой и доброй — ладынинской — улыбкой; улыбался он вообще редко, но уж так, что против его улыбки устоять не мог никто.

— Чего такое? — с радостным детским любопытством, перевешивая грузное тело через стол, спросил старик. — Чего это, Сашка?

Александр вынул портсигар, сунул в рот последнюю папиросу, закурил. Он все еще молчал, наслаждаясь радостью отца, блеском его глаз, тем, как старик протянул

к игрушке руку и отдернулся, испугавшись — вдруг не ему.

— Чего молчишь, законопатило тебя, что ли? — закричал оп. — Кому вещь принес, откуда взял, слышь, Сашка?! Ну чего смеешься-то, наказание мое!

— Подарок тебе, — сказал Александр, — лежал в госпитале и построил.

— Раненый?

Александр молчал. Это было ясно само собой — зачем же лежать в госпитале здоровому человеку. Он всегда молчал в тех случаях, когда можно было не отвечать.

— Смотри, пожалуйста, — говорил старик, радостно и даже восторженно вертя в пальцах модель поморского корабля, искусно и необыкновенно точно вырезанную руками сына. — Ну скажи, пожалуйста, и откуда что берется в парне! Ведь точно, все точно. Это шестнадцатый век, правильно? В семнадцатом киль на английский манер начали строить, а это именно шестнадцатый. Лыкошпите они назывались по той причине, что лыком их спшивали. Молодец, право, молодец. Где ж ты лыка-то достал, чтобы пошить, ведь у вас там никакого лыка и в помине нет. Лапоть, что ли, разодрал старый?

Александр кивнул головой.

— Дед помер, — вздохнул отец, — дед бы оценил, дед это рукоделие так любил, так понимал, не то, что мы, гужееды. Дед нашу старину поморскую вот как уважал...

Он все еще держал в руках ладью, и было видно, сколько радости она ему доставляет.

Потом поставил ее посреди стола и поглядел на сына, кусая седой ус.

— Военный моряк, — сказал он неожиданно, — форменный военный моряк. — Засмеялся и сказал: — От кормщика Алексашки Ладынина — гвардейский военный командир. Триста лет назад кормщик Алексашка шестнадцать рыбаков-поморов от верной смерти спас, и с того дня неустанно народ его помнит и память его чтит, а чтобы до военного доверия — только нынче выпало. А? Что ж, и настоящий корабль у тебя? С пушками?

Александр смущенно улыбался. Отец, вдруг сделавшись серьезным, осмотрел его с ног до головы: парадную тужурку, подкрахмаленный воротничок, погоны с чер-

ными просветами, ордена, гвардейский знак, золотые паруканые нашивки. Потом суровым голосом позвал:

— Поди сюда, военный моряк.

Александр обошел стол, от неожиданного волнения едва не свалил плетенку с нарезанным хлебом и молча встал перед отцом, глядя ему в глаза твердым и чистым молодым взглядом. Отец поднялся, и ладонь его крепко стиснула руку сына возле плеча, там, где под плотным сукном тужурки перекачивались упругие мускулы. Несколько секунд он молчал, взглядываясь пристально и жестко, и рука его все сильнее и сильнее сдавливала руку Александра. Потом внезапно он спросил:

— Почему не лег, когда бомбы летели?

— А ты почему не лег? — спросил сын.

Отец коротко усмехнулся.

— Целесообразности не вижу в вашем поведении, — сказал старик, — ни на грош не вижу. Или погоны мешают ложиться?

— А тебе что мешает?

Старик опять усмехнулся.

— Помор шапку никогда ни перед кем не ломал, — сказал он жестко, — даже перед морем — и то не кланялся. Так меня дед учил, так я тебя учил, так ты своих сынов учить будешь. Что ж, перед морем не кланялся, а перед вонючим вражиной поклонюсь? Давеча мне на пароход семьдесят штук высыпали — ничего, отбилсь. А тут ложиться стану? Пойдем поглядим!

Вновь они вышли во двор. Звезды спокойно мерцали в далеком черном небе. На крыше о чем-то спорили Бориска с Блохиным, и в спор мальчишек настойчиво и не очень уверенно вмешивался капитан Анцыферов.

— Что, нет отбоя? — спросил отец.

— Одного сбили, — ответил Бориска, — только вы ушли, а его и сбили. Эх, и красиво было!

Через несколько минут пришла новая волна самолетов. Зенитки стали бить сначала далеко, потом ближе, потом над рекой, потом у лесных складов. И внезапно в сухие, шелкающие звуки выстрелов вошел новый звук — подвывали моторы.

— Идут! — крикнул сверху Бориска. — Эй, вы там, поберегитесь!

В этом «вы там» было что-то пренебрежительное и вместе с тем очень смелое, мальчишеское, задорное.

Александру стало смешно, а отец толкнул его в бок локтем — ему было приятно, что младший ничего не боится.

— Каков? — спросил он.

— Нам не страшен серый волк, — неверным голосом сказал на крыше Анцыферов, — плевал я на них на всех. Самолеты приближались.

— Они всё по мосту бьют, — сказал отец, — и потому у нас райончик такой шумный. А мост им никак не дается.

Он положил руку на плечо сына, и Александру стало приятно этого отцовского жеста. Когда-то давно, когда капитан брал сына в первые разы в море и мальчик беспокойно оглядывался, стоя возле отца на ходовом мостике, заливаемом пещной и холодной волной, отец так же, будто невзначай, клал свою твердую, сильную, бесшумную руку, и сразу становилось спокойнее и увереннее.

— Помнишь «Осетра»? — спросил старик.

— Помню.

— А знаешь, что мы тогда вместе с тобой едва не накрылись?

Александр повернулся к отцу, чтобы спросить, как же это случилось, и в эту секунду услышал звук пикирующего самолета. Рука отца неподвижно лежала на его плече. Лицо было слегка поднято к звездному небу — спокойное, твердое, холодное лицо морехода.

Бомбы с воем ринулись на землю, одна за другой, четыре питуки. Александр не без внутренней усмешки собрал силы для того, чтобы не дрогнуть под рукой отца. Это было глупо, он знал. Но отец с детства внушал ему глупости такого типа. И не раз в море он вспоминал эту странную отцовскую науку с чувством благодарности к отцу...

Они разорвались за соседним амбаром, так по крайней мере показалось Александру. Чудовищный, скрежещающий грохот, орапжевое пламя, камень, доски, чей-то длинный, захлебывающийся визг — все смешалось. Наступила удивительная тишина, и тьма сомкнулась такая, что Александр не увидел даже отцовского лица.

И тем страннее было ему услышать пронзительный Борискин голос с крыши:

— Мы живы, а вы как?

2. ВАРЯ

Он встретил ее посреди улицы, по которой текла черная от сажи вода, меж каких-то брезентовых шлангов, в летящих по предутреннему ветру хлопьях копоти, в треске пожарища, в уханье, столах, грохоте съедаемых пламенем бревен, досок, среди пожарных автомашин и пожарников в медных касках, среди измученных милиционеров, среди врачей, санитаров, саперов, которые работали вместе с пожарниками среди домашнего скарба — расколотых комодов и шкафов, выброшенных со второго этажа на мостовую, среди швейных машин и узлов, среди плачущих детей и женщин с потерянными глазами, среди стариков, которые слабо охали, глядя на ревущее пламя, среди старух с трясущимися головами, среди криков, плача, свистков, автомобильных гудков, сипения шлангов, треска пожара. Она стояла тут, тихая, бледная, в странно белом платье, сложив руки на груди и глядя светлыми глазами северянки в золотисто-белое тление огромных углей, оставшихся от сгоревшего дома.

— Варя! — позвал он ее, не очень уверенный, что это она и есть.

Голова ее с короткими косичками, заплетенными, наверное, на ночь, повернулась к нему, и он увидел ее лицо таким, каким оно представлялось ему все эти годы, — доверчивое, с веснушками у вздернутого носа, с чуть припухшими губами, с ямочками на щеках.

Она глядела на него, не узнавая или не понимая, что ему нужно.

«Может быть, это не Варя?» — подумал Ладынин.

Но нет, это была она, конечно же она; она и раньше, еще в детстве, держала так руки, сложив на груди, и раньше умела смотреть так, когда задумывалась, будто не узнавая, и раньше выражение особой радостной доверчивости вспыхивало в ее милых, светло-голубых глазах.

— Варя, — сказал он дрогнувшим голосом. — Варя, это я, Саша Ладынин.

Она чуть откинула голову и вся точно осветилась изнутри, губы ее дрогнули, одну руку она протянула к Ладынину, к его плечу, будто собираясь обнять, но тотчас же отдернула назад и взяла его тонкими пальцами за рукав кителя, приглядываясь к нему с радостным, счастливым изумлением.

— Как я тебя искала, — глядя ему в глаза, негромко сказала она, — как я тебя искала, Саша!

Сердце его забилося от ожидания счастья, он весь вытянулся перед ней, замер, затих, но она ничего больше не сказала, только покачивала головой с торчащими косичками, — она все еще не верила. Тогда он взял ее за руку и сказал, улыбаясь, не в силах скрыть того, что было у него на душе:

— Пойдем отсюда.

— Куда? — спросила она. — Я же погорела. У меня ничего нет. Вот такая.

— Какая? — глухо спросил он.

Голая, — сказала она. — Немец зажигалки швырнул, и мы погорели. Я спала, устала очень, ничего не слышала и пожара не слышала. Саша! — вдруг воскликнула она, холодными слабыми пальцами сжимая его руку. — Саша, Саша, неужели это ты?

— Точно, — ответил он, — точно, я!

Пожарные поволокли шланг мимо них, и мокрая кишка ударила Варю по ногам. Она пошатнулась, и Ладынин подхватил ее, чтобы она не упала, подхватил и поставил, точно она была совсем маленькой и легкой. Она и в самом деле такой и была сейчас для него.

— Пойдем же! — сказал он. — Тут все равно делать нечего. Пойдем.

Он взял ее под руку и повел от пламени пожарища в чернеющую улицу. Чем дальше они шли, тем гуще и темнее делалась ночь и тем ближе становилась Ладынину Варя. Они вышли на пабережную. Тут, под тонкими, смутно белесющими березами, у воды, в которой мелькали какие-то далекие розовые отсветы, он остановился и спросил:

— Ну?

Несколько секунд она молчала, потом всхлипнула и закрыла лицо руками.

— Вот и зря! — сказал он, испытывая счастье, что будет ее сейчас утешать, что они вдвоем, что сбылся давний, мучительный сон.

Она все плакала.

Ладынин отнял ее ладони от лица, но ничего не увидел, кроме смутно белеющего лба да спутанных светлых волос. Она плакала с открытым лицом, совсем близко от

него, и он не знал, что надо ей сказать, как утешить, какие найти слова.

Подвывая клаксоном, проехала машина санитарного транспорта, осветила на мгновение синим лучом Варины глаза, косичку, руку, и вновь стало темно, как в могиле...

— О чем ты плачешь? — спросил он.

— Не знаю, — сказала она дрожащим голосом, — наверное, обо всем.

— Не плачь. Не надо плакать. Все будет хорошо.

Одной рукой он взял ее за локоть, а другой стал гладить по волосам, по жестким косичкам, по мокрым от слез щекам. Тогда внезапно она вырвалась от него, решив, что он, наверное, ничего не знает.

— Ты думаешь... — спросила она, — ты, может быть, думаешь...

— Ничего я не думаю, — спокойно и твердо ответил он, — я все хорошо знаю. Отлично знаю.

Он чувствовал, что она смотрит на него с испугом. Но в голосе ее звучала надежда, когда она спросила:

— Все-таки? Что же?

— Все! — с ласковой, но непоколебимой твердостью ответил он. — Все... Пойдем!

Она повиновалась ему покорно, с радостью, ей было приятно слушаться его, слишком долго она была одна. А у него за эти годы сделались такие твердые, сильные руки, так спокоен стал его взор.

— Где ты был это время? — спросила она,

— Везде.

— И на суше тоже?

— Тоже.

Так, то молча, то разговаривая, дошли они до пылающей поленницы — сюда попала зажигалка, и теперь дрова догорали без всякой помехи на пустыре у воды. Багровое зарево осветило Ладынина, и Варя внезапно оставилась.

— Я на тебя посмотрю, — сказала она, — я даже на тебя не посмотрела. Что это за ленточка на пиджаке?

— Это не пиджак, а китель, — сказал он резко, — мы не носим пиджаки, у нас кителя. А ленточка — гвардейская...

На мгновение ему представилось то ненавистное длинное, суховатое лицо с трубкой в зубах, и тот — в полес-

ку — пиджак, и галстук, повязанный с особой небрежностью, непонятной ему.

— Значит, ты гвардеец?

— Значит! — сказал он.

— А ордена за что тебе дали? — спросила она.

— За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, — сказал он, — вот за что.

— А это, на рукаве? — спросила Варя. — Вот эти нашивочки, что они значат?

— Они значат, что я был ранен, — сказал Ладынин. — Пойдем. Холодно.

— Но куда же мы пойдем! — воскликнула Варя. — Нам же некуда идти. Разве ты не понимаешь?

Вновь он взял ее под руку и почти молча довел до дома отца. У калитки они остановились на мгновение.

— Твой отец меня несправит, — сказала Варя, — не пустит меня даже войти к вам. Ты же знаешь, какой у него характер.

Александр не ответил. Еще раз с нежностью и любовью он посмотрел на белокурую голову с косичками, на милый лоб, на покатые худенькие плечи. И открыл громко заскрипевшую калитку. Варя не двигалась.

— Иди же! — сказал он.

Она оглянулась на него и покорно пошла.

Отец сидел в своем кресле и пил чай из огромной низкой чашки. Это был крепкий, совершенно черный чай. Варя успела увидеть все, пока он на нее смотрел, сначала удивленно, потом с добродушным презрением слона, взирающего на жука.

— Здравствуйте, капитан! — сказала она тихо и робко, но в то же время с некоторым вызовом. В этом робком и гордом вызове был весь ее характер — женственная, покорная, даже как будто тихая, но с гордым, независимым сердцем...

— Здравствуй, Варвара, — сказал старик.

Поднялся, протянул ей руку и, пряча усмешку в усах, вдруг заговорил о том, как на пожарище поймал вора. А рассказывая, сделал так, что Варя, помимо своей воли, оказалась сидящей в кресле, перед ней вкусно дымилась чашка горячего чая, стоял хлеб, заливное, нарезанный пирог, сахар. Дело было, конечно, не в том, как старик поймал вора на пожарище, и не в том, как вор тащил краденую шубу, и не в том, с какой именно

стороны и каким путем старик дал вору плюху, а дело было в удивительной сердечной деликатности отца, в том, как избавил он всех от трудного, быть может даже мучительного, первого разговора с объяснениями, вопросами, с неизбежными недоговоренностями и неловкостями. А когда Варя уже пила чай, он сказал:

— Что больно легко оделась? Ночи пошли холодные, осень...

— Она погорела, — ответил за Варю Александр, — вот и выскочила так.

— Тогда голосить надо, — сказал старик, — погорелец — он всегда голосит. — Подумал и спросил: — Где же жить будет?

— У нас, — опять ответил Александр.

Снизу вверх, но не без удивления, взглянул на этот раз старик на сына.

— У нас?

— У нас, — повторил Александр со спокойной уверенностью в голосе.

— Погоди, Саша, — заливаясь мучительным румянцем, вмешалась Варя, — погоди на минуточку, ты ведь даже не знаешь, у меня есть где жить, у меня подруга есть, Зойка Тарасова, я у нее поселюсь, мне ведь совсем даже просто устроиться...

Она никак не могла остановиться, гордость и стыд мучили ее, надо было говорить и даже посмеиваться, потому что иначе старик мог сказать, что ей тут жить негде, или что он не может ее устроить с пропиской, или еще что-нибудь такое в этом роде — холодное и казенное, но совершенно справедливое: на что могла претендовать она, какие у нее могли быть обиды при ее неизмеримой вине перед этой семьей?

Но старик перебил ее. У него была манера говорить еще более властно, чем у сына. Пока она болтала, он не слушал, он что-то обдумывал, упрямо и сердито морща лоб, а теперь вдруг залпом допил холодный чай и сказал, что, поскольку Александр нынче воюет и дома не живет, комната его совершенно свободна и, разумеется, очень будет неплохо, если Варвара тут поселится. Да и повеселее станет.

Варя потупилась. Александр свертывал папироску крепкими пальцами.

— Подходит? — спросил отец. — Дорого за комнату

не возьмем, по государственной цене, рублей, допустим, сорок пять — пятьдесят от силы... — В глазах у него прыгали веселые огоньки. — Винца хочешь с устатку?

— Не знаю, — тихо сказала она, и голос ее дрогнул, она могла расплакаться в эти секунды. — Я не очень устала...

— Не знаю... не очень, — передразнил отец, — то-то папаша все норовил в море не ходить, дома спал да книжки читал. Не знаю!

Он налил ей и сделал вид, что не видит, как выкатилась слеза из ее глаза и капнула на блюдечко, а потом пошарил по карманам и вышел, будто отыскивать что-то.

Дрожащими пальцами Варя взяла бокал и отпила немного, а потом посмотрела в глаза Александру и вдруг сразу выпила все, засмеялась, точно не замечая своих слез, встала и пошла по комнате, держась пальцами за виски и приговаривая:

— Опять я тут. Опять тут. Опять! Боже мой, опять я тут. Точно в детстве. Точно в школе. Точно не было ничего этого... — Испуганно посмотрела на Александра и спросила: — Ты смеешься надо мной?

— Нет, — ответил он, — ты не смешная.

— Ты правду говоришь?

— Правду.

Она подошла к нему близко, почти вплотную, и рука ее так же дрогнула, как давеча на пожарище, когда ему почудилось, что она хочет обнять его. Но вновь Варя взяла его за сукно тужурки и спросила:

— Вы оба хотите поразить меня своим великодушием? Убить?

— Как? — не понял он, и Варя почувствовала, что этого не стоило говорить, такие вещи всегда были ему чужды, он не понимал их.

Ей было холодно, она дрожала, стоя перед ним в своем белом платье, и все смотрела ему в глаза, стараясь что-то отгадать, прочесть, выяснить. Но он смотрел на нее чистым и добрым взглядом, и она опять не поняла, что он весь тут, в этом прямом взгляде, в этой твердой преданности, в этой простоте. Не поняла, но вспомнила, как его дразнили в школе, вспомнила не само слово, а что-то связанное с его прямоотой, простотой, с тем чистым и ясным, что всегда возникало в его присутствии. И вновь ей захотелось его поддержки, захотелось, что-

бы он погладил ее по голове, как тогда в школе, когда она провалилась по алгебре, а он — старшеклассник — жалел ее и говорил ей басом: «Да это мы запросто нагоним. Тут и делов — одни пустяки. Ты сама сообрази, голова садовая, сама подумай». А она ревела все больше и больше, хлюпала носом, сморкалась и причитала, что все кончено, что ее не надо утешать, что она сама все понимает...

— Холодно, — сказала она, — очень холодно. Какая ночь ужасная.

— Да, ночка! — ответил он. — Что ж, ежели устала, пойдем, я тебя устрою...

С бьющимся сердцем она пошла в мезонин, в ту комнату, в которой была три года назад. О, как прекрасно, как великолепно было тогда у нее на сердце и как она сама все это испортила, смяла, исковеркала...

И лестница. Она так же скрипит и такие же странные у нее ступеньки, обитые медью, как на пароходе. И поворот на шестой ступеньке. И дверь так же светится там наверху.

Варя дрожала все сильнее, все труднее было ей подниматься. Еще не войдя, она уже видела комнату, которую построил отец Ладынина для своего первенца, чтобы был моряком, чтобы с детства привыкал к тому, что у них называется каютой, жизнью, домом и что для женщин связано со страхом за мужа, отца, брата — со свирепым, суровым, беспощадным морем...

Тут на лестнице она разом представила себе все: окна — странные и круглые, которые называются иллюминаторами, кровать с выдвижными деревянными ящиками, стол, книги, карты, линейки, какие-то приборы, названий которых она так и не могла запомнить, но которые стоят перед ее глазами, а на столе в желтенькой светлой рамке — она сама, ее фотография того времени. Конечно, теперь нет этой фотографии, конечно, теперь не может ее быть, и, конечно, все изменилось...

Она отворила дверь.

Комната была такая же, и первое, что она увидела войдя, — это желтенькая рамка, которая стояла слева, но кто, кто в этой рамке?

Очень быстро, немного слишком быстро, так, что он, наверное, это заметил, она пошла к столу и взяла в руки рамку — это был портрет, тот самый, и только в углу

внизу была еще маленькая прошлогодняя карточка для удостоверения, которую болван-фотограф выставил в уличной витрине.

— Откуда у тебя это, Саша? — спросила она.

— Я купил это у фотографа, — ответил он. — Четыре штуки купил, больше у него не было.

Варя обернулась, все еще держа фотографию в руке. Ладынин стелил на свою высокую кровать свежие простыни, серебристо-белые, хрустящие, добротные, как все в этом доме.

— Тут будет тебе полотенце, — говорил он, — и вообще запомни, где у меня что. Белье постельное вот тут, а тут у меня есть отрез на штатский костюм, так себе матерьяльчик, но, поскольку ты теперь погорелец — пригодится, построишь себе пальто или чего там нужно. Вот! Ну, вода в кувшине. Мыло, зубной порошок — вот, гляди, я тебе отсыпаю. Свет здесь тушится, вот выключатель...

Она молча следила за его движениями, смотрела, как он двигается, с какой свободой, умением и сноровкой перекладывает вещи, белье, мелочи.

Потом, собрав себе сверток, он сказал: «Что ж, валий, спи», — и улыбнулся дсброй, школьной своей улыбкой.

Но вдруг ей стала невыносимой мысль, что он уходит, и она сказала ему, что еще рано, что она не хочет спать, пусть он посидит немного.

— Куда там рано, — сказал он, — утро на дворе...

И открыл окно.

Там действительно было утро — свежее, туманное.

— Ложись, нечего, — сказал он голосом отца, — укройся да спи! — И пошел к двери. Но Варя опять окликнула его. И вновь он обернулся к ней.

— Саша, — спросила она, — скажи правду, кто мне деньги посылал?

Он перестал улыбаться. Краска выступила у него на висках.

— Зачем?

Ладынин молчал.

— Ты знал, как я живу?

Он опустил голову. И тихо сказал:

— Я знал, что твой брат погиб. Я знал, что... я знал, что ты одна. Я думал...

Варя вся дрожала. Белый туман вливался в окно.

— Зачем же ты это делал? — со слезами в голосе спросила она. — Зачем? Зачем ты был со мной таким, когда я, я... Нет, зачем тебе было нужно это делать?

Он смотрел на нее, недоумевая. Он опять не понимал, о чем она говорит, как никогда не понимал таких вещей. И почти сердито он спросил ее:

— Но разве я не сказал, что всегда буду помнить о тебе? И какое мне было дело, что ты... — он пропустил слово, — это было не мое дело. Вот и все. Спи!

Ушел и закрыл за собой дверь.

Варя еще постояла на месте, точно провожая его шаги по лестнице. Потом сбросила стоптанные туфли с узких маленьких ног, дрожа, укрылась с головой одеялом и замерла, точно неживая.

3. УТРЕННИЙ РАЗГОВОР

Окна в столовой были открыты настежь — за окнами сплошной стеной стлался белый, ватный туман. На столе заунывно пел самовар, из-под конфорки торчали углы газетной бумаги. Отец по-прежнему сидел на своем месте — перед чашкой с черным чаем. Сплетя кисти рук на животе, навалившись боком на подлокотник кресла, сощурился умные, дальнзоркие глаза, смотрел прямо перед собой на старинную гравюру, купленную прадедом в Голландии, и посмеивался в усы...

— Вот, — сказал он, увидев сына, — вот сижу и думаю: под картинкой подписано: «Первые навигаторы, вежливо беседуя, берут высоты светила инструментом, грандшток называемым, и астрономию изучают». Хороши первые! Наши-то в то время куда только ни хаживали, вот на таких-то ладьшках...

Он показал пальцами на модель, вырезанную Александром, и вновь залюбовался ею. Повертел в руке, поставил и налил сыну чаю. Потом спросил:

— Тоже полуночничать любишь? Пей вот, на заре хорошо почайпить.

Александр сел и подумал, что столовая в отцовском доме всегда чем-то напоминает кают-компанию на корабле в далеком походе. Так же порою заходят командиры после вахты выпить чаю, согреться, перекинуться

парю слов и так же засиживаются за большим уютным столом, как засиживаются у отца его друзья по далеким плаваниям. Может быть, отец потому и любил эти ночные разговоры за столом, когда бывал на берегу, что ему тоже они напоминали пароход, дальний рейс, уже убраный стол с одинокими стаканами чаю, поскрипывание переборки, плеск воды за отдраенными иллюминаторами.

Посапывая носом, старик неожиданно предложил:

— Ну что ж... Посидим, помолчим! Бывали у нас в роду молчальники, но таких, как ты... — Он покрутил головой. — Ведь сколько мы с тобой не виделись, а? И что ты мне рассказал? Как тебя на корабле такого терпят?

— Тяжело терпят, — улыбаясь, сказал Александр.

— И тоже молчишь?

— Молчу! — с виноватой улыбкой сказал он. — Когда спросят — отвечаю, а так — больше молчу.

— Что ж они про тебя думают?

— Сухарь, наверное, думают.

— Да ты на сухаря-то не похож. И корабль у тебя гвардейский. Врешь ты все. Там небось вон как разговариваешь, с отцом только говорить не о чем.

Яркими своими глазами Александр посмотрел на отца. Подумал и сказал:

— Разговорами корабль гвардейским не сделаешь. Есть у меня один знакомый. Корнев некто. Вот тот действительно разговаривает.

Александр усмехнулся, и отец вдруг увидел, какая у него взрослая, совсем не веселая усмешка.

— Изменился ты, — сказал старик.

Сын большими глотками жадно пил чай. В левой руке дымилась у него папираса, тоже ладынинская привычка, отметил про себя старик, — обязательно чай пить с папирсой и вот так ее держать. Да и все ладынинское — и плечи, и глаза, и руки, и яркие зрачки, и вот эта новая усмешка. Только вот не женится, никак не женится. И неожиданно для себя старик спросил:

— Что ж с Варварой? Договорились?

— Нет, — сказал Александр. — Что ж сейчас? Успеем.

Мелкие капли пота выступили у него на висках. Было видно, что ему трудно говорить о Варваре. Но он пересилил себя и, глядя прямо в глаза отцу (у него бы-

ла такая манера: чем труднее для него разговор, тем прямее и тверже глядел он в глаза собеседнику), заговорил:

— Кстати, я тебя хотел просить. Попрошу, — он не умел произносить слово «прошу», и оно звучало у него больше приказанием, чем просьбой, — попрошу тебя лично, отец, как раз по поводу Варвары. Одной женщине тяжело жить. Пусть она тут живет...

Ему было так трудно говорить, что отец даже пошевелился в кресле — оно все затрещало.

— Так вот, — сказал Александр. — Вот, собственно, и все.

— Ясно! — ответил старик.

Александр вытер потное лицо платком. Ему казалось, что весь сегодняшний вечер, всю ночь и все утро он только делает, что говорит, да еще на такие темы!

— Ясно! — веселым голосом, для того чтобы сыну стало легче, повторил отец. И перевел разговор на другую тему. — Это хорошо, — сказал он, — очень хорошо, что тебе нравится морская служба. Ты свою мамашу не помнишь, но я тебе должен сообщить, что женщина она была хоть и домовитая, и добрая, и красивая, но... сырая. И моря боялась, а потому была для нашего рода как-то посторонней. Понял? Врасти не могла в семейство наше, а поскольку в семействе нашем не могло обходиться без покойников — то одного море возьмет, то другого, — она, мамаша, вовсе море возненавидела и положила себе добиться того, чтобы я море бросил и перешел в морские чиновники — в пароходство старшим инспектором. Говорил я тебе об этом?

— Нет, — сказал Александр.

— То-то, что не говорил. Старшим инспектором, видишь ты, комнатным моряком. Ну что ж! А надо тебе сказать, что я с детских лет своих все мечтал в орлы вырасти, лихость в себе растил и думал, что люди должны на лихость мою смотреть почти что с восторгом. А тут вышло, что ей, мамаше, никакого восторга нет, а только одно беспокойство и порча нервов. Все она надо мной кудахтала и всяко меня корила, что я о ней не думаю, о детях не думаю, о семье не беспокоюсь, а ради своего тщеславия колоброджу. И вот, Саша, однажды, покричав так, дала она себе зарок, что никто из ее детей в моряки не выйдет и ни в какие моря ходить не будет, а будут, дескать, дети ее при ней, на берегу, в чинов-

никах, по воскресеньям на бульваре гулять и разное такое прочее. Что же касается до тебя, то мамаша решила твердо отдать тебя, когда вырастешь, в аптекарские ученики, с тем чтобы открыл ты в будущем собственную аптеку и с вывеской, золотом по черному пущенной: «А. Ф. Ладынин».

Старик сердито усмехнулся и белыми, крепкими зубами закусил седой ус.

— А. Ф. Ладынин, — повторил он. — Ты мал еще, не понимаешь, как меня тогда этошибануло. Чтобы мой сын, старший в семье моей, да чтобы он среди порошков жизнь свою провел!.. Совсем я тогда голову потерял от злости и тоже поднял крик. Ну, она молчит. Была у нее такая манера — помалкивать, когда я кричу, за голову ладошкой держаться, и все это с кроткой улыбкой. Чтобы я осознал, какой я хам и грубиян. И я действительно всегда робел до этого случая, а тут остервенел, и робость мою как рукой сняло. Подошел вот к этому самому буфету, налил себе стакан рому, хлопнул — э, думаю, что в самом деле, еще подошел, еще налил, еще хлопнул и сказал: «Извините, — говорю, — Клавдия Никаноровна. Извините. Но Ладынины на берегу не живут. И будет у меня по-моему, а не по-вашему. А для того чтобы без крику нам обойтись и нашу так называемую семейную жизнь закончить прилично, в рамках, решаю так: кем Александр надумает, тем и будет».

Старик вычистил трубку над пепельницей, вновь набил ее и сказал:

— Не дождалась Клавдия Никаноровна твоего решения. Померла. Что ж, может, теперь бы и одобрила. Но вряд ли. Серьезного характера была женщина.

Он все еще вспоминал прошлое и не заметил, как Александр вышел.

Варя спала, завернувшись в одеяло. Дыхания ее почти не было слышно. Туман рассеялся, лучи утреннего солнца били в комнату в раскрытое окно, играли на зеркале умывальника, на чернильном приборе, на стеклах фотографий.

Присев на корточки, Александр близко заглянул в спящие, закрытые глаза и вдруг заметил, что подушка у глаз мокрая от слез. Конечно, Варя плакала, так в слезах и заснула, как засыпают обиженные дети. А он, уходя давеча отсюда, видел, что ей тяжело и трудно,

и не мог найти ни одного человеческого слова — ушел сухарь сухарем...

Еще несколько секунд он смотрел на нее, потом поднялся и, стоя возле стола, написал ей короткую записочку. Еще оглядел свою комнату, но не для того, чтобы «попрощаться взглядом», как делают штатские люди, уходя воевать, а посмотрел просто для порядка — все ли убрано, все ли на месте, не позабыл ли чего.

Нет, все было на месте, ничего не позабыл.

Варя тихо вздохнула во сне. Он посмотрел на нее, потом взгляд его упал на стоптанные, в дырках, ее туфли. Он присел к столу и дописал на своей записке:

«В шкафу, в левом ящике, лежит пара подметок. Подм. хорошие, спиртовые. Отдай починить туфли. А.» И вышел.

В столовой надел плащ, молча, за руку, попрощался с отцом.

Отец ждал его тут покуривая, и сыну было приятно, что старик провожает его.

Они не поцеловались, и ни отец, ни сын не сказали ни единого слова, и в том, как они пожали друг другу руки, тоже не было ничего значительного, ничего трогательного, ничего такого, отчего может прошибить слеза.

Потом старик проводил сына до двери столовой и вернулся, а Александр один вышел на крыльцо родного дома, вдохнул полной грудью свежий утренний воздух и пошел к калитке. Отворил и улыбнулся: тут, на улице, возле дома, стояли на утреннем солнышке Бориска и Блохин. У Бориски в руке было ведро, а у Блохина палка с приделанной к ней сеткой.

Оба мальчика были какие-то не очень выспавшиеся. У Блохина глаза не совсем открывались, и он был сердитый, а Бориска, розовый, со следами подушки на лице, за что-то его ругал.

— О! — сказал он, увидев Александра, — Куда это ты? На корабль?

— На корабль, — сказал Ладынин.

Бориска с молчаливым восхищением и с завистью смотрел на брата.

— Что ж ты в плаще, — сказал он, — Орден не видно. И гвардейского знака не видно.

— Ничего не поделаешь, — ответил Александр.

— Так ведь не холодно, — с досадой в голосе сказал Бориска, — и дождя нет никакого. Взял бы плащ на руку, а?

Ладынин молча улыбался. Бориска был смешон в кепке с пуговицей, в перелицованном пиджаке с заплатой на локте, очень розовый. Одно ухо у него подогнулось под кепкой, и он не замечал этого. Блохин смотрел на Александра одним глазом, другой у него как будто еще спал.

Бориска сильно дернул носом и сказал, что они идут на речку посмотреть, нет ли глушеной рыбы. Ночью в речку упало несколько фугасных бомб, и рыба, наверное, найдется.

— Да вот Блохин никак проснуться не может, — сердито добавил Бориска. — Вот опять спит. Эй, Блохин! Спишь!

— Не сплю, — сухо и веско сказал Блохин. — Странно даже.

Не без труда он оторвался от забора, возле которого стоял, и тотчас же выронил свою палку с сеткой. Поднял палку и вздохнул.

Пошли все втроем. Бориска норовил шагать по тротуару рядом с братом, а Блохин шел сзади, шатался как пьяный и два раза подряд наступил Бориске на пятку. Тротуар был дощатый, узкий, идти рядом было трудно. Бориска часто оступался, а порою шел возле тротуара, но не отставал ни на шаг. Когда вышли к собору, Александр сказал, что дальше им совсем не по пути, но Бориска ответил, что они, пожалуй, проводят его, если он не возражает.

— Проводим, Блохин?

— Прекрасно, — вяло сказал Блохин. — Чудесно.

Бориска начал рассказывать что-то длинное и, по-видимому, смешное, потому что он сам часто и весело смеялся, но Александр почти не слушал его, думал о своем, о городе, по которому они сейчас шли, вспоминал свою юность, школьные годы, школу. Вот она сейчас будет за углом — старое кирпичное здание с двумя корявыми березами у парадного, с каменными тумбами возле панели, с высокими узкими окнами. Тут учился он, и тут теперь учится Бориска и, быть может, сидит на той самой парте, на которой когда-то сидел его старший брат. И тут возле школы, на выпускном вечере, они разгова-

ривали с одним человеком, которого уже нет в живых, клялись, что будут вечно дружны, что никогда не поссорятся, что всегда будут писать друг другу и, если будет возможно, постараются попасть на один корабль, чтобы плавать вместе.

С волнением, так не свойственным его спокойной натуре, Ладынин подходил к старому дому с мезонином, за которым был поворот и школа. Но что-то бессознательно удивило его — он не понял даже, что именно, когда Бориска закричал и, показывая наверх рукой, побежал вперед и скрылся за углом. Александр поднял голову и увидел, что провода возле тротуара оборваны и висят, а на углу столб повален, в доме же с мезонином нет ни одного стекла, и, кроме того, дом весь перекошился, выгнулся и крыша на нем съехала набок...

Александр ускорил шаг и через несколько минут очутился перед тем, что было когда-то его школой. Тут уже стояло много мальчиков и девочек, девушек и юношей, и у всех у них были испуганные глаза, а многие были бледны, и один бледный черноволосый парень в сатиновой рубашке громко говорил:

— Я видел, как он сюда пикировал. И Вениаминов тоже видел. Помнишь, Вениаминов? Мы из слухового окна смотрели...

Маленький мальчик в фуражке военного образца, из-под которой виднелся только рот, измазанный черникой, громко и тонко сказал:

— Я сам лично видел. Он четыре штуки сюда положил. Ка-ак даст!

И руками он показал это «даст».

Какая-то длинноногая девочка плакала, вытирая слезы пальцем, и говорила, всхлипывая:

— А я учебники забыла. Зоология чужая, мне Лилька задаст.

— Накрылась твоя зоология, — сказал мальчишка в военной фуражке. — Зоология что? А вот у Фурмана два живых воробья накрылись, он их для кабинета принес и в клетке оставил. Еще не знает.

Развалины школы густо дымили черным тяжелым дымом. Пахло гарью, и все вокруг теперь странно и страшно изменилось по сравнению с тем временем, когда Александр учился. Точно голая, вылезла откуда-то глухая закопченная стена. Разодранная береза повисла на

проводах с другой стороны улицы. Вывороченные радиаторы, трубы, металлические балки — все это дико перемешалось, перепуталось, исказилось. Черный дым полз над развалинами...

Позеленевший Бориска вдруг подошел к Александру и спросил у него удивленно и злобно:

— Это что же, а? Это что, Саша?

Александр не ответил. Бориска стоял перед ним, широко расставив ноги.

— Которые ребята зажигалки со школы сбрасывали, все погибли, — сказал он. — Из девятого «а» Корелин Вова и Сережа Ивашкин. Вот Ивашкина Ольга Андреевна ходит, видишь?

Александр посмотрел туда, куда показывал Бориска. Там, в дыму, ходила женщина, полуодетая, со странной улыбкой на дрожащих губах, с нетвердыми жестами, прихрамывающая. Она что-то говорила, и всем, кто тут стоял, было страшно на нее смотреть, и, когда она подошла ближе, дети отбежали от нее, пятясь, тараща глаза.

— Сумасшедшая, — шепотом сказал Бориска и отступил за брата, — совсем сумасшедшая!

Ольга Андреевна со своей дрожащей, виноватой улыбкой шла к Александру. Глаза у нее были ясные, и он, знающий, что такое война, и навидавшийся на войне всякого, сразу же понял, что Ольга Андреевна вовсе не сумасшедшая, что она его узнала, и он пошел ей навстречу, чтобы поздороваться и увести ее отсюда. Но из первых ее слов он ничего не понял, она заговаривалась, и только потом понял, что она все ищет своего Сережу и не верит, что ничего не осталось от юноши.

— Пойдемте, Ольга Андреевна, — говорил он ей, — пойдемте, я вас провожу. Мне с вами потолковать надо, у меня к вам поручение от Валентина, он просил вас сказать кое-что. Ну, пойдемте же...

Она слабо упиралась и пыталась что-то ответить ему, а он вел ее и не обращал внимания на людей, которые оборачивались к нему, не видел, что неподалеку шествует целая толпа.

Голос у него срывался, когда он уговаривал ее, и, уговаривая, он все думал, как же ему рассказать Валентину, какие слова найти, с чего пачать.

На половине пути Ольга Андреевна вдруг стала вырываться и говорить, что ей обязательно надо назад,

в школу, что она должна же его найти, ведь не может же быть, чтобы его не было совсем, и с внезапной силой вырвалась от Александра.

Он догнал ее, когда она перебегала улицу и когда какая-то машина, визжа тормозами, остановилась в двух шагах от Ивашкиной.

Шофер приоткрыл дверцу автомобиля и стал длинно и грубо ругаться, а Ладынин, держа одной рукой Ольгу Андреевну за рукав, подошел вплотную к шоферу и спросил, куда он едет.

— Тебе какое дело? — сказал шофер. — Твое дело девятое. Пусти дверцу.

Но Александр дверцу не пустил, наоборот, он еще сильнее потянул ее к себе и заглянул в машину, стекла которой были завешены зелеными шторками.

— Чья машина? — спросил Александр.

— Машина моя, — ответил сиплый голос. — В чем дело?

Александр наконец разглядел за ворохом чемоданов, корзин и ящиков штатского человека средних лет, который держал на коленях большое зеркало.

— Прошу довести больную женщину до дома, — сказал Ладынин, и слово «прошу» прозвучало у него властно и твердо.

Штатский человек вдруг вытянул вперед шею и закричал, что его персональная машина не скорая помощь и что он требует оставить его в покое и моментально отпустить дверцу.

— Женщина больна, — повторил Ладынин. — Я спешу. Куда идет машина?

— А ну, отойди отсюда! — вдруг пронзительно закричал шофер и, толкнув Ладынина в грудь, хотел хлопнуть дверцу, но в одно мгновение сам оказался выброшенным со своего места на булыжник мостовой, вскочил, поскользнулся и снова упал под восторженный смех зевак.

Ладынин стоял возле машины очень бледный, не выпуская Ольгу Андреевну, прямой, какой-то даже вдруг вытянувшийся. Шофер наконец вскочил. Усатое его лицо выражало бешенство. Медленно на кривых ногах он шел на Александра до того мгновения, пока Ладынин вдруг не сказал своим негромким, точно бы стегнувшим голосом:

— Смирно!

Шофер остановился. Глаза Ладынина блеснули.

— Как стоите! — стегаящими, точно бы свистящими словами говорил он. — Стоять смирно! Ну!

Краска отлила от лица усатого шофера. Мигая под взглядом Александра, он непроизвольно, сам не замечая, весь вытянулся, вобрал живот и от усердия даже слегка приоткрыл рот.

Ладынин обернулся к машине. Короткими словами он потребовал, чтобы машина все-таки была отпущена. Штатский с зеркалом сказал, видимо опасаясь скандала, что он не возражает, но вещи...

— Что делать с вещами!

— Ничего особенного, — ответил Ладынин, — часть вы тут выгрузите, а остальное полежит в машине.

Штатский послушно вылез, не оставляя зеркала. Но когда шофер начал вынимать чемоданы и ящики, штатский вдруг рассвирепел и спросил:

— А вы, собственно, кто такой?

— Гвардии старший лейтенант Ладынин, — сказал Александр. Помолчал и добавил: — Как видно, вы эвакуируетесь. Дело неспешное. Сегодня налета не будет, погода не такая.

Штатский молчал. Круглое его лицо с торчащими красными ушами покрылось потом.

— Вас это не касается, — сказал он. — Вывожу научный архив, это мое дело.

— И зеркало тоже научное? — спросил Александр, садясь в машину и захлопывая за собой дверцу.

На Ольгу Андреевну напало какое-то странное, полудремотное состояние. Она молчала, не плакала, только порою вся с ног до головы вздрагивала. Так, молча, доехали они до знакомого дома с палисадником и скамеечкой у парадного. Шофер кротким голосом спросил — ждать ли. Александр ответил, чтобы подождал, и отвел Ольгу Александровну в квартиру. Ее уже искали соседи, знакомый с детства врач покуривал у окна...

Ладынин вышел и сел в машину. Рукав у шофера сдвинулся, выше кисти был виден татуированный якорь, звенья цепи, буквы.

— Моряк? — спросил Ладынин неприязненным голосом.

Шофер, перебирая баранку, ответил, что когда-то плавал.

— Как фамилия?

— Мордвинов, — сказал шофер, — Кирилл Мефодиевич.

— Сына звать Семеном?

— Так точно, — вобрав голову в плечи, сказал шофер.

— Порадую сына папашей, — сухо и коротко произнес Ладынин, — будет ему праздник. Нашли время хулиганить. Сын два раза ранен, героем себя ведет, а папаша тут разворачивается...

Шофер молчал.

Потом прокашлялся и, не поворачиваясь, заговорил:

— Ожесточились. Война, товарищ старший лейтенант. Опять же трудности разные. Вы уж меня простите.

Ладынин молчал. Глаза у него сухо и сурово блестели. Машина остановилась у пристани. Александр вышел и захлопнул дверцу.

— Вы уж извините, товарищ старший лейтенант, — высунувшись, сказал шофер, — очень я вас прошу. Вы уж Сеньке не говорите, ежели встретите. Попрошу вас, товарищ командир, сделайте такое одолжение.

Ладынин ничего не ответил. Шофер еще подождал, потом покрутил головой и так рванул машину, что она, точно жаба, прыгнула вперед и тотчас же исчезла в переулке.

4. НА КАТЕРЕ

Только на катере, на жесткой скамейке в корме, Ладынин понял, что хочет спать и что хорошо бы сейчас принять душ на корабле, раздеться и вытянуться в каюте на удобном кожаном диване.

Катер шел медленно. Пассажиров было несколько — все какие-то незнакомые. Хотя, впрочем, в салончике могли быть и знакомые. Ладынин туда не заглядывал, никого не хотелось видеть.

Свернув папиросу, затянувшись, он еще посмотрел на город поверх легкого речного тумана: старые, многовековые здания, приземистые, могучие, сложенные из камня, с окнами, похожими на бойницы, стояли над рекой, над клоками изжелта-белого осеннего тумана, угрюмо глядели вдаль на широкую, полноводную, осеннюю реку, на путь в море — в холодный, мозглый океан.

И Ладынин подумал, что этим самым путем приходили и уходили отец, дед, прадед — весь его род, от того самого кормщика, про которого рассказывал давеча отец, а теперь вот уходит он, и когда-нибудь будет уходить его сын, также провожая глазами низкие строения, бойницы, пологий берег...

Это был его путь, так же как и путь дедов и прадедов, и город этот был его городом, и светлое небо было его небом — вечное, неизблемое, всегдашнее причудилось ему сейчас в этом белесом тумане у берегов в легком сыром ветерке, в понурой фигуре пастуха. Ах, если бы умел он писать, какое письмо он написал бы об этом Варе, если бы умел говорить, как рассказал бы ей о том, что думает нынче, что передумал за длинные месяцы войны, что переживал, стоя на мостике, поджидая вражеский корабль, отыскивая врага в бескрайнем, огромном море...

Что ж, вот и он, как деды, как прадеды, идет к морю, чтобы не пустить врага, не дать ему войти сюда, чтобы защитить то, что называется домашним очагом.

Вновь школа вспомнилась ему и та девочка, которая смешно плакала из-за своей зоологии, и лицо Ольги Андреевны, и развороченный радиатор, щепки, стекла, скрипящие под ногами, — деды и прадеды называли это бедой. «Ох, беда!» — говорили они и снаряжались в далекий путь, чтобы идти в море на своих шитых лыком ладьях и там драться с неприятелем. И слово «беда» произносили они редко, а когда произносили, то звучало оно у них не жалостливо, не по-бабьи, а жестоко, угрожающе, коротко, злобно.

Еще раз Александр посмотрел на город — чужому человеку ничего не было бы видно, но Александр угадывал его, и свою улицу, и место, где должен быть дом и где спит или, быть может, уже проснулась Варя, и где отец собирается на свой транспорт, и где ворчит Глафира, и где Бориска с Блохиным сейчас, наверное, удивляются, как это Варя попала к ним...

Почему он не поговорил с ней толком? Почему он не сказал ей, как мучился и тосковал без нее, как презирал этого ничтожного, с паглой улыбкой, с галстуком-бантиком? Почему не повторил перед ней те слова, которые шептал один во мраке своей жаркой каюты, такие убедительные, настоящие, точные слова?

Но что делать, если язык точно присыхает к глотке? Что делать, если он не умеет шутить, валять дурака, говорить красивые, печальные, душевные слова? Что делать?

И вот город исчез, и исчезла Варя, и ничего не сказано. Ведь она даже не знает, что он ее любит, любит всем сердцем, любит всегда и будет любить вечно, как написано в какой-то книге. Именно до гробовой доски. Именно навсегда.

Он закрыл глаза и задумался.

И не заметил, как задремал; когда проснулся, рядом с ним сидел старик Анцыферов, а немного поодаль — Корнев, со своей спокойно самодовольной, сытой улыбкой. Поигрывая глазами, он рассказывал старику о том, как потопил лодку и как ему эту лодку до сих пор не хотят признавать.

— Где же вы сидели? — спросил Ладынин у старика, здороваясь за руку.

— А в салоне, — сказал Корнев, — в шашки играли. Да вот товарищу Анцыферову не понравилось, угорел от бензина.

И Корнев покровительственно хлопнул старика по широкому плечу.

«Нехорошо, — подумал, раздражаясь, Ладынин. — Нехорошо хлопают. И говорят нехорошо».

Он нахохлился и молчал, не вмешиваясь в разговор, который вел Корнев все о той же пресловутой подводной лодке. Но раздражение мешало Ладынину сидеть спокойно; яркие, неумеющие врать глаза его смотрели недоброжелательно, почти зло — все не нравилось ему в командире тральщика: и то, как он курил толстую папиросу, и то, как пренебрежительно он усмехался, говоря о своем помощнике, и то, как поглядывал он по сторонам — с превосходством и даже надменностью, а главное, не нравилось ему, как Корнев красиво и ловко говорил — каждая фраза сопровождалась у него жестом, голос играл, слова были необычные. «Совсем артист, — подумал Ладынин, — прямо-таки художественный артист».

Но в это время Корнев обратился к нему.

— Вот, товарищ старший лейтенант может подтвердить, — сказал он, как говорил уже один раз. — Может свое мнение изложить полностью. Он присутствовал, когда мы эту лодку гробанули.

— Не гробанули вы ее, — сказал вдруг Ладынин.

— То есть как?

— Я вам уже сказал как, — сдерживая бешенство, говорил Ладынин. — Я вам докладывал...

Корнев усмехнулся и слегка поднял руку:

— Но позвольте!..

— Да что там позволять или не позволять, — почти крикнул Ладынин. — Вы у меня мое мнение спрашиваете, — он сдержался, — спрашиваете, так? Ведь так?

Корнев кивнул головой.

— И спрашиваете после того, как однажды уже спрашивали и заявили, что я поступаю не по-товарищески. Вы, следовательно, думаете, что стоит меня обвинить в нетоварищеском поступке, как я в лжесвидетели перекинусь? Так?

Хлопая глазами, Анцыферов смотрел на Ладынина. Александр ужасно нынче напоминал ему старика в те годы, когда оба они были такие, как Корнев и Ладынин сейчас.

— Я, собственно, — усмехаясь, сказал Корнев, — я в ваших подтверждениях совершенно не заинтересован. Просто к слову пришлось.

— Так вот прошу вас, чтобы больше к слову не приходилось. Лгать я не собираюсь. И молчать, когда при мне лгут, тоже не умею. Вы же сами отлично знаете, чего стоит соляр на поверхности.

— Но соляра было столько, — приятным голосом начал Корнев, — что сомнений ни у кого в команде не могло возникнуть. И пузырь, кроме того. Да и вообще, если вы согласитесь меня спокойно выслушать...

— Это ни к чему, — сказал Ладынин, — я не... одним словом, в этом вопросе я ничего не решаю. Но мне кажется, что сообщать о потоплении врага мы должны только в том случае, когда сами совершенно уверены, и даже больше, чем уверены. Иначе — это преступление.

Злые искры мелькнули в глазах у Корнева.

— Таким образом вы обвиняете меня в сознательном обмане, в том, что я нарочно распространяю о себе разные...

Ладынин взглянул в глаза Корневу и негромко сказал:

— Я вам уже однажды это сказал прямо. Разве вы забыли? Так вот, я повторяю вам это. Да, вы сознатель-

но распространяете неточную версию о том, что вами якобы потоплена германская подводная лодка. И кончим этот разговор.

Ладынин отвернулся. А Корнев, закуривая, тихо сказал Анцыферову:

— Удивительно, до чего завистливый командир. Слышать не может об удачах товарищей. И не любят же его у нас, должен вам сообщить.

— А тебя любят? — почему-то на «ты» спросил Анцыферов и, не выслушав ответа, взял Ладынина за плечо и сказал ему сердитым голосом: — Пойдем, Шура, в козла сыграем. Забью тебе сухого. А?

Домино было занято, и пришлось играть в шахматы. Анцыферов играл плохо, да и, как показалось Ладынину, вовсе не был заинтересован в том, чтобы выиграть, играл он просто для разговора. Играл и урчал:

— Вот таким и будь, как есть. И правильно, что ему никакой лодки не засчитали. А ты так и режь. Как папаша твой резал. Нет так нет. А есть так есть. И стой на этом. Ты думаешь, почему люди столько годов твоего папашу уважали? Вот за это самое. Ты с ним дела не имел, а я имел. Он на какой точке стоит — до смерти стоять будет...

— Шах, — сказал Ладынин.

— И пес с ним, — равнодушно ответил Анцыферов. — А мои слова запомни. Я на свете пожил, похлебал горя лаптем.

Он помолчал, потом предложил соснуть часок и добавил, что ему на катерах всегда хорошие сны снятся. Сел поудобнее и тотчас же задремал.

Стриженная ежиком седая голова его наклонилась к плечу, захрапел Анцыферов негромко, точно стесняясь присутствующих.

Ладынин вновь вышел на корму катера. Встречная легкая, уже морская волна била катеру в скулу, он мерно постукивал мотором и бежал вперед, к морю, переваливаясь как утка. Пахло сырой морской солью, прелью, ветер раскачивал золотые осенние кроны деревьев на низком берегу, срывал листья охапками, гнал навстречу катеру, и пригоршня таких листьев внезапно высыпалась с сухим шелестом Ладынину на колени, на складки серого прорезиненного плаща. Машинально он хотел было сбросить листья на палубу, но раздумал, собрал их

в ладонь, крепко сжал и понюхал; совсем уже пожелтевшие, они все-таки настойчиво пахли жизнью, деревом, на котором росли, лесом и только едва ощутимо — увяданием, даже еще не прелью.

Рулевой резко переложил руль. Катер, кренясь, стал поворачивать к морю, и Ладынин увидел совсем близко от себя знакомый мысок, а через секунду и остов баржи — полуразвалившейся, черной, совсем иной, чем в тот день, когда они были тут с Варей вдвоем, в тот самый грустный и самый счастливый день его жизни.

Тогда была осень — такая же пора, может быть, немного раньше, и сейчас, стоя на корме катера, он с необыкновенной ясностью, мгновение за мгновением, минутой за минутой вспомнил весь тот день, все подробности того дня, даже цвет Вариного платья, даже ее косынку, даже кошелку, которую держала она в руке, а главное — вспомнил выражение ее лица, когда, собрав пригоршню таких вот пожелтевших листьев, она бросила их в него и улыбалась при этом так ласково и такой доброй улыбкой, что он чувствовал себя совершенно счастливым.

Это был последний день той его жизни, и только много позже он понял, почему Варя тогда так грустно и так ласково улыбалась. Она просто жалела его. И даже сказала возле баржи, глядя ему в лицо печально и ласково:

— Бедный Шурик! Бедный ты мой Шурик!

Он улыбнулся сейчас, вспомнив эти ее слова. Плохо, когда женщина говорит такую фразу, ох как плохо! Но что он понимал тогда? Разве мог он предположить, что на следующий день она напишет ему то письмо, короткое, сухое, из тридцати двух слов, он до сих пор помнил — ровно тридцать два слова...

Катер обогнул мысок.

Ладынин даже встряхнул головою, чтобы отогнать от себя эти тридцать два слова. Потом вспомнил, что в руке у него все еще зажаты листья, взглянул на них и не выбросил, а повинуясь какому-то безотчетному чувству, сунул их в карман. Что ж, тогда он был молод, совсем молод, мальчишка. Но не так уж был плох тот день. И пусть на память о нем теперь — он повторил в уме это слово — «теперь» — останутся у него эти листья.

Позевывая, закрывая зубастый, пестарческий рот ладонью, вышел из салона Анцыферов и, крепко шагая

кривыми, привыкшими к любой погоде ногами, подошел к Ладынину. Собираясь чихнуть, весь сморщился, наконец сладко чихнул и спросил:

— Что? Природа? Любуешься? Любуйся, ничего. А мой возраст вышел. Я теперь как на природу посмотрю, сразу и выпить захочется. Одна пошлость. Чего смотришь? Я, брат, на тридцать два года тебя перегнал. Я, брат, деду твоего, как тебя, перед глазами вижу. Зверь был капитан, не то, что мы.

— Чем же зверь? — спросил Александр.

— Тем, что капитан был настоящий, а мы так — капитанская пыль. Махорочки хочешь покурить?

На ветру они свернули по толстой махорочной самокрутке, и Анцыферов принялся рассказывать про деда, как любили его девушки и сколько у него в мире детей.

— Будь покоен, — хитро и весело, подмигивая одним глазом, говорил Анцыферов, — я тебе, Шура, врать не буду, дед шутить не любил. Я точно знаю: в Голландии от него двойняшка произошла, одна госпожа очень в деду влюбилась. Голландская, конечно, госпожа. Очень был тогда красивый, прямо орел, и все дамы от него рассудок теряли. Вот, например, в Гонконге... Ты не обижаешься, что я тебе про деда такое рассказываю?

Улыбаясь, Ладынин сказал, что не обижается, и выслушал рассказ о приключениях деда. Анцыферов говорил с увлечением, было видно, что деда он любит до сих пор преданно и верно и что рассказывать ему приятно.

Покуривая и поглядывая вдаль зоркими глазами, Анцыферов рассказал, как дед уже не очень молодым человеком влюбился в дочь одного лесопромышленника и как силой ее увез, хотя она его и не любила, обвенчался с ней в глухомани у пьяного попа, посадил на пароход и ушел в рейс, а назад она вернулась влюбленная в деда на всю жизнь, только и делала, что в рот ему глядела, как потерянная. Так и прожили в мире и согласии до самой ее смерти.

— Под старость он скромный сделался, — заключил Анцыферов, — все лоцию свою составлял да модели кораблей строил. Это был капитан, да! — Помолчал и спросил: — Ты нас конвоировать будешь?

— Не знаю, — сказал Александр.

— Чего не знаю, — ворчливо сказал Анцыферов, — ясное дело — и ты со своим кораблем пойдешь. В случае

чего, поглядывай — старые все-таки дружки. — Он опять смешно подмигнул, подтолкнул Александра в бок локтем по своей манере и попросил: — Ты к нам поближе, поближе, а? Под бочок к моей коробке. Пушек-то у тебя небось много, корабль небось огромный, команды человек тысяча, да?

Александр все улыбался.

— Не расстраивайся, — сказал Анцыферов, — дослужишься. Будешь капитаном первого ранга, встретишь меня на улице, старичка старого, да как закричишь: «Это что за безобразие? Почему тут посторонние старики гуляют? А ну, убрать постороннего старика с моего пути». А я тебе так жалобно: «Шура, да это я, Анцыферов». А ты мне: «Ах, Анцыферов? В таком случае вот вам от меня пятишница на пиво, чтобы вы по улицам не ходили. Не люблю. Я, знаете ли, капитан первого ранга, и характер у меня нервный...»

Смеясь своим совсем уже стариковским смехом, он все толкал Александра в бок и говорил не то в шутку, не то серьезно:

— Большой человек будешь, большой будешь командир. Только резок ты больно, Шура, ох резок. И так это с огнем в глазах прямо и смотришь, так это и норовишь правду-матку всю в глаза, в глаза. Стоит ли? Правда — она глаза людям ест. За правду некоторые ох как сердятся! Проживешь ли на ней? Больно ты будто и молчаливый, а будто и горячий. Никак не разберу. Молчишь-молчишь, да и брякнешь. А жить надо с людьми, Шура. А люди всегда ли правду любят, вот где вопрос, вот где проклятый вопрос, как говорил Шекспир. Я ведь не мальчик, ты рассуди, о чем говорю. И врагов, допустим, стоит ли наживать? Вот я давеча очень одобрил, как ты этого молодого человека отчехвостил. Правильно. А ведь он небось затаил. А? Запомнил? Нет? Наверное, даже запомнил. А ведь тебе с людьми жить. Чего смотришь?

— Во время войны особенно нельзя врать, — сказал Александр, — и потому я не сдержался. Я не могу переносить, когда врут. А в остальном вы правы. Характер у меня плохой, верно...

Александр понурился.

Он и в самом деле считал, что характер у него плохой, что он сухарь, что все другие люди куда лучше его. Один умеет здорово пошутить. Другой — весь душа на-

распашку. Третий хорошо поет и прекрасно играет на рояле. Четвертый говорит всегда к месту. А он?

Анцыферов что-то говорил. Александр не слушал. Анцыферов похлопал его по плечу и ушел в салон еще поспать.

Все сильнее посвистывал ветер, все выше вздымались белые барашки в море.

«Так что же я такое? — думал Ладынин. — Неужели совсем ерунда? Нет. Не так это. Но все я в мыслях своих занوشусь. Сужу других и к себе придираюсь. А это неверно. Неверно потому, что я только и всего, что честный человек. Обыкновенная личность, но честный человек. Самый обыкновенный. Но честный. И вот еще кто я... — Он вспомнил Варю, вспомнил ее глаза, ее косички. — Я верный, — подумал он, — я верный. Обыкновенный, честный и верный. С плохим характером. Сухарь. Э, да ну его к черту!»

Ему надоело думать о себе, и он стал думать теперь о своем корабле. Всегда, если бывало ему тяжело или грустно, как только он начинал думать о корабле, все «настроения», как он выражался, точно рукой снимало.

Так было и теперь. Едва вспомнил он Чижова, как-то компанию, голос боцмана — мигом полегчало у него на сердце и все нынешние размышления показались вздором, несерьезной чепухой, чушью.

5. НА КОРАБЛЕ

Шел десятый час утра, когда Ладынин поднялся на палубу своего корабля, поздоровался с вахтенным командиром и прошел к себе в каюту бриться, мыться и приводить себя в порядок.

Как и всегда, чувство дома, покоя, свободы охватило его, едва он увидел знакомое до мельчайшей оспинки лицо вестового Колесникова, едва он снял тужурку, едва отдраил иллюминатор и оторвал лист на календаре. Было приятно знать, что он возвратился, что ни нынче, ни завтра, ни вообще в ближайшее время не надо никуда съезжать, что весь уклад жизни предопределен, точен, ясен, вот только побриться, начать — и все пойдет само собой от часа к часу, ото дня ко дню...

Ладынин любил отца, любил Бориску, любил Варю, любил старый дом с мезонином — там, в городе, но стран-

ное дело: за немногие месяцы корабль сделался куда более подлинным его домом, чем то, что оставалось на берегу. И любовь к семье, любовь к отцу, сильная, верная и преданная любовь к Варе удивительным образом не только не мешала ему считать подлинным своим домом корабль, но и помогала ему в этом.

Как-то в каком-то журнальчике прочитал он пословицу «Разлука любовь бережет» и сказал об этой пословице Игнатию Васильевичу, пожилому своему помощнику. Чижев поморщил нос, что служило у него всегда признаком глубокого раздумья, сильно почесал лысину и ответил, что это в высшей степени верно подмечено.

— Очень правильно, — морща нос, повторил он, — и глубоко. Почти, я бы выразился, философично. Вот, например, моя Полина. Четырнадцать лет женаты, троих детей изготовили, а тут, — он вместо сердца показал на подложечку, — а тут горит. Почему? Не избалован. Другой же, из береговых, годок проживет и — здравствуйте, не удовлетворен, любовь погасла, чувство остыло, такую матату разведет — послушаешь-послушаешь да плюнешь. Если вдуматься, дело ясное: обжелся... А ежели у нашего брата-моряка жена и не чудо, знаете ли, красоты, а просто так себе — заурядная дама, все равно пожар в моряцком сердце до самой смерти не простынет. Опять же про себя скажу: Полина моя. Ведь мне папаша покойник, а он по женской линии дока был, он мне прямо сказал: «Игнат, не женись, она на треску похожа». А я даже не обиделся. Для кого треска, а для меня Диана или Аэлита. И вот по сей день хорошо живем. И больше того — была бы Полина какая-нибудь золотистая блондинка, нехорошо бы мне было. Мало ли что. А так уж дело верное...

Несмотря на все то смешное, что сказал тогда Чижев, пословица продолжала нравиться Ладынину в том смысле, в котором она понравилась ему сразу, как только попала на глаза, и он знал, что ему теперь — после того как он нашел Варю во второй раз, а он не сомневался в том, что нашел ее окончательно, навсегда, — ему теперь не была страшна никакая разлука, потому что, если человек любит — разве может ему быть страшна такая ничтожная вещь, как разлука?

Не торопясь, раздумывая о Варе, о доме, об отце, он достал из шкафчика бритвенные принадлежности, пото-

чил широкое лезвие бритвы на ремне, разложил все перед зеркалом и, взяв в руки фотографию Вари в такой же желтенькой рамочке, что и на берегу, посмотрел и покачал головой: «Изменилась, не похожа».

Постучал Колесников, принес воду для бритья. А за ним в двери уже стоял Чижев, в своем слишком высоком подворотничке с торчащими уголками, спокойный, рассудительный, любящий хорошую беседу за самоваром.

Пока командир брился, Чижев рассказывал ему корабельные новости: что произошло за сутки, какие были взыскания, как краснофлотец Мордвинов до того навалился на шлюпку, что сломал весло.

— Вот, кстати, — сказал Ладынин, — вы мне его потом пришлите.

— Есть, прислать, — ответил Чижев.

Попросил разрешения закурить, закурил и рассказал, что получил от супруги письмо. Печальное. Говорил с Тишкиным, но Тишкин ничего дельного посоветовать не смог. Конечно, Тишкин не специалист, но ведь это все-таки смешно — советовать натирать голову искусственным снегом.

— Кому голову? — спросил Ладынин.

— Да супруге моей. Пишет, что лысеет. Они, знаете ли, эвакуировались в поселок Нек-Ышим. Ну, а там вода какая-то особенная. Вот Полина и лысеет.

Чижев с тревогой смотрел на Ладынина.

— Нет, тут я мало знаю, — сказал Ладынин, — ничего не могу посоветовать.

Опять заговорили о корабельных делах. Пришел командир БЧ-V жаловаться, что неладно с водой. Потом начхоз сообщил, что рыбаки привезли в подарок треску, свежую и очень хорошую, — брать или неудобно. Трескоед Чижев страшно оживился и выскочил из каюты вслед за начхозом, а Ладынин, натирая лицо одеколоном, сказал, что надобно поднимать пар.

— Есть, поднимать пар! — вставая, ответил Хохлов, и в глазах его Ладынин прочитал тот мгновенный и сдержанный вопрос, который всегда возникал в глазах молодых командиров, когда дело касалось похода.

И согласно своему твердому правилу Ладынин никогда не отвечал на эти молчаливые вопросы.

— Есть, поднимать пар, — повторил командир БЧ-V и спросил, можно ли ему идти.

— Идите, — ответил Ладынин.

Вновь он остался в своей каюте, у себя дома, один со своими мыслями. В трусах сходил в душевую, фырча, как отец, вымылся и чистый, выбритый, отутюженный вошел в кают-компанию обедать.

Штурман и артиллерист только что приехали из города поездом, и у обоих был тот особый, немного виноватый и чуть поблеклый вид, который бывает у командиров-моряков, когда, долго не бывая на берегу, они наконец съезжают, воплощают в жизнь кое-какие свои мечтания и возвращаются на корабль, сердитые и на собственные мечты, и на их воплощение, и на самих себя, и счастливые оттого, что все «это» позади и что они дома, в настоящем, своем, родном доме, в котором хоть и скучновато иногда, но зато дельно, чисто, ясно и, как полагается мужчине, все честно и в открытую.

Когда Ладынин вошел, они оба с кислыми лицами играли в шахматы, и все кругом понимали, что играют они не ради того, чтобы играть, а ради того, чтобы их не разыгрывали и не задавали им ядовитых вопросов.

— Прощу к столу, — вкусным обеденным голосом сказал Чижев и первым сел на свое место — против командира, подмигнул и спросил: — Чего это, штурман, на вас клеветают, будто вы...

Кругом засмеялись.

Чижев опять подмигнул и опять спросил:

— Правду говорят или небось врут?

— Не знаю, — сухо сказал штурман, — это вот Илья Ильич знает. Это ведь он изложил...

Артиллерист поперхнулся супом.

— А что в самом деле случилось? — спросил тонким голосом Тишкин. — Я ничего не знаю.

Штурман совсем опустил голову над тарелкой и только порой с детски-опасливым выражением поглядывал на командира. Но Ладынин ел, как будто бы ничего не замечая.

— Придется лейтенанту рассказать, — попросил Тишкин, — уважить общество. Интересуется народ.

— А что? — сказал артиллерист. — Ничего тут особенного нет. Штурман вот теперь на меня сердится, что я его, видите ли, не удержал, а сам... Короче говоря, у меня в городе есть знакомые. Вот мы туда пришли. Ну,

принесли с собой кое-что. А там одна девушка есть по имени Еля. Ничего, красивенькая. По специальности зубной техник. Вот штурман немного выпил и сразу влюбился. Но как! Я сижу рядом и прямо ушам своим не верю. «Вы, — говорит, — моя сказка. Вы для меня сон. Дуну — и вас нет». Я его стал уговаривать, чтобы он не напирал. А он все свое. И какие слова, оказывается, знает, я даже и не думал никогда. «Прекрасная Елена! О мои кудри! О ты, как солнце...» И несет, и несет... — Артиллерист поглядел на Чижова веселыми глазами и поднял руку: — Это еще что! Не в этом дело. Дело совсем в другом. Я его увел, и все обошлось чинно-благородно. Но только на улице он решил, что это он свою Елю провожает — она ему обещала, что он ее проводит, и это у него в голове засело. Вот он и решил, что дождался и что провожает. И прямо, вы знаете, с ходу мне предложение делает. «Выходите, — говорит, — за меня замуж. Я, — говорит, — очень детей люблю. Я всегда сестрино Вальку нянчу. Будем хорошо жить. И не смотрите, что я сейчас такой. Я ведь непыющийся. Меня от этого тошнит. Но я, — говорит, — вполне соображаю». Ну, тут я не выдержал и спрашиваю: «Штурман, на ком это вы жениться собирались?» А он хоть бы что. «На вас, — отвечает, — на Еле».

— Неправда это, — грустно сказал штурман, — я помню, что я ей говорил. Не говорил я ей про женитьбу.

За столом смеялись все громче, все веселее. Чижев раскашлялся от смеха и причитал:

— Ох, и травит... Ох, и травит...

— Да никто не травит, — рассердился артиллерист, — даже странно. Все чистая правда... Разве такое можно выдумать?

— Вино было ненормальное, — сказал штурман, — какое-то коричневое. Я не виноват. Я его в горячий чай вылил, мне пить хотелось, вот так и вышло... А что я лейтенанту предлагал замуж выходить — не может быть. Это он нарочно. И про детей тоже.

— Так откуда же я знаю, что вы, товарищ штурман, любите детей и даже нянчите своего племянника по имени Валька? Откуда?

Штурман растерянно молчал. Чижев попросил разрешения курить. Обед кончился, но никто не уходил — все любили это ленивое, веселое, спокойное и какое-то

семейное послеобеденное время. Хохлов с начхозом сели играть в шахматы. Тишкин внезапно спросил:

— Позвольте, а когда же это все могло случиться, когда вы могли успеть, если в двадцать два сорок началась воздушная тревога?

— Наш так называемый кутеж, — ответил артиллерист, — начался в двадцать один, а кончился в двадцать два пять. Вот так.

Штурман громко высморкался и сел читать газету. У него был обиженный вид.

В это время заговорил Чижев. Видимо, он сам не ожидал от себя такой прыти, потому что, когда глаза командиров — всех, кто был тут, — с удивлением поднялись на него, он на мгновение смеялся, покраснел, но тотчас же заставил себя говорить дальше.

— Вот смешные были у вас приключения, — сказал он, — слушал и смеялся, а теперь думаю: нехорошо. Ничего в этом хорошего нет.

Глаза у него сделались сердитые.

— Не нравится мне все это, — заговорил он совсем строго. — Поняли, товарищи командиры? Я тут не первый день, на корабле, и не первый день слушаю вас. Вот товарища Тишкина как-то слушал вечером, он тут книжку принес и все разорался с книжкой — размахивал, помните? Тишкин, какой это вы стишок тут зачитали?

— «На час запомним имена, — с готовностью, захлебываясь, продекламировал Тишкин, — здесь память долгой не бывает, мужчины говорят — война и наспех женщин обнимают». Этот?

Продекламировал и победно вздернул плечами.

— Этот самый, — с брезгливой злостью сказал Чижев и вдруг увидел, что командир смотрит на него теплым, как бы греющим взглядом. — Этот самый, — громче и злее повторил Чижев, — вот-вот: «наспех обнимают». Нет, что выдумали, — обращаясь к командиру, воскликнул он, — что только выдумали, это даже нельзя себе представить, Александр Федорович, что они выдумали. Это значит, наспех надобно свои делишки обделывать, так, что ли? Память теперь долгой не бывает? Это вы хотите сказать своим стишком, товарищ Тишкин? Это вы нам тогда тут зачитали?

Немолодое курносое лицо Чижева совсем покраснело.

— Срам! — кашляя, сказал он. — Срам! Позор и срам! У меня брат под Сталинградом погиб. В последнем письме он жене так и написал: за тебя, дескать, иду в бой. За наш очаг семейный иду, за нашу любовь. За любовь! — Чижев поднял палец, но внезапно сконфузился и заговорил скороговоркой: — А пьяненькие влюбляются. Чуть какую-то порете. Вадор, ерунду собачью. У командира все должно быть красиво, ежели ты моряк. Красивая должна быть жизнь. И любовь должна быть серьезная, красивая, не какая-нибудь. Верно говорю, командир?

Все глаза обратились к Ладынину.

— Думаю, что верно, — сказал он, — думаю, очень даже верно.

Вестовой с шумом и звоном начал собирать стаканы. На него цыкнули.

— Знаю я одного человека, — затягиваясь папиросным дымом, сказал Ладынин, — так себе человек, не то, чтобы очень хороший командир. Но грамотный, совершенно грамотный. И не трусливый, знаете, человек. Так вот, создал он себе теорию, порочнейшую, на мой взгляд, теорию, что жизнь и военная работа моряка — вещи разные и между собою никак не связанные. Не раз мы с ним об этом предмете спорили, почти до грубостей доходили. И вот, — он снова затынулся, — оказалось, что я прав. Пошел этот командир со своими теориями туда, — он показал пальцем под стол, — вот куда пошел.

Глаза у Ладынина сделались строгие.

— На медицинских плакатах, доктор, пишут, — сказал он Тишкину, — пишут: «Чистота — залог здоровья». Это не глупые, знаете, слова, если вдуматься, и не только к медицине имеют отношение. Особенно во время войны надобно такие слова помнить. Верно, доктор?

Тишкин, не зная что сказать, сделал вдумчивое лицо.

— Треску-то, пожалуй, посолить начхоз и не распорядился, — вдруг с испугом сказал Чижев. — Начхоз, а начхоз! Пойдите насчет трески. Слышите?

Поднимаясь к себе в каюту и прислушиваясь к голосам спорящих в кают-компании, Ладынин думал: «У каждого свое, теперь и вечером будут спорить, дня на два хватит с избытком».

На трапе он постоял, послушал. Слов не было слышно, и не для этого он остановился тут. Просто приятно было

послушать эти свежие, молодые, горячие голоса, эту шумную, разную и такую в общем дружную семью.

Потом лег на привычный и удобный кожаный диванчик в каюте, вздохнул и взял с полки, не поднимаясь и не меняя позы, первую попавшуюся книжку. Книжка называлась «Миноносцы». Он недавно прочитал ее всю и теперь, думая о посторонних вещах, рассеянно стал перелистывать страницу за страницей. «Да, — думал он, — это корабль. Это настоящий корабль. Вот командовать бы таким кораблем».

Но очень скоро от этих мыслей ему стало неловко перед самим собой, он отложил книгу и сел за стол — читать и подписывать бумаги, которые наготовил ему Чижев за вчерашний день.

6. В ПОХОДЕ

В дверь постучали.

Ладынин крикнул: «Войдите!» — и с удовольствием взглянул на Мордвинова — в его широкое, твердое и спокойное лицо.

— Краснофлотец Мордвинов явился по вашему приказанию! — Он сказал эти привычные уставные слова негромко, с чувством собственного достоинства, спокойно.

— Садитесь, Мордвинов.

Краснофлотец сел. Под тяжелым его телом стул сразу же затрещал, и Мордвинов приподнялся, чтобы сесть поосторожнее.

Ладынин заговорил. Немного наклонив голову, он подбирал такие слова, чтобы не обидеть сыновнее чувство краснофлотца и вместе с тем чтобы дать ему почувствовать всю несообразность поведения отца.

Мордвинов слушал молча, разминая в больших пальцах папиросу, которой его угостил командир. Несколько раз он кашлянул, потом вдруг спросил:

— Что ж он там, совсем с ума сошел, что ли?

Большое лицо его порозовело, в глазах появился суровый, жесткий блеск.

— Не знаю, — сказал Ладынин. Потом добавил, с трудом подыскивая слова (ему всегда нелегко было разговаривать, особенно в таких сложных случаях, но он принуждал себя к разговорам и разговаривал с людьми даже тогда, когда за него это мог сделать тот же Чижев

или кто-нибудь другой). — Не знаю, — повторил Ладынин, — но думаю, что вам, Мордвинов, следует написать нашему старику письмо. В тяжелое военное время нельзя позволять человеку, чтобы он думал, будто все люди друг другу волки. В такое время иначе надо жить, Мордвинов, хорошо надобно жить с людьми, рука об руку, рядом. А то что ж получается? Какой вывод для себя можно сделать после такой истории?

Когда Мордвинов ушел, Ладынин отдал приказание корабль к походу изготовить.

И вновь сел за бумаги, за мелкие строчки Чижова, за его аккуратные цифры. А покончив с бумагами, достал из ящичка толстую серую тетрадь, полистал ее, подумал и размашисто, крупно написал в углу чистой страницы день, месяц, число, потом улыбнулся одними глазами — так умели улыбаться все Ладынины — и, с удовольствием попыхивая папирсой, стал писать в дневнике, который вел уже семь лет без пропусков, где бы и что бы ни случилось.

«Варя теперь живет в моей комнате. Что будет дальше, мне неизвестно, но надеюсь на самое хорошее для себя. Отец стареет, но не меняется. Видел Корнева и могу сказать, что он катится вниз. В кают-компании завелся разговор о любви, и я там говорил, как обычно, сухое что-то и неинтересное. Скверно сознавать себя плохим собеседником».

Писал он долго и, чем дальше писал, тем больше находил у себя проступков, проявлений слабодушия, находил вспыльчивость, зазнайство, успокоенность и еще много всяких грехов, за которые строго с себя взыскивал.

Потом достал из стола бланки почтовых переводов и принялся расписывать по бланкам свое денежное довольствие. Отец у него денег не брал. Варю оставить он постеснялся. Ему же самому деньги не были нужны, и он расписал почти все на три адреса: сестре погибшего в морской пехоте своего товарища, Вариной матери, которой он помогал уже пять лет, и, наконец, маленькому Блохину — посредством сироты Блохина, усыновленного стариком Ладыниным, ему удавалось переводить деньги отцу на хозяйство. Потом он приготовил четвертый бланк — для Вари, но почувствовал, что обидит этим отца, и сделал фальшивку — еще один перевод на имя Блохина от какого-то Воронкова. Фамилию он долго при-

думывал, кусая перо. Но так как Ладынин был человеком абсолютно честным, то ему и в голову не пришло, что никто ни в какого Воронкова не поверит, потому что черк-то ладынинский.

Написав переводы и разложив деньги, он еще почитал и спустился вниз — ужинать.

На ужин была свежая жареная треска, и помощник за столом философствовал.

— Я утверждаю, — говорил он, — что на белом свете нет ничего лучшего, чем треска. Треска — вещь великолепная, и знаете, в каком виде: в масле, консервированная. Моя Полина, например, настолько к треске привязалась, что написала мне: «Игнаша, после войны мы с тобой устроим бассейн, напустим туда консервного масла, и ты будешь ловить треску, и мы ее сразу в бассейн». А потому...

Ладынин ел, слушал и думал о том, как, в сущности, не похожи и разнообразны люди, хоть тот же Чижев. Говорит о треске, ссылается на Полину, сам уже не молод, пришел из запаса, человек глубоко мирной профессии — рыбак, а вот зимой, увидев германскую подводную лодку, ни секунды не раздумывая, пошел на таран и в радостном и восторженном азарте простуженным тенором кричал на ходовом мостике:

— Не ходить в мое море! Тут я хозяин! Не ходить, расшибу! А, товарищ командир? А?

Потом перешел на сухой, официальный тон и доложил все, как положено, а под конец опять не выдержал и тем же тенором, сбиваясь на неофициальные слова и тараща глаза, стал сыпать подробностями:

— Я только хотел пеленг взять, только подумал — возьму, мол, пеленг на «Товарища Серпухова», только мне эта мысль в голову вскочила — в это время сигнальщик и закричи. Ну, я сразу...

За чаем опять завязался разговор о любви, потом, как часто бывает с молодыми спорщиками, переехали на что-то совсем иное, совсем противоположное и долго не могли вспомнить, с чего же, собственно, начался спор и как оказалось, что все теперь говорят о том, как бывает неудобно и нехорошо, когда дружба мешает службе.

— Тут много неясного, — говорил артиллерист, блестя белыми крупными зубами, — тут многое еще придется нам передумывать, Устав этого вопроса не ре-

шает, он подсказывает решения, руководит ими, но тонко их не разбирает. А тут тонко надо подходить, ох тонко...

— Вы что ж, против устава высказываетесь? — спросил Хохлов и засмеялся. — Или вы, может, считаете себя умнее устава...

У себя в каюте Ладынин, не торопясь, натянул брезентовые на меху брюки, свитер, теплую куртку с капюшоном, бурки. Положил в карман спички, папиросы и долго искал мундштук. Постоял, вспоминая, где он может быть, сунул руку в карман плаща и вынул оттуда мундштук вместе с желтыми осенними листьями. Посмотрел на них, чему-то улыбнулся, сунул вместе с мундштуком в карман куртки и, когда затрещали звонки, вышел из каюты...

По трапам и палубам уже гремели шаги краснофлотцев, а голос Чиждова, спокойный и вкусный, раздавался в репродукторах:

— По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам...

Медленный и нудный сыпался с черного неба осенний дождь. Но дождь этот не был неприятен Ладынину. Поднявшись на ходовой мостик, он с удовольствием набрал в легкие сырой, соленый привычный воздух, с удовольствием оглядел смутно белеющие во тьме плащи сигнальщиков, с удовольствием послушал, как урчит на полубаке боцман, подумал: «Ну вот, началась совсем нормальная жизнь», — и без мегафона сильным, отрывистым голосом приказал во тьму:

— Отдать носовой!

— Есть, отдать носовой, — с веселой готовностью гаркнул боцман.

Ровно в шесть тридцать вышли в точку randeу и повели транспорты по назначению. Пароходов было всего два: тяжело груженные, они двигались медленно, а корабли охранения шли противоположным зигзагом: это были опасные места, и Чиждов приказывал усилить наблюдение.

С корабля, на котором шел комдив, просемафорили тоже, чтобы усилили наблюдение, и тотчас же самолет, круживший над караваном, выпустил красную ракету.

— Перископ, что ли? — спросил вахтенный командир.

Самолет пошел на посадку. Он тянул низко над ти-

хой водой, и, когда сигнальщик крикнул, что видит перископ, все были к этому совершенно готовы.

Ладынин повернул ручку машинного телеграфа на полный, крепко сжал зубами пустой мундштук и взглянул на тахометр. Корабль выходил в атаку.

Утро было ясное, чистое, свежее. Серdito закричал какие-то слова артиллерист, в свисте ветра, возникшего на этом бешеном ходу, ничего не было слышно. За кормой поднялись розоватые на солнце пенистые столбы воды: там рвались серии глубинных бомб.

У Чинова глаза блестели от азарта, он скинул фуражку, лысина его сверкала на солнце.

Розовые дымы возникли спереди — носовое орудие било пыряющими снарядами.

Опять пошли в атаку, опять сбросили бомбы. Лицо у Ладынина было мрачное, и к чаю в кают-компанию он тоже пришел мрачным.

— Что было с лодкой? — спросил Хохлов. — Удачно или неудачно пробомбили, как вы считаете, товарищ командир?

— А вы? — резко спросил Ладынин.

Хохлов промолчал. Тогда Ладынин спросил у артиллериста.

— Поскольку наша задача была загнать ее на глубину, — сказал артиллерист, — постольку...

— «Поскольку», «постольку», — передразнил Ладынин. — Не надо сигнальщиков дергать, вот это действительно «поскольку». Когда им десять раз говорят, что надобно усилить наблюдение, они любой топляк за перископ примут — даже такие сигнальщики, как Карпушенко или Жук... — Закурил папиросу и вышел не договорив.

На мостике Чинов, по-прежнему без фуражки, ел из глубокой тарелки вчерашнюю треску.

— Хорошо! — сказал он командиру. — Холодная, прямо-таки объедение. Но в консервах еще лучше. Эх, товарищ командир, приглашу я вас после войны к себе в Мурманск треску в масле кушать. Из бассейна. Поставим возле бассейна по стулу, вилки соответственно и, конечно, по маленькой. Чего это вы будто сердитый?

Ладынин молчал.

А за несколько минут до обеда германский разведчик привел тройку торпедоносцев и десяток бомбардировщиков. В десять сорок пять начался бой. Торпедоносцы кру-

тились в набежавших облаках, а «юнкерсы», вызывая на себя огонь кораблей, старались отвлечь внимание моряков от торпедоносцев.

Ладынин, выпятив нижнюю губу, неподвижно стоял на мостике. Внизу оглушительно били автоматы, и он почти ничего не слышал — сигнальщики кричали ему в самые уши, а он командовал негромко и раздельно, спокойнее, чем на учебных стрельбах, и все время защищал своим огнем неповоротливые тяжелые транспорты, увертывался от бомб, которые швыряли «юнкерсы», и ждал атаки торпедоносцев, которые хитрили и все еще крутились в рваных серых облаках.

Глаза у него сузились, когда все три машины вывалили из-за облаков и строем пеленга пошли на корабль. Немцы упорно шли вперед, несмотря на стену огня военных кораблей и транспортов.

Одна машина от прямого попадания снаряда взорвалась и мгновенно исчезла, но ведущая сбросила торпеду, и тотчас же Ладынин повернул ручку машинного телеграфа на самый полный и очень громко крикнул на штурвал.

— Два градуса вправо!

— Есть, два градуса вправо! — также криком ответил рулевой и, увидев совершенно белое лицо своего командира, побелел сам.

Чижев до крови закусил губу. Такие секунды не часто приходится на судьбу человека. А если и приходится, то очень редко случается человеку рассказать потом об этих секундах.

Защищая транспорт, Ладынин решил подставить торпеду борт своего корабля. Это решение созрело в нем мгновенно и как-то само по себе. Он почти не думал, поступая так, а не иначе, — это было как инстинкт.

Но торпеда не сработала.

Первым понял, что она не сработала, Чижев. По всей вероятности, виноват был прибор Обри — торпеда пошла на циркуляцию, и Чижев с удивлением, глупо улыбаясь, сказал:

— А? Командир? А?

— Что «а»? — спросил Ладынин.

Лицо его, шея, руки и спина — все покрылось потом. Где-то далеко в небе зудели, уходя, вражеские самолеты.

— Что же случилось? — спросил Ладынин.

— Да не сработала, — закричал Чижев, — не сработала она, пес ее задави, ну вот, не сработала, и все тут, не наша была, командир! — Но внезапно лицо Чижева стало серьезным, он близко подошел к Ладынину и сказал: — Товарищ командир, да вы... Да знаете ли вы?

Щека у него задрожала. Ладынин ждал. Но Чижев так ничего и не выдумал. Вздохнул и отвернулся. А Ладынин сказал:

— Видно, мы, товарищ Чижев, еще не всю свою треску в масле съели. Верно?

— Точно, — ответил Чижев, — я как раз это и хотел отметить.

А внизу, в кают-компании, между тем умирал краснофлотец Мордвинов.

Тишкин сделал уже все, что мог, и все-таки Мордвинов умирал. Страшно изменившееся лицо его покрылось смертной синевою. Нос заострился. Губы стали узкими и серыми. В глазах появилось строгое выражение.

Лежать он не мог и полусидел на диване, тяжело дыша и порою задыхаясь. Но несмотря на ужасающие муки, лицо его до самого последнего мгновения не выражало страданий. Он не любил, чтобы его жалели, и, когда германская бомба разорвалась у кормового ската, сразу же приказал себе держаться и быть мужчиной до самого последнего конца.

Теперь он ждал командира и, увидев Ладынина, еще не остывшего после боя, разом как-то посветлел, нашел в себе силы улыбнуться серыми губами и, сохраняя суровость в лице, спросил:

— Тут старшина Сизых перевязывался, говорил, будто мы корабль наш под торпеду подставили за транспорт. Верно это, товарищ старший лейтенант?

— Верно, — ответил Ладынин, глядя в Мордвинова теплым и пристальным взглядом.

Несколько секунд Мордвинов молчал. Из рта у него пошла кровь. Тишкин вытер ему подбородок и грудь куском марли.

— Это ничего, — сказал Мордвинов, — ничего, хорошо. Как морякам положено, так и сделали.

Рука его, поймав в воздухе, нашла руку командира и со слабым усилием сжала Ладынину пальцы. Сердце Ладынина часто забило.

— Побеспокоил вас, товарищ командир, — пытаюсь еще улыбнуться, заговорил опять Мордвинов, — насчет письма хотел сказать. Я папаше давеча написал все, как на сердце было. Письмо там найдут. Попрошу вас, товарищ командир, про меня сами допишите. Что, дескать, погиб на посту, как полагается. — Он помолчал и добавил: — Все я про ваши слова насчет волков вспоминаю. Правильные слова. Что, если мы в море начнем рассуждать, будто человек человеку волк? Что тогда?

Он немного вытянулся вперед и тотчас же стал оседать, слабая с каждой секундой все больше и больше. Холодеющая рука его выпустила пальцы командира, но Ладынин крепко сжал руку матроса и наклонился над ним. Мордвинов что-то шептал. Кровь лилась из его рта.

— Все, — сказал Тишкин.

Мордвинов еще раз коротко вздохнул. Потом дыхание его стало слабеть. Ладынин снял фуражку и отошел в сторону.

На мостике он вспомнил, что одним из транспортов командует Анцыферов, и сообразил, что подставил свой борт торпедой, защищая транспорт старика капитана. И теперь никак не разубедить будет Анцыферова, что в секунды боя ему, Ладынину, и в голову не могло прийти — кто каким транспортом командует.

Теперь пойдут рассказы...

— Сигнальщик, спите? — крикнул Чижев.

Флагман передавал ратьером благодарность командиру и всему личному составу корабля.

— Ясно вижу, — сказал Чижев, — разбалуешь вас — благодарить каждую минуту...

Жук передал «ясно вижу».

Ладынин прикурил у вахтенного артиллериста и спросил:

— Что, Василий Петрович, задумался?

Калутин странно посмотрел на командира, поежился и пошел брать пеленг.

— Мордвинова жалеет, — сказал Чижев, — у него сердце доброе, у Калутина, совсем белый был, когда узнал, что Мордвинов помер. Да и то, Александр Федорович, молодой ведь он.

В глазах у Чижева Ладынин заметил что-то новое, помощник теперь четче и как-то серьезнее называл командира по имени и отчеству, да и Жук, и Хохлов, и

Тишкин, и командиры, и краснофлотцы за эти последние часы стали иначе смотреть на Ладынина. Он чувствовал это и не понимал — почему. А потом вдруг вспомнил, как изменились все к Чижову после его тарана, как смотрели на него другими глазами, будто удивляясь, что не заметили в нем чего-то, будто приглядываясь к его хлопотливому курносому русскому лицу, будто отыскивая в этом лице какие-то новые, необыкновенные черты, и как Чижов рассердился тогда до того, что даже топнул ногой, и как кричал он тогда пронзительным и глубоко обиженным голосом:

— Приходил тут один в очках, весь скрипучий. Какие такие, спрашивает, у вас были ощущения? Какие такие были особенные, нестандартные, личные ваши ощущения? Как вы при этом себя чувствовали? Что вы при этом думали? Что сказали? Во-первых, что сказали? Во-вторых, в-третьих. Ну, пристал как банный лист. Ну, пристал и пристал. А что я ему скажу? Какие ощущения? Какие? Не было у меня никаких ощущений. Война. Вот — война! Бить его надо — вот и все ощущения. А слова я говорил, не знаю какие...

Вот так, сам сердился тогда, сам кричал и топал ногой, а теперь присматривается и говорит особенным голосом, точно он сам не отдал бы той команды, которую отдал Ладынин и отдать которую был его долг — долг военного моряка, долг командира, так же как долгом Чижова было тогда таранить германскую подводную лодку.

Сигнальщик сердитым голосом доложил, что там-то и там-то видит круглый предмет. Ладынин взглянул в бинокль: в серой воде, точно живая, шевелилась оторвавшаяся мина.

— Несет их, чертей, — сказал Чижов, — это штормом посрывало, тут и напороться недорого возьмут.

Вновь заблестело зеркало ратьера — флагман предупредил насчет мин.

— Вот сейчас туманом накроет, — сердито сказал Чижов. — Там попляшем.

Впереди стояла плотная, серая, вязкая стена. Чижов фыркнул носом, глядя на нее, и выслал дополнительных сигнальщиков на бак.

Флагман нырнул в туман и скрылся в нем — точно пропал бесследно. За ним растаял тяжелый анцыферовский транспорт. Чижов еще раз фыркнул носом. Когда-то,

лет десять назад, у него в тумане была авария. С той поры он боялся туманов, нервничал, когда корабль попадал в туман, начинал фыркать, скрести ногтями лысину, ругался и изводил себя куда больше, чем следовало.

Сигнальщик опять доложил, что видит круглый предмет. С правого мателота тоже доложили, что по носу мина. Чижев заскреб голову.

— Лапша, — сказал Калугин, — настоящая лапша.

Длинный краснофлотец Сидельников пронзительно крикнул с бака, что видит мину. Тотчас же ее увидел и Ладынин. Круглая, мокрая, черная, она медленно и зловеще покачивалась на воде совсем близко от носа корабля. Рулевой Нестеров мгновенно положил три градуса влево. Мина, все так же зловеще покачиваясь, прошла вдоль борта. Чижев фыркнул.

Вестовой принес на мостик чаю. Ладынин пил маленькими глотками, наслаждаясь теплом, и щурился на едва видневшуюся впереди корабля воду. Потом мгновенно туман рассеялся, сделалось тепло, засияло небо, заблестало солнце.

— Вот она, жизнь моряка, — сказал Чижев. — Раз два — и в дамках. Идите обедать, товарищ командир, я вас попрошу, пора вам кушать...

— Есть, идти обедать, — сказал Ладынин.

В кают-компании уже был постлан ковер, и на столе лежала скатерть. Только на одном диванчике не хватало чехла, на том самом, на котором давеча умер Мордвинов. И немножко, чуть-чуть, пахло лекарством. А больше ничего не напоминало о том, что совсем недавно, всего несколько часов назад, тут был полевой госпиталь и любитель стихов Тишкин сражался со смертью.

— Прошу к столу, — сказал Ладынин, — чем нас сегодня кормят?

Вестовой принес «вельбот» с супом.

Обедали молча. И не раз во время обеда Ладынин чувствовал, что на него смотрят, смотрят как-то особенно, не так, как смотрели раньше. А потом вдруг перехватил взгляд зеленых глаз начхоза — удивленный и почти-тительный.

«Балда, — подумал Ладынин, — как будто на моем месте он поступил бы иначе».

Пришел рассыльный, доложил, что пост «Зуб» передает воздух.

— Ладно, — сказал Ладынин, — идите.

Рассыльный ушел. Ладынин налил себе еще супу.

— Хорош сегодня супец? — спросил начхоз.

— Ничего, — сказал Ладынин, — главное, что перцу много. По вашему вкусу.

Начхоз помолчал, потом спросил другим голосом — негромко и значительно:

— Товарищ гвардии старший лейтенант, а правда, что мы сегодня... этого... подставили...

— Правда, — не дослушав и раздражаясь чему-то, что было в тоне начхоза, сказал Ладынин. — Правда. И кроме того, прошу запомнить. Прошу всех командиров запомнить, что в том, что было сделано, в том что... — Он запутался в этих «что» и помолчал секунду. — Короче, был выполнен прямой долг, и прошу это запомнить. Было бы крайне неприятно, если из этого всякая чепуха... — Он раздражался все больше и больше. — Надо понять, что морская война, наша работа на море содержит несколько обязательных предпосылок. С этого надо начинать. Это — первая ступень. Обязательная ступень. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Понимаю, — нетвердо сказал начхоз.

— Значит, кончен разговор! — сказал Ладынин. «Теперь начнется, — сердясь сам на себя, думал он, закури-вая после обеда. — Вот придем, и начнутся те же распросы. Еще этот очкастый явится, с ощущениями, спрашивать у меня будет, какие у меня ощущения. А в самом деле, — вдруг с интересом подумал он, — какие у меня ощущения? Ну вот если Варя спросит, что я в это время чувствовал. Страшно было? Было! Очень? Очень! Понимал я, на что иду? Вполне! И я шел на это? Шел! Позвольте, значит, я тогда герой?»

От этой последней робкой и неясной мысли он, сам того не замечая, покраснел до испарины и, рассердившись на себя, пошел на мостик, по-отцовски пригибая голову к плечу.

7. ПИСЬМА И ВСТРЕЧИ

А теперь все осталось позади. И еще один бой — длинный, трудный, и похороны Мордвинова, короткие похороны моряка в море, под унылый свист осеннего морского

ветра, и слово, которое сказал на похоронах артиллерист Калугин, и покрасневшие глаза, и плавающие мины, и шторм, после которого Ладынин проснал подряд в своей каюте целиком полных два часа да еще тридцать две минуты, и туманы, и подлодка — все это позади.

Теперь уже скоро будет душ, теперь БЧ-V подберет и отпустит пресной воды для душа, теперь скоро вместо сухарей будет свежий, пушистый хлеб и сто граммов, что причитаются за каждый день боевого похода, так хорошо будет выпить после бани, перед настоящим, спокойным сном, а выспавшись, так прекрасно будет надеть с особым пилом отутюженные выходные брюки, начистить ботинки и медленно, не торопясь, солидно выйти на пирс, оглядеться с улыбкой, — этак, черт подери, немного даже пренебрежительно — и пойти по твердой земле, по скалистой тропочке в сопки и еще дальше — туда, где можно присесть на корточки и, не сходя с места, набить полный рот здешними северными плотными ягодами, а после повалиться, глядя в голубое небо, — вдруг да будет ясный день, вдруг солнышко заиграет, вдруг в самом деле будет светить солнце и ветерок, вечный в здешних местах, заиграет блеклым, как положено бывалому матросу, именно блеклым, гюйсом, рванет гвардейские ленточки бескозырки, солнечный луч ярко сверкнет на орденах, и залюбуется гвардейским матросом встречная девушка, — так залюбуется, что не отведет глаз — застынет...

Теперь все позади.

Скоро Большая земля.

Под свист ветра, под однотонный заунывный шелест дождя слышно, как разговаривают внизу зенитчики. Голоса у них уютные, домашние; удивительно, как умеет русский человек в любой обстановке устроиться, словно у себя дома, как умеет он со вкусом помечтать, поговорить, поделиться самыми сокровенными помыслами...

Тут, на мостике, слышны не все слова, а только отдельные фразы, и не всех собеседников, а некоторых; особенно хорошо Ладынин слышал Артюхова.

— А чего, — говорил Артюхов, — мое слово твердое. Я на ней женюсь. Как война кончится — я женюсь. Сегодня Гитлера кончили, завтра Артюхов женился. Как гвоздь. Вы что, не знаете, какой я человек? Артюхов что сказал, то и сделал. Артюхов — это железный человек. Верно я говорю?

— Верно! — сказал чей-то веселый и насмешливый басок, и Ладынин узнал старшину Говорова. — Это верно, что Артюхов у нас, как гвоздь...

Он что-то еще добавил, видимо очень смешное, потому что все там внизу засмеялись и длинный как жердь сигнальщик Сидельников на ходовом мостике неподалеку от Ладынина тоже хихикнул.

— Но, не кудахтать! — сказал Чижов.

На походе он почти никогда не уходил с мостика, когда же вовсе изнемогал от усталости, то пристраивался на полчаса в нору из овчинного тулупа, которую устраивал себе в рубке ходового мостика, и дремал там чутким, особенным сном.

Сидельников еще хихикнул, уж очень ему было смешно, и смолк, поджав губы.

— Я в нее влюбился с первого взгляда, — продолжал Артюхов, повышая голос, он, видимо, с кем-то спорил, — и я прошу учитывать мои слова. И она тоже. Она всего на девять годов меня старше...

— Бабушка... — радостно сказал Говоров.

Матросы захохотали, и Сидельников, которому ужасно хотелось посмеяться, тихонько взвизгнул, но осекся и замолчал.

— Я ее знаю, — все еще хохоча и через силу говорил внизу старшина, — ей фамилия Рябоконь, она на правое ухо глухая, и нашему Ковжурину она приходится теткою, что нет?

Матросы хохотали все громче и громче, и внезапно Ладынин тоже засмеялся.

— Ну вот, — сказал Чижов. — Чего там они травят?

Старшина Говоров все повторял «как гвоздь», и матросы от этого слова хохотали так весело и заразительно, что Чижов перегнулся через фальшборт и прикрикнул:

— Это что за новости? В чем у вас дело?

— Да вот, — кислым от смеха голосом сказал старшина, — Артюхов вот... женится на бабушке... Рябоконь... тетка...

Больше старшина не мог говорить — он совсем раскис от смеха и только что-то причитал возле пушки, а Чижов вдруг тонко хихикнул и сказал Ладынину:

— Видали? Вот черти, право черти...

Штурман тихонько посвистал в переговорную трубу

и сказал Ладынину, что корабль выходит на траверз маяка, а это означало, что скоро дом.

— Ох, и посплю я, — почти простонал Чижев, — ох, и задам же я хранилицкого!

— Устали?

— Да ведь, командир, дорогой командир, я уж не мальчик, ноют кости. На рыбе мы так не привыкли. Командиры у нас помягче были, чем ваш брат — военный моряк, другие были командиры.

— А я что ж, жесток? — спросил Ладынин. — Покою вам не даю? Заставляю на мостике торчать круглосуточно?

Чижев негромко рассмеялся, взял Ладынина под руку и, заглянув ему в глаза, спросил:

— После войны придете ко мне домой треску в масле кушать, а? Товарищ гвардии старший лейтенант?

— Приду, гвардии лейтенант! — сказал Ладынин.

Швартовались ночью. Была суббота, и недалеко от пирса в предрассветной туманной мгле тихо говорил какие-то слова женский голос, а мужчина отвечал женщине сдержанно и мягко, и матросы на корабле замерли, точно замороженные: женский голос.

— Небось к нашему гвоздю пришла, — сказал старшина Говоров, — бабушка Рябоконе.

Но сейчас никто не засмеялся. Женский голос замолк, а матросы все еще прислушивались — вдруг скажет слово, а вдруг еще запоет.

— Спела бы, гражданочка, — сказал Сидельников, — давно не слышал я женской песни. — Подумал и добавил: — С начала войны. Даю слово. Кроме как в радио и патефон. Но разве ж это голос? Механика одна, а не голос. Пошли, матросы, брить буду.

Потом была большая приборка: совпали и суббота, и окончание большого похода. Командиры, уже бритые, сонные, в трусах, то один, то другой подходили к душевой кабине, чтобы вымыться и наконец лечь спать, а там внутри, за дверью, охал и стонал банным голосом Чижев — никак не выходил, и, если кто, потеряв терпение, дергал дверь, Чижев строго откликнулся:

— В чем дело? В чем, я спрашиваю? Прошу дверь не дергать!

Наконец вышел, пошатываясь — его совсем разморозило, — и сказал начхозу, грозя пальцем:

— Чтобы завтрак был как полагается. Слышите, начхов?

И завтрак действительно был «как полагается». Вместо унылой зеленой клеенки, что лежала на столе весь поход, бы постлана чистая, даже подкрахмаленная скатерть. Все в кают-компании сверкало и блестело — от медяшек на двери до подстаканников на столе. И голоса у командиров сделались совсем другие, отдохнувшие, звучные, сильные. И вид у всех был иной: вместо рабочих кителей надели парадные тужурки, запахло одеколоном, хорошим табаком, свежестью...

Чи-хов сидел приосанившись, посмеивался, покуривал из парадного своего янтарного мундштука. Разговоры шли легкие — будто и не было тяжелого, изнурительного похода, штормов, боев, атак. Опять посмеивались над давешними приключениями штурмана, шутя, предостерегали его от дальнейших таких же приключений, наставляли, где и как надобно себя держать.

Гостей еще не было. Кто придет в гости на маленький военный корабль в девятом часу утра? Вестовой разносил по третиному, а кому и по четвертому стакану чаю. За отдраенными иллюминаторами сыпал частый осенний дождь, постукивал катер, проходя мимо, — там была настоящая поздняя осень...

— Вот она — жизнь моряка, — сказал Чи-жов, вставая, — чего только ни насмотрелись, а вот пришли, и будто ничего с нами никогда нигде не было. Расселись, разговоры разговариваем. Верно, штурман?

Сюда, в кают-компанию, принесли и почту — те письма, которые ждали моряков в базе. И не было человека в кают-компании, который получил бы меньше трех писем, а Хохлов получил двадцать семь и, прежде чем начать читать, долго устанавливал по штемпелям, какое письмо от какого числа.

Читали свои письма командиры больше по своим каютам — дело это было серьезное, глубоко личное, каждому хотелось остаться с письмом наедине: мало ли что там написано. Один Чи-жов остался в кают-компании — сидел возле шахматного столика и вслух читал вестовому Колесникову письмо от девятнадцатилетней племянницы.

— Она у меня артисткой будет, — говорил он, — вот увидишь. Прямо-таки артистка. Поет и танцует и может ногой почти что до самого уха доставать. Чего смеешься?

Ты попробуй вот, достань до своего уха ножищей-то, а я погляжу. От кого письмо получил?

— От девушки, — сказал Колесников, — Ждал-

ждал — и получил.

— Чего пишет?

— Соглашается.

— Чего соглашается? — рассердился Чижев. — Говори толково, ясно, как матросу положено.

— Замуж соглашается идти, — сказал Колесников, — можете меня поздравить, товарищ гвардии лейтенант, всю войну не соглашалась, а сейчас ничего, выразила согласие.

— Поздравляю!

— Есть! — почему-то ответил Колесников.

— «Спасибо» надо отвечать, а не «есть», — сказал Чижев. — Разговор у нас с тобой, Колесников, нынче не служебный, частным порядком разговариваем.

Он про себя принялся перечитывать письмо от племянницы, потом от жены и, моргая, сказал:

— Смотри, пожалуйста! Мой-то орел чуть в бочке не утонул. Тоже моряк будет, а, Колесников?

Ладынин в это время вошел в свою каюту, сел в кресло у стола, аккуратно ножом разрезал конверт и медленно, стараясь сдерживать нетерпение, не пропустить ничего, не заглядывая в конец, очень медленно стал читать Варинины размашистые строчки.

«Мой дорогой Шурик, только мы встретились и минутку даже не проговорили как следует — вновь тебя нет, и опять я одна, и кажется мне, что, может, все это приснилось: и пожар, и как ты окликнул меня, и как я все смотрела и не могла себе представить, что это ты и есть и что ты меня окликнул, нашел.

Но все это потом, а сейчас другое, то, что я тебе не сказала и что должна сказать подробно, как оно случилось и кто тут виноват или вовсе не виноват — уж не знаю, но тебе я должна все написать, чтобы ты все знал и понял меня и чтобы или простил мою ужасную перед тобой вину, или не простил, но чтобы я уж знала, как мне жить, раз навсегда.

Ты даже представить не можешь, как трудно писать мне это письмо. Наверное, говорить об этом было бы легче, но на нет и суда нет, мы не поговорили, а ждать тебя, жить в твоей комнате — среди твоих вещей и книг, встре-

чаться по несколько раз в день с твоим отцом, с братом, видеть твоих знакомых, которые заходят ко мне, точно я совсем вошла в вашу семью, мне трудно, очень трудно.

Шурик, милый мой! Виновата ли я, что девчонкой — а право же, была я тогда совсем девчонкой — влюбилась в него? Помнишь, каким он был тогда? Как умел смешно рассказывать, как хорошо и подолгу играл на рояле, сколько знал разных удивительных историй, как неожиданно приходил из своих морских странствий, сколько видел всего, сколько испытал и как несправедливо, и нехорошо, и нечестно поступила с ним его жена»...

Ладынин отодвинул письмо и закурил папиросу. Нет тяжелее ревности, чем ревность к прошлому, нет чувства более мучительного, беспомощного, беспокойного, неутолимого, чем такая ревность.

Откинув голову, глядя в слепой от дождя и тумана иллюминатор, затягиваясь крепким табачным дымом, Ладынин точно и ясно увидел перед собой этого человека — в черной клеенке, в фуражке с большим лакированным козырьком, увидел, как человек этот пренебрежительно и медленно усмехается, сбрасывая с плеч клеенку, и увидел самого себя тогда, в то время лейтенантом, только что окончившим специальные курсы усовершенствования командного состава, увидел, как стоит он в дверях и, стараясь улыбаться гостеприимно и непринужденно, никак не может улыбнуться, не может принудить себя к улыбке, а все хмурится, и как чувствует, что хмуриться и молчать незачем, что он хозяин дома, что надобно быть веселым, а веселья нет, и возникает тот ужасный, глупый, мальчишеский разговор, который он до сих пор не мог забыть и не мог простить себе, что вмешался и произнес никому не нужную пламенную речь...

И Варя, ах, Варя...

Если бы не видел он в ее глазах осуждения, если бы не видел он, что ей стыдно за него, неловко, что она хочет всем сердцем только одного — чтобы он замолчал, может быть, не наговорил бы он такого вздора, и если бы этот человек...

Вновь увидел он его лицо, снисходительную улыбку, папиросу в узких зубах, насмешливый блеск глаз. И как он потом заговорил сам, какие у него были гладкие, точно

притертые друг к дружке фразы, как умел он не смеяться тому смешному, что рассказывал, как умел, не хвастая, рассказывать о таких вещах, которыми можно похвастаться, и как Варя вдруг сделалась послушной ему и робкой, сделалась послушной чужому человеку и чужой, суровой, сухой для Ладынина.

А ведь еще накануне, день назад, они были вместе у моря, и все было так прекрасно, так отлично...

Да, но это все прошло, давно прошло, и давно уже отболело.

Он усмехнулся: разве может отболеть то, что он чувствовал? Можно заставить себя не думать об этом, но уже если вспомнил — равнодушие и спокойствие сохранить трудно, пожалуй, невозможно.

Стараясь ничего не вспоминать, он вновь взял письмо и принялся за чтение. Прочитал раз и второй раз, стараясь отгадать, любит ли Варя еще этого человека, помнит ли о нем, или, может быть, ненавидит его — это было бы самым тяжелым, самым трудным для Ладынина: если ненавидит, значит, не все еще кончено с тем — он опять представил его себе в черной клеенке, — значит, не раз навсегда отрезала она то, что чувствовала, потому что ведь, когда женщина не любит, тогда она равнодушна — он-то это хорошо знал, — равнодушна и спокойна, совершенно спокойна и абсолютно равнодушна...

Но вдруг он нашел эти же мысли в ее письме и с радостью стал их перечитывать.

«Вот тогда, помнишь тот день и твою речь о любви, о вечной любви, и то, с каким убеждением ты говорил, и то, как В. С. посмеивался с видом превосходства, если бы ты мог представить себе, как я тогда возненавидела тебя. Я не могла слышать самый звук твоего голоса. Дома я плакала от ненависти к тебе, оттого, что ты такой еще мальчишка, такой теленок, так краснеешь и так кричишь, когда никто даже не возражал тебе. И за то, что ты тогда сразу уехал до конца отпуска, из ненависти к тебе, из глупого чувства девчонки я убедила себя, что действительно влюбилась в В. С., пошла с ним в театр, на зависть всем. И как назло, встретила там твоего отца. А В. С. все говорил мне и рассказывал, и мне на душе было горько — мы с ним на лавочке сидели, на набережной, на нашей с тобой лавочке нарочно сели, — это я там села, и вот с этого вечера все и началось. И не

надо думать, Шурик, что я в него в конце концов влюбилась по-настоящему, в него можно влюбиться, ты сам мне это сказал, когда мы только что познакомились, но это прошло месяца через два. Я перестала ходить утормоленной, видеть я его не хотела больше, и морские рассказы его мне надоели, все надоело, и ходила я как потерянная, а ты больше не писал, не писал, не писал,

Какие это трудные были времена!

Сколько я тебе тогда писала, и все рвала, и снова писала, и ничего не отправляла — гордость не позволила ничего отправить, — я ведь твоим словам о верности и о вечной любви не очень верила, думала — книжек читался, вот и болтает, и думала еще, что ты себе другую девушку завел, и так мне страшно было себе это представить: тебя и с тобою кого-то другого!..»

И еще и еще раз прочитал он письмо от строчки до строчки, и вдруг кровь точно бы ударила ему в лицо.

«Любит, — подумал он, — любит меня, а его не любит и не любила никогда. Вздор все это. Да и почему же меня не любить. Да, я скучнее многих других. Но ведь я все понимаю, все. Говорить я не умею и хмурюсь, наверное, часто. Но ведь любит же, любит. А если бы мог я писать, хорошо писать, по-настоящему писать, какое бы я ей письмо написал, как бы рассказал все, про все свои мысли, и ночи, и дни, про то, как я ждал этого дня, как верил и надеялся, как опять потом не верил и все-таки ждал чего-то, и в каждой почте чудилось мне, что вижу я ее письмо, конверт, на котором ее рукой написана моя фамилия, — написать бы ей все это подробно. Большое письмо сейчас напишу, все расскажу ей, пусть ждет, и все будет хорошо, прекрасно».

С бьющимся сердцем вынул он из стола лист бумаги, быстро написал:

«Здравствуй, Варя! — Помедлил секунду и, вздохнув, продолжал: — Очень я обрадовался; получив твоё письмо. Сердечное тебе спасибо, что сразу написала мне. Я, признаться, здорово намучился за эти два с половиной года, пришлось-таки повертеться с личными неполадками. А теперь все хорошо. Так хорошо, что даже и написать не могу. Ты живи спокойно. Эти глупости, о которых пишешь, выбрось из головы — мы никаким опасностям нынче не подвергаемся. Будь здорова, целую тебя, моя Варя».

Перечитал, покрутил головой, подумал: «Что я, писатель?» — и заклеил письмо.

Потом прочитал письмо от отца.

«Я лично только что кое-откуда возвратился. Путешествие мое протекло почти что благополучно, если не считать, что одна все-таки залепила в коробку возле четвертого номера. Ты, наверное, догадываешься как моряк, о чем идет дело. Жалел, что поблизости тебя не было, интересно бы посмотреть на твою посудину и как ты на ней разворачиваешься. Слышал от знакомых людей похвальные про тебя отзывы, чему сердечно рад. Прошу помнить: ты — первый в нашем роду за все триста лет, догадываешься, о чем пишу? Рад был слушать о твоём поступке. Рад, хоть и встревожился, понимаю, почему? Поступок же связан с твоей посудинкой и с коробкой, ради которой ты кое-что сделал, не будем уточнять, что именно. Так и должно поступать. Варваре, разумеется, ни полслова, она сама кое-что прослышала и допрашивала меня с пристрастием, я же ей ничего, смеялся только и довольно натурально, сам потом на себя удивился — артист, да и все, ничего не скажешь. Из своего путешествия кое-чего доставил — сходил с пользой. В четвертом номере повреждений серьезных не случилось, но была угроза и кое-что, связанное с пожарными командами, догадываешься? Боюсь, что ничего ты не поймешь из моего письма. Живем мы хорошо. Я нынче отдыхаю после рейса. Варвара взялась за хозяйство, и, должен тебе сообщить, холостяцкое наше житьишко совершенно переменилось. И постираны, и заштопаны, и Бориска с Блохиным более похожи на сыновей капитана Ладынина, нежели на беспризорников и малолетних бичкомеров. В отношении питания тоже внесены значительные улучшения. Проклятая старуха Глафира несколько присмирела и теперь не кричит на меня так, как позволяла себе кричать раньше. Чувствует, старая ведьма, что песенка ее спета. Но Варвара ее жалеет и еще недостаточно резко заострила перед ней все вопросы. Будь здоров. Остаюсь любящий тебя твой отец капитан Федор Ладынин».

Последнее письмо было от Бориски и Блохина.

Едва распечатав конверт, Ладынин улыбнулся: от письма осталось всего несколько строчек.

«Привет, товарищ Ладынин. Мы с Блохиным решили побаловать вас письмом. Как поживаете? Слышали кое-

что про ваши дела и дни. Надеемся, что и дальше будете «так держать». У нас нового ничего нет. Ваша Варвара очень нас мучает, чтобы мы мыли уши, а вчера сама стригла неряхе Блохину ногти. Но она ничего, с ней еще можно ужиться. У нас опять...»

Потом была фраза: «А у нас хоть бы что». В заключение сохранился рассказ о том, как Бориска и Блохин набрали глушеной рыбы, как Варя наварила ухи и как все семейство два дня ело уху. Кончалось письмо просьбой:

«Если про тебя, мой достоуважаемый старший брат, будет что-нибудь напечатано в газете, прошу прислать на наш адрес. Нам с Блохиным пригодится, а тебе ни к чему. Прими наш привет и наши пожелания не иметь головокружения от успехов. Твой единоутробный Борис и Блохин».

Посмеиваясь, Ладынин написал ответы, запечатал письма и хотел было взяться за книгу, но в дверь сильно постучали, и вошел очень возбужденный Чижов.

— Ощущение явилось! — сказал он, моргая и сердясь. — Товарищ командир, чего делать?

— Какое ощущение?

— Да тип этот в очках! — сказал Чижов. — Он уже знает про торпеду, сейчас у меня в каюте сидит, мои личные фотографии смотрит, письма я ему от жены читал, он чего-то записывает, товарищ командир, к вам хочет зайти.

У Ладынина лицо стало напряженным.

— Вы же меня знаете, — сказал он, — что же я? Я этого ничего не могу.

— Он говорит, что должен.

— Нет, не могу, — с отчаянием в голосе сказал Ладынин. — Не могу, и все тут. Какой из меня рассказчик. Пусть вот с вахтенным командиром поговорит, с сигнальщиком, с рулевым. А я не могу. И неловко это как-то.

— Его природа подвига интересуется, — жалким голосом сказал Чижов. — Его не столько самый факт, сколько природа подвига. Он мне так и выразился — природа.

Оба они — помощник и командир — отчаянными глазами смотрели друг на друга.

— Нет, не могу, — решительно и сухо сказал Ладынин. — Никак не могу. Если бы дело шло о военной технике там, о том, что мы среди себя говорим, — это так-

сяк. А насчет ощущения—это я не могу. Я все, конечно, понимаю, но не могу. Только вы вежливо, прошу вас, скажите: мол, командир, допустим, отдыхает. И извинитесь. Он ведь не виноват, что мы тут этикие поднабрались. И пусть с Говоровым побеседует. Старшина ему все расскажет. Хорошо будет, прекрасно. А?

Чижев ушел.

А Ладынин вновь вынул из стола Вариного письмо и стал перечитывать, счастливо улыбаясь и покуривая папиросу.

К вечеру дождь прекратился, вышло солнце и черные, мокрые скалы внезапно сделались багряно-золотыми. На влажных еще досках пирса матросы играли в волейбол, радио передавало вальсы, и возле корабля было оживленно и весело, шумно и людно. Откуда-то взялись девушки в жакетах, в вязаных кофточках. И едва кончился дождь, сразу же начались танцы под музыку из репродукторов, под крики чаек, метавшихся над водой, под шутки и смех моряков.

— Матрос везде развернется, — говорил вестовой Колесников, танцую то с одной девушкой, то с другой. — Вы даже не поверите, гражданочка, что такое жизнь моряка. Именно, как сказал поэт: сегодня здесь, а завтра там.

Командиры в парадных тужурках, а некоторые в щегольских перчатках, выбритые, веселые, прохаживались возле корабля, переговаривались друг с другом, улыбались. В Дом Флота идти было еще рано, сидеть по каютам не хотелось, и вот смотрели на танцы, прогуливались, ждали чего-то праздничного, что несомненно должно было наступить.

Ладынин тоже вышел — постоял, поглядел, покурил.

Старшина Говоров уже успел достать велосипед и показывал желающим всякие невероятные номера — то мчался по пирсу, просунув голову почему-то в велосипедную раму и ногу держа высоко над головой, то управлял ногами, а педали крутил руками, то вдруг, вцепившись зубами в седло и изогнувшись наподобие огромного кота, мчался, дико виляя велосипедом и выкрикивая при этом хриплым голосом в седло:

— Э-э-э!

— Вот дает, — сказал Чижев. — Видите, товарищ командир. Я думаю, что в конце концов свалится-таки в воду.

— А вдруг еще и не свалится? — сказал Ладынин. — Мало ли что, всякое бывает.

— Нет, свалится, — убежденно ответил Чижев. — Я его знаю. Он еще как следует не распалялся. Вот погодите, войдет в раж, тогда увидите. Он обязательно свалится и велосипед сломает. Какой это чудак ему машину дал?

— Поломает — починит, — сказал Ладынин. — Я его тоже знаю. Он за время войны два велосипеда изломал и два починил. Помните? Пускай ездит, матроса в таких делах трогать не надо. Когда еще дорвется.

Возле командира Говоров резко затормозил, соскочил с машины, потом сказал:

— Кончится война, буду стараться на велосипедные гонки от нашего флота попасть. Увлекаюсь, товарищ командир, этим делом. На корабле тренироваться никак нельзя только.

Подошел штатский в кепочке, владелец велосипеда, о чем-то умоляя, увел Говорова.

— Нет, теперь уж поздно, — сказал Чижев. — Теперь он впился в велосипед. Так как? Пойдем, товарищ командир?

— Пойдем, что ж...

Медленно по пирсу они дошли до тропочки и кружным путем, чтобы прогуляться, отправились в Дом Флота.

В самом конце пирса стоял какой-то грустный ботишко. На палубе на табуретке играл патефон, и два краснофлотца с кислыми лицами ждали, — может быть, и сюда, к ним, придут потанцевать, но никто не уходил от гвардейцев, и краснофлотцы мрачно поплевывали в воду.

— Не заманивайте, не заманивайте! — сказал им Чижев. — Не отбивайте у наших народ.

Один краснофлотец сказал, вздохнув:

— Как же, заманишь от гвардейцев!

А другой добавил:

— Мы для себя музыку поставили, товарищ гвардии лейтенант, отдыхаем культурненько.

— А, ну на здоровье...

В Доме Флота был большой концерт, и Чижову все решительно нравилось. С детским простодушием он аплодировал каждому номеру программы, и только когда какой-то артист слишком долго читал вслух стихотворение, Чижев рассердился на секунду и шепотом сказал:

— Что ж он, танцевать не может, что ли? Походил бы тогда на голове,

— Он чтец!— сказал Ладынин.

Чижев искоса сердито посмотрел на командира, и Ладынин понял, что Чижев отлично разбирается в том, кто чтец, а кто танцор, — просто не хочется ему слушать сейчас художественное чтение, вот и все. Потом, фыркнув, Чижев сказал:

— Как в школе. Сейчас еще арифметика начнется.

Но арифметика не началась, а на сцену вышел фокусник в короткой курточке, и Чижев мгновенно весело ожил. Фокусник действительно был очень хороший, и фокусы были непонятные и удивительные, Чижев все пытался отгадать, как это фокусник хитрит, даже кричал порою: «В рукав, в рукав», или: «За ворот спрятал», или что-нибудь в этом роде, ни разу не отгадал и в антракте разговаривал с каким-то усатым майором о работе фокусников.

После концерта Ладынин и Чижев одернули перед зеркалом тужурки, поправили галстуки и пошли за билетами в клуб начсостава, или, как говорилось тут, на третий этаж.

Вежливый и весьма корректный капитан с кем-то разговаривал, когда они вошли к нему в кабинет, и оба командира удивились странной фразе, которую услышали:

— Там мой бюст стоит, — сказал собеседник начальника клуба, — мне даже смешно об этом говорить. Мой бюст. Лично мой.

Начальник вручил билет владельцу бюста, и тот ушел, немного подергиваясь и скашивая глаза на Ладынина, Ладынин представился. Начальник клуба коротко, но с любопытством взглянув на Ладынина и протянул ему билеты, сказав бархатым баритоном:

— Очень приятно познакомиться. Вы тот самый Ладынин?

Ладынин покраснел, не зная, что ответить, и ответил слегка раздраженно:

— Нет, я другой Ладынин!

«Теперь начнется, — думал он, поднимаясь наверх, туда, где играла музыка. — Теперь меня будут спрашивать, тот ли я Ладынин, как будто бы любой честный человек мог поступить иначе, чем я, и как будто бы, если

я тот, то на меня следует смотреть иначе, чем если бы я был не тот».

— А что это там за лейтенант с бюстом? — спросил Чижев. — Чего-то я не понял, Александр Федорович. Какой у него может быть бюст?

У них спросили билеты, и они вошли в ярко освещенный коридор, в котором было много командиров, прогуливающихся парами или просто стоявших маленькими толпами. Здесь совсем уж громко играла музыка, и из раскрытой двери доносилось сухое постукивание шаров. Чижев даже замедлил шаги у бильярдной и мгновенно выяснил, какая тут очередь и на когда можно рассчитывать сыграть партию.

Чем дальше они продвигались по коридору и потом по комнате с диванами и с лампами в виде матовых круглых шаров, тем больше попадалось им знакомых лиц: тут были несколько знаменитых на всю страну Героев Советского Союза — подводников, были летчики, портреты которых часто появлялись на страницах газет и журналов, были артиллеристы, и среди них Ладынин сразу же увидел Ивашкина — мужа Ольги Андреевны, который что-то сейчас рассказывал, весело и громко смеясь и поглядывая на своих товарищей артиллеристов карими озорными, блестящими глазами.

«Ничего еще не знает! — решил Ладынин, издали здороваясь с ним. — Ничего она ему не написала. Вот история!»

Ивашкин радостно кивнул ему своей круглой, ежиком стриженной головой, и тотчас же все артиллеристы, которые были с Ивашкиным, обернулись к Ладынину и стали его рассматривать. Но это продолжалось всего несколько секунд. Ивашкин что-то им сказал, и они вновь заговорили между собой, а Ивашкин помахал Ладынину рукой, как бы давая ему знать, что они еще встретятся тут и поговорят обязательно.

В «зеленом» зале танцевали. Оттуда в дверь лились звуки музыки и доносилось шарканье ног. Народу тут было очень много, и Ладынину приходилось протискиваться меж командиров и девушек, многие из которых были тоже во флотской форме — военврачи или лейтенанты административной службы. Тут Ладынин и встретил Корнева, который стоял с какой-то девушкой, очень хоро-

шенкой, очень беленькой, очень молоденькой, порозовевшей от танца, который только что окончился.

Корнев — высокий, красивый, настоящий моряк с виду — встретил Ладынина как истинного и старого друга, даже положил ему руку на плечо и слегка потряс, будто был в восторге, что они тут увиделись и будто своим появлением Ладынин доставил ему радость и счастье.

— Вот это так удивил, — говорил он, — вот это молодец! Когда прибыл? Да что ты так смотришь? Давай знакомься — Верушка, боевая моя подруга. Знакомься, Верушка, это Ладынин — гвардии старший лейтенант, тот, про которого давеча рассказывали, помнишь? Везет человеку — мог дело сделать, не то, что мы, грешные... — И, взяв одной рукой Ладынина за локоть, а другой полубняв свободно и непринужденно Верушку, Корнев пошел в зал со столиками, покрытыми белыми скатертями, туда, где ужинали и пили чай. Чижов, как-то внезапно погрузнев, шел сзади.

В зале все столики были заняты, только один, угловой, был свободен — за ним сидел тот лейтенант административной службы, что давеча говорил насчет бюста, и делал Корневу какие-то знаки руками.

— Заводной парень, — сказал про него Корнев Ладынину. — Будет рад с тобой познакомиться. Бюсты лепит. Сейчас моей персоной занимается. Артистически работает. Толковый человек, только нервный немного...

Уходить было уже неловко, и Ладынин, тоскуя в душе о погубленном вечере, сел против Корнева, рядом со скульптором, и закурил корневскую толстую, красивую папиросу.

— Из военфлотторга вынул, — сказал Корнев. — Дал им сегодня жизни. У меня, брат, все есть, и вот Верушку кое-чем обеспечил. Знаешь, им много не надо. Духов, да одеколон, да пудры. Верно, Верушка? А там у начальника я задал страху, будь покоен. Для того, говорю, мы каждодневно жизнью рискуем, чтобы вы тут прохлаждались и преспокойненько жир нагуливали? Мы в море бьемся, воюем, нас никакая погода не держит, а вы... — Он на секунду запнулся, заметил выражение брезгливости на лице Ладынина, но тотчас же свернул на другую тему, а потом сразу же стал рассказывать о том, как давеча он сбил два самолета-бомбардировщика, которые норовили сбросить бомбы на его корабль.

Лейтенант-скульптор молча, слегка высунув язык, зарисовал профиль Корнева в драный блокнот и наконец воскликнул:

— Есть, поймал!

— Чего поймали? — спросил Чижев.

— А, понимаете ли, выражение лица Борькиного. У Борьки есть такое выражение... — Он взглянул на Чижова, покачал головой, и дергаясь, добавил: — Нет, это дело тонкое, сразу не поймешь...

— Да уж где нам, — сказал Чижев. — Мы вот больше насчет щей, как их лантем бы похлебать...

— Ну что ж, — сказал скульптор, — зачем же обижаться... — И, тыкая в блокнот карандашом, он начал что-то объяснять Чижову, у которого в глазах была зеленая тоска.

А Корнев все рассказывал про то, как сбил самолеты, и распался с каждой секундой, потому что видел по Ладынину, как тот не верит ни единому его слову и не возражает только потому, что считает весь разговор тут ненужным и неуместным. Невысоко подняв свою стопку, Корнев сказал тихим голосом:

— За твой подвиг, Саша!

Потом Корнев посоветовал своему скульптору вылепить бюст Ладынина.

— Вещь будет, — говорил он. — Ты меня, товарищ свободный художник, слушайся — не пожалеешь. Я ведь плохому небось не научу. Далеко пойдет Ладынин, да вон уже куда пошел, а у тебя будет полный комплект его наружности. Ты вот фотографии сначала снимаешь для последующей работенки, и фотографии пригодятся. Зарисовки там делаешь, этюды разные с него рисуешь — и этюды пригодятся. Выпей с ним, Ладынин! Эх, Верунчик, хорош народ моряки, а ? Одобряешь?

Водка ударила скульптору в голову, на щеках его выступил румянец, глаза заблестали. Дергаясь, он говорил все громче, потом вдруг стал рассказывать про себя, как его недооценил некий товарищ Гржымайлов и как этот Гржымайлов теперь грызет себе пальцы, как ему, скульптору, подставил ножку некий Севка Макуха и как этот Севка теперь тоже грызет себе пальцы.

Говорил он много и горячо, а Ладынин и Чижев все переглядывались, чтобы встать и уйти, — слушать скульптора надоело, и Корнев со своим враньем тоже надоел.

Хотелось домой, на корабль, выпить по стакану чаю и лечь с книжкой, или поговорить тихими голосами в полутемной кают-компании, или поиграть в шахматы, а потом заняться делами.

Наконец встали, расплатились, вышли. По дороге Ладынин все оглядывался и осматривался — искал глазами Ивашкина, но так его и не нашел. На ступеньках дома в чернильной тьме осенней заполярной ночи расстались. Скульптор хриплым дискантом кого-то еще проклинал и кого-то упрекал в недопонимании основ сохранения предметов скульптуры. С неба моросил унылый, бесконечный дождик.

— Плохо отдохнули, — сказал Чижев, когда они с Ладыниным остались вдвоем, — совсем плохо. И Корнев этот ерунда. И водку зря пили. Пить можно, когда разговор душевный, настоящий. Тогда можно. А так нехорошо. Вот теперь изжога у меня, соду надо кушать, а зачем?

Мимо в крошечном мраке кто-то быстро и легко пробежал по доскам.

— Артихов, — узнал Чижев, — опоздать боится. Всегда все до последней секунды. Хорош моряк, ах хорош, И ведь никогда не опоздает, в самую напоследнюю секунду, а явится.

Новость на корабле была одна, и смешная: старшина Говоров свалился-таки на поломанном велосипеде с пирса в воду. Но не только вылез сам, но и достал велосипед, и не только достал велосипед, но и успел его починить.

В каюте у Ладынина сидел Ивашкин, читал у стола книжку рассказов Зощенко и улыбался. Здороваясь с Ладыниным за руку, сказал:

— Я к тебе пришел, думал, может, мне письмо от жинки прихватил. Давно что-то не пишет. Не заходи к ней? — Ладынин молчал. Сердце его тяжело билось в груди. — Тужурка у тебя совсем намокла, — продолжая улыбаться, сказал Ивашкин. — Дождь, что ли, там пошел?

— Да, дождик...

Он вытер лицо, мокрое от дождя, платком и сел на свой кожаный диван, немного приготовиться к тому, что должно было сейчас произойти.

— Ну, как там они живут? — спросил Ивашкин. — У меня с аттестатом была путаница, так тут однажды в финчасти некрасиво получилось...

Продолжая улыбаться, он все же с каким-то беспокойством вглядывался Ладынину в лицо; ему не нравилось, как Ладынин молчит и не смотрит на него и ничего у него не спрашивает.

— Что это ты какой? — спросил он. — Выпил, что ли?

— Выпил немного, — ответил Ладынин.

— На радостях, — сказал Ивашкин, — тебе, конечно, полагается. Мы тут все слышали про твои дела. Хорошо, Шура, очень хорошо. Как полагается. Я тебя специально хотел поздравить с этим твоим поступком. Хорошо, друг! — И он крепко сжал Ладынину ладонь, а Ладынин поднял в эту секунду глаза и сказал, не в силах больше молчать и не умея подготавливать, как полагается в таких случаях:

— Несчастье у тебя дома случилось. Большое несчастье. Потому и писем нет.

— Что ты говоришь?! — бледнея, но все еще сжимая его ладонь, сказал Ивашкин. — Что? Она? Или кто?..

Круглое веселое лицо его внезапно стало совсем серым, и, когда Ладынин рассказал ему все подробности, на лбу Ивашкина вдруг выступили крупные капли пота. Он молчал, потрясенный. Потом сел на диван — ноги не держали его.

Ладынин открыл шкафчик, достал водки, спросил:

— Выпьешь стакан? Говорят, помогает...

Ивашкин помотал головой. Глаза у него смотрели напряженно, рот он крепко сжал. Потом лег на диван, лицом к спинке, подогнул под себя ноги и замер на мгновение. Плечи его содрогнулись. Ладынин вышел из каюты и закрыл за собой дверь. В такие минуты людей надо оставлять в одиночестве. Ладынин знал, что такое война и что такое человеческое горе.

8. НА КОМАНДНОМ ПУНКТЕ

Они встретились возле каменных ступенек, на мокрой от дождя и снега дороге, сверили часы и выяснили, что минут тридцать следовало погулять: было слишком рано.

Решили пройтись по пирсу...

Настроение и у Ладынина, и у комдива, и у других командиров было приподнятое. Уже два дня они ждали этого часа и вот наконец почти дождались. Прогуливаясь, сейчас говорили мало, и только один Корнев все что-то рассказывал и даже показывал руками, как на него напали эти два стервятника, откуда заходил один и откуда шел другой, как один пошел все ниже, ниже и врезался в воду.

— Последнее пике, — говорил Корнев. — Ох, интересно было. Последнее. Ну, у меня комендор Картухин — это, я вам скажу, человек. Так давать, как он дает, — редко кто может давать...

— А вы? — спросил комдив. — Разве вы не можете давать?

— Это в каком же смысле? — спросил Корнев. — Вопросы не понял, товарищ капитан третьего ранга.

— Поняли, — усмехнувшись, сказал комдив, — вы все поняли. Целиком и полностью...

На пирсе было ветрено, вода рябила, опять прошел снежный заряд, дохнул холодом, закрутил снегом, а потом сразу вышло вечернее солнце — и все вокруг заиграло, заблестало, засветилось. Неторопливо к своей базе прошла подлодка.

— Чья? — спросил Ладынин.

— Внимание! — холодным, служебным голосом сказал комдив, и командиры повернулись, отдавая честь.

По пирсу в кожаном реглане шел командующий.

Опять налетел снежный заряд, все вновь покрылось пеленою колючего, жесткого снега. В этой пелене загрозотали оружейные выстрелы.

— Послушайте концерт, — сказал из туманной снежной мглы голос диктора. — Бетховен, «Застольная».

— «Налей, налей бокалы полней», — сказал комдив. — Хорошенькая песня. Четыре выстрела. Ничего себе, разворачиваются подводнички.

— Еще надо, чтобы признали, — сказал Корнев. — Бывает, что и не признают.

— Уже признали, — усмехнулся комдив. — У них дело ясное, летчики видели. Командующий, наверное, уже понес в коробочке, в красненькой, что полагается, там же, на пирсе, и вручит...

Знакомый голос окликнул Ладынина, он пошел на голос и в снежной пелене почти лицом к лицу столкнул-

ся с Ивашкиным. Ивашкин в тулупчике стоял у сходней, внизу постукивал мотором тяжело груженный бот.

— Уходишь? — спросил Ладынин, не зная, что сказать, и вглядываясь в посеревшее за эти дни лицо Ивашкина.

— А чего ж, — сказал Ивашкин, — начальство отпустило. И насчет Ольги разрешение получил — она туда тоже приедет. Ничего, не испугается. Будем с ней вместе воевать. Теперь уже для нее ничего страшного быть не может, ничем ее не испугаешь теперь. Ну, стреляют, подумаешь! А так жить, что ж... Только чтобы жить — это нельзя. Верно говорю?

Они еще покурили, глядя на коричнево-черные запыленные кое-где снегом скалы. Потом расстались, пожав руки, говоря какие-то короткие слова, вроде тех, которыми обмениваются в юности, выходя из школы: «Ну, пока!», или: «До вечера!», или: «Заходи попозже!»

— Ладынин! — крикнул где-то в снежном вихре комдив. — Куда вы пропали, пора!

Затарахтел внизу мотор, Ладынин, еще оглянувшись, пошел к своим. Комдив поджидал его, зажав папиросу крепкими белыми зубами. Остальные командиры шли где-то довольно далеко. Снег валил густо сбоку, и в то же время ярко светило солнце — шуточки Заполярья.

— Ну вот, Ладынин, — сказал комдив, — такие-то дела. Все у нас ничего, да вот Корнев, ах, Корнев. Нехорошо с ним, нехорошо...

Ладынин молчал. В приемной он повесил шинель на круглую вешалку с рогами, обдернул тужурку, растер горящее от снега лицо ладонями и сел в тень, рядом с катерниками, которые шептались и пересмеивались, как школьники. Тут же что-то лихорадочно записывал и шевелил при этом губами сухопарый интендант. Тут же шелестел газетой, порой беспокойно поглядывая кругом, солидный майор. Поодаль стоял у стен в картинно небрежной позе известный на флоте бесстрашием, лихостью и пылкостью характера командир катера-охотника. Было тихо, немного тревожно и торжественно.

Катерники все шептались и пересмеивались, и Ладынин слышал, как они произносили слово «фитиль», который, видимо, ими ожидался, но все-таки они не унывали, а продолжали посмеиваться.

Интендант наконец кончил записывать, спрятал свою

книжку в карман, но тотчас же опять что-то вспомнил и опять вынул книжку, и опять записал, а потом сказал Ладынину:

— Так-то, гвардии старший лейтенант! Вот за вашего брата отдуваюсь. Все порт да порт! А порт что? Порт тоже человек!

Ладынин улыбнулся. Катерники опять зашептали про «фитиль» и опять начали смеяться, прикрывая рты ладонями. Корнев, сидя неподалеку от Ладынина, все покачивал ногой и часто вынимал портсигар, но не закури-вал, а только щелкал портсигарной крышкой до тех пор, пока его не вызвали вместе с комдивом. Тогда он вскочил, уронил свой портсигар, поднял его, толкнув при этом солидного майора, и, причесываясь на ходу, исчез в дверях того кабинета, где принимал контр-адмирал.

Вновь стало тихо в приемной. Только изредка у адъютанта звонил телефон, да катерники все шептались, да майор крикал, шелестя своей газетой. Так прошло минут десять — пятнадцать. Потом дверь быстро растворилась, и на пороге ее показался очень бледный Корнев. Лицо у него дрожало, и Ладынин еще до того, как Корнев начал ему говорить, понял, что произошло.

— Плохо, — подойдя к Ладынину, сказал Корнев и попытался было улыбнуться, заметив, что на него смотрят молодые моряки, но улыбнуться не смог и даже махнул рукой в отчаянии. — Плохо, совсем плохо. Пойдем поговорим... — Он взял Ладынина по своей манере за локоть и пошел с ним на площадку лестницы. Лицо его все еще дрожало. Тут он попытался закурить, поломал несколько спичек, так и не закурив и заговорил, злобно глядя на Ладынина:

— Ничего не признали. Про лодку сказали, что ее вовсе не было. Что я никакой лодки не потопил, что я ввожу в заблуждение своими рапортами. И вообще я даже повторить не могу, что они мне там сказали. Про бомбардировщика... скандал получился, большой скандал, ужасный, ок...

Он задохнулся и в отчаянии поглядел на Ладынина.

— Пост какой-то, будь он трижды неладен, показал, что видел весь бой и видел, как самолеты от нас ушли.

— А вы? — холодея от ужаса, спросил Ладынин. — А вы видели, что самолеты упали в воду?

Корнев моргал, будто не понимая, чего от него хотят.

— Вы же вчера говорили, что видели? — спросил опять Ладынин. — Так как же вы могли видеть, если на самом деле они не упали?

— Но ведь там скалы, — пытаюсь улыбнуться, ответил Корнев. — Я ведь вам еще давеча разъяснял обстановку. Там скалы, самолеты за скалами и пропали. А контр-адмирал и начальник штаба... они ничего не признали, и начальник штаба сказал, что за всю войну первый раз видит такого способного юношу, а потом все время смеялся. Вот так прикрыл глаза рукой и смеялся. Ладынин, что мне делать?

Ладынин молча на него посмотрел.

— Подать рапорт о посылке вас в морскую пехоту, — сказал он не без труда. — Там вы, может быть, загладите это... это... — Он хотел сказать «преступление», но сказал из брезгливой жалости: — Это свое поведение. И когда война кончится, все-таки не так стыдно будет.

— Рядовым?

— И то большая для вас честь, — сказал Ладынин. Ему нестерпимо трудно было разговаривать с Корневым, ужасно хотелось повернуться и уйти.

Но он не ушел, пока не сказал короткими словами все то, что хотел сказать. А Корнев все стоял на площадке и жевал папиросу белыми губами.

В приемной Ладынин встретил катерников, всю группу, которые выходили из кабинета контр-адмирала красные, но веселые, крутили головой, восторженно посмеивались и говорили: «Вот это так да, вот это так штука получилась, а?» И тотчас же туда прошел интендант, за ним майор. А через несколько минут адъютант вызвал Ладынина и его штурмана в ту продолговатую комнату, где принимал контр-адмирал.

Тут на стуле возле стены, неподалеку от контр-адмирала, сидел комдив и разглядывал какую-то карту, а контр-адмирал с начальником штаба чему-то смеялись и переговаривались с комбригом, который стоял спиной к двери, против стола, и тоже смеялся, разглаживая волосы ладонью.

— Товарищ Ладынин? — слегка наклоняясь в сторону, чтобы увидеть вошедшего Ладынина из-за широкой спины комбрига, спросил контр-адмирал и, точно бы продолжая начатый разговор, произнес: — А вот вам совершенно обратное явление в этом же вопросе, разве невер-

но? Садитесь, товарищ Ладынин. И вы, лейтенант, садитесь.

Ладынин сел рядом со штурманом и потушил, чувствуя, что неудержимо краснеет, что вся его кровь кинулась в щеки и что ничего решительно сделать с этим нельзя.

— Ну вот, — посмеиваясь, сказал комбриг, — если бы в бою был таким застенчивым... Чего краснеете-то, Ладынин?

Контр-адмирал, будто не замечая, перешел к делу. Комдив взял у штурмана папку с картами. Начальник штаба, комбриг и контр-адмирал молча выслушали то, что говорил комдив, потом задали несколько вопросов штурману, и наконец очередь дошла до Ладынина. Он отвечал четко, коротко, необыкновенно ясно и в то же время без всякого щегольства точностью. Слушая его, контр-адмирал с каким-то сердечным интересом к нему приглядывался.

— А что вы думаете про ту подлодку врага, которую вы атаковали? — спросил он неожиданно.

Ладынин ответил, что, по его мнению, лодки никакой не было.

— Зачем же вы в таком случае атаковали?

— Считаю, что лучше атаковать ошибочно, нежели, боясь ошибиться, не выйти в атаку и тем самым подставить себя или корабли, охраняемые мною, под торпедный удар.

Контр-адмирал улыбулся в подстриженные усы и взглянул на комдива.

— Засчитывать вам эту лодку не надо? — не то в шутку, не то всерьез спросил он.

Ладынин почти испуганно сказал, что как же ее засчитывать, когда ее вовсе не было.

— Ну, хорошо, — сказал контр-адмирал. — Картина ясная. Ясная картина, комдив?

— Ясная, товарищ контр-адмирал, — произнес комдив.

Несколько секунд все молчали. Потом контр-адмирал пожал Ладынину руку своей большой и горячей ладонью и почти весело сказал:

— Хорошо воюете, гвардии старший лейтенант Ладынин. Как положено гвардейцам. И без лишних слов. Главное, без лишних слов. Идите отдыхайте! И вы, штурман, идите. Хорошо. Отлично. — Когда они совсем было дошли

до двери, контр-адмирал окликнул Ладынина и спросил у него напоследок веселым, смеющимся, явно шутливым голосом: — Так засчитывать вам эту подлодку, Ладынин? Вы хорошо продумали? А? А то еще раскаетесь, рапорт напишете? Ну, идите, идите, отдыхайте...

Была уже совсем ночь, когда они вышли из штаба и спустились на пирс. По-прежнему крутился снег, а порою делалось совсем тихо, и звезды появлялись вдруг в черном небе.

Минут через двадцать подошел катер. А часа через два Ладынин уже пил чай в кают-компании, полуосвещенной, теплой, чистой. Чижев, полуоткрыв рот от внимания, слушал отрывистые слова командира и все доискивался каких-то подробностей. Но подробностей никаких особенных Ладынин сообщить не мог, и Чижев с досадой сказал:

— Один у вас есть недостаток, Александр Федорович. Не выжать из вас слова подробного, никак не выжать. Все у вас ясно, просто, раз-два — и кончено. Вестовой, чаю командиру!

Вестовой принес еще чаю.

— А то, может, поужинаете? — спросил Чижев. — Тресочка-голубушка на ужин, хорошо сегодня приготовили, не то, что прошлый раз, я проследил. Вам оставлено. Не хотите?

Перед сном сыграли в шахматы. И разошлись по своим каютам, очень довольные друг другом.

9. КОРАБЛИ УХОДЯТ В МОРЕ

Дни идут за днями. Свистит осенний ветер над холодным заливом, с воем проносятся снежные заряды, все короче становится день, каменные сопки покрываются снеговым покровом, по утрам на корабле краснофлотцы скалывают лед.

Так наступает зима.

За утренним чаем командиры напряженно слушают радио. Чижев раскладывает карту перед своим стаканом и подолгу рассуждает насчет клещей, обхватов и дальних рейдов в тыл противника. Он полон сложных тактических планов. Выкуривая папиросу за папиросой, он спорит с Тишкиным, и с начхозом, и со штурманом, со всеми, кто так или иначе ему противоречит. Он ни с чем и

ни с кем никогда не соглашается. Только иногда он соглашается с командиром, если, например, Ладынин говорит, что все это чепуха и одна болтовня. Тогда, почесывая лысину, Чижев бормочет:

— Конечно, у нас беседы любительские, каждый по-сильно рассуждает...

По вечерам в кают-компании заводят патефон и подолгу слушают заезженные пластинки, играют в шахматы, разговаривают о прочитанных книгах.

Книг на корабле не очень много, и главный их читатель Тишкин. Говорит он обычно так:

— Читал давеча писателя Гюи де Мопассана...

Или:

— Густав Флобер в романе «Воспитание чувств»...

Или еще:

— Александр Сергеевич Пушкин...

На что почти всегда следует реплика начхоза:

— Ох, и силен доктор образованность свою показать...

Но это все шутки, а иногда заходят и нешуточные, душевные, серьезные разговоры и споры. Разговаривают тут и спорят, как в родном доме, в большой семье. И Ладынин любит помолчать и послушать за стаканом крепкого чая; светлые глаза его смотрят то на одного спорящего, то на другого, и под этим взглядом командира хорошо и легко разговаривать.

Вмешивается Ладынин очень редко, в самых крайних случаях, все знают его молчаливость, но все в то же время уверены, что он слушает с интересом и всегда при этом что-то думает, особенно, по-своему, и никого не собирается грубо одернуть, никогда никого не унизит в глазах товарищей, прекрасно понимая, что такое для командира честь, что такое уважительный спор, что такое спокойствие, корректность, вежливая сдержанность...

На берег командиры ходят редко.

Ладынин не любит «болтания», и все это хорошо знают. Да и некогда болтаться командирам его корабля. Какое там «болтание», когда целый день идут учения — то артиллерийское, то комбинированное, — и воздушная тревога, и лодка противника, и пожарная тревога, и химическая, и заделывается пробойна, и мало ли еще какие бывают учения и какие требования может поставить перед командирами и краснофлотцами такой человек, как Ладынин.

Болтаться некогда, да и устает народ, где ж ему болтаться.

Лечь бы у себя в каюте после всех этих учений, после горячего спора за чайным столом, взять бы книжку и, закулив, почитать, а потом, минуток через десять — пятнадцать, заснуть мертвым сном. Мало ли что будет впереди, мало ли какой будет поход и чего в нем придется хлебнуть.

Ветер становится уже зимним, морозным, ледяным.

Быстро бегут дни ремонта, учений, опробований механизмов, и вот уже уходит Ладынин на катере в штаб и возвращается почью, вызывает к себе Чижова и разговаривает с ним, посмеиваясь глазами, прихлебывая чай, прикидывая новости в уме, высказывая кое-что вслух, не то советуясь, не то решая. Потом решает точно, и голос его звучит твердо, спокойно, уверенно. Так они расходятся спать, а поутру, когда еще совсем темно и когда ревет над заливом настоящий буран, Чижов в тулупчике выходит на мостик и, нажимая соответствующие кнопки, говорит в телефонную трубку своим сипловатым голосом:

— Корабль к походу изготoвить! Корабль к походу изготoвить! Корабль к походу изготoвить!

Грохочут по скользким трапам, по ледяным палубам, всюду, тяжелые матросские сапоги. Высвистывают во тьме заполярной ночи здешние соловьи — дудки. Кто-то выругался быстро и весело, кто-то поскользнулся и шлепнулся, а Чижов все похаживает по мостику, покуривает в белесой, снежной, воющей тьме, прислушивается к шумам своего корабля, посапывает носом, как бы ни было, а засиделись, пора и прогуляться, небось забыли моряки — какое оно море, а оно дает, ох и дает...

Командиры боевых частей один за другим докладывают по телефомам Чижову, что у них и как, а потом он начерно выпивает в кают-компании свой чай, совсем уж начерно, совсем по-походному, без всяких разговоров, без единого почти слова, думает, хмурится, курит длинными, глубокими затяжками и, зайдя к себе, окончательно переодевается на весь поход: валенки с галошами, штаны, принесенные сюда еще с тралового флота, с мирного времени, они еще рыбкой пахнут — той полузабытой жизнью, свитер тоже тех времен — тресочкой отдает, потом полушубок, потом шапка теплая, спичек в кармане четыре коробка, папирос в кармане, четыре пачки, мунд-

штук, трубка, курительная бумага и кисет резиновый, в нем особо ценный табак — номерная махорка, очень помогает от усталости, особый дает «продер» голове, действует магически, когда уже ни папиросы, ни крепкий чай — ничего не помогает. Поначалу хорошо ее заворачивать в виде козьей ножки. А когда и козья ножка перестает действовать — засыпается номерная махорка в трубочку. Тут она себя и оказывает.

На прощание Чижев затягивается ремешком поверх полушубка, еще раз оглядывает каюту — не забыл ли чего — и валкой походкой, цепко расставляя короткие ноги, отправляется на мостик. До окончания похода вряд ли он сюда заглянет больше, чем на несколько минут. Нечего ему тут делать на походе.

А командир только что проснулся. Заложив сильные смуглые руки под голову, он никак не может толком прогнать от себя сон. Ему снилась Варя, снилось, как он входит к себе в комнату, там, в далеком отцовском доме, как она, Варя, с косичками, с дрожащими губами, поднимается, идет ему навстречу, что-то говорит, но он не слышит, что она говорит, не слышит ее слов, ее голоса, а только смотрит на нее и никак не может насмотреться.

Но вот он сел на диване, долю секунды подумал, взглянул на часы и мгновенно встал.

Он одевается быстро, в раз навсегда установленном порядке, быстро полощется у раукомойника, чистит зубы, пробует ладонью — можно ли не бриться, почти залпом выпивает в кают-компаний стакан чаю и поднимается на мостик, где постукивает валенком о валенок Чижев, где застыли уже фигуры сигнальщиков в огромных шубах, где свистит ветер, где с воем мчатся тучи снега.

Негромким голосом Чижев докладывает командиру, что и как происходит в эти секунды на корабле.

— Да, да, — говорит Ладынин, — совершенно верно. Да, да...

Они разговаривают в рубке — тут не так хлещет ветер. Корабль готов к походу. Еще немного времени — минут пятнадцать — двадцать, ровно столько, сколько полагается, и Чижев возьмет телефонную трубку, подмигнет сам себе и заговорит на все палубы, на все корабельные помещения ровным, спокойным, негромким голосом.

— По местам стоять, со швартовых сниматься. По ме-

стам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься.

И начнется другой этап жизни корабля, тот этап, которому подчинено все остальное, то, для чего учения, ремонты, базы, то, для чего принимается боезапас, начнется боевой поход корабля.

— По местам стоять,— говорит Чижев,— со швартовых сниматься. По местам стоять, со швартовых сниматься. По местам стоять...

Едва брезжит холодный, мутный рассвет.

— Отдать кормовой,— командует Чижев в мегафон,— боцман, живее. Пошевеливаться, боцман!

Положив руку в перчатке на обвес холодного мостика, прищурившись, смотрит Ладынин, как отдаются швартовы. Смотрит, молчит. Еще несколько секунд — корабль разворачивается на рейде. Волна ударила в скулу. Мерно задрожала палуба. Иначе запел и засвистал ветер — другой ветер, настоящий ветер, ветер похода.

— Шар на средний,— веселым, хрипловатым голосом командует Чижев.

— Есть, шар на средний!

— Шар на полный!— следует команда.

— Есть, шар на полный.

— Три градуса право...

Лихо и ловко закурил папиросу Чижев. Удивительно он умеет закуривать на мостике в любую штормовую погоду, удивительно вкусно умеет при этом затануться и сказать всем на зависть:

— Ах, и хорош у меня табак, ах, и силен!

А табак у него самый обычный, как у всех, — не хуже, не лучше.

Свистит, поет, воет морской ветер. Зарывается носом в огромную волну корабль. Колокола громкого боя бьют тревогу. Рвет ветер облака, блистает в драных облаках ярко-голубое небо; там, где-то у самой кромки облаков, ходят германские самолеты...

10. ПОДНЯТЬ ФЛАГ

Подолгу и всегда с удовольствием присматривался Ладынин к своему помощнику на походах. Особая, спокойная, уверенная сила никогда не покидала этого не-

большого ростом веселого, попыхивающего папирсой человека.

Вот и сейчас, зажав зубами мундштук, напевает Чижев на свой, им сочиненный, мотив старую поморскую песню — унылую и печальную на самом деле и совершенно залихватскую у Чижова:

Грумант-батюшка грозен,
Крутом льдами окружен
И горами обвышен...

Грумантом поморы называли Шпицберген, и Ладнин, зная, что такое Грумант, спрашивает об этом у Чижова.

— А мне неизвестно, — говорит Чижев, — бабка пела, я и запомнил слова. Грумант так Грумант, наше дело петушиное, прокукарекал, а там хоть и не рассветай.

И, подмигнув сам себе, Чижев берет пеленг на конвоируемый транспорт, а потом, глядя вперед, в бесконечное, бурное, холодное море, вновь начинает напевать:

Грумант-батюшка грозен,
Ох, и сильно грозен и сердит-то, ох...

Холодно. Очень холодно. От ледяного ветра и соленых брызг у сигнальщиков слезятся глаза. Шторм не страшен большому, тяжело груженному транспорту. Но маленькому военному кораблю трудно: с грохотом черные огромные валы обрушиваются на палубы и пенящимися потоками стекают по верхней палубе. Швыряет так, что люди на верхней палубе привязали себя концами, чтобы не снесло за борт. Кое-кто, стыдливо озираясь, травит. Все обмерзло.

Артиллеристы непрерывно отогревают пушки и пулеметы. Небо ясное, самолеты могут появиться в любую минуту, как уже появлялись дважды, и, если появятся, а вооружение не будет в полном порядке, мало ли что может случиться.

А попробуй-ка, поработай на таком ветру, когда корабль бросает из стороны в сторону, точно щепку, когда штормовые леера так обмерзли, что их не охватить рукой, когда лед слоем покрыл верхнюю палубу и слой этот непрерывно, после каждой волны, утолщается...

Полушубки тоже обмерали и сверкают на морозном солнце. Люди кажутся в них, точно бы покрытыми зеркальной броней, сверкающим панцирем; обыкновенные бараньи полушубки превратились в сказочную одежду.

Ладынин тоже обледенел. Чижев с головы до ног покрылся хрустящей коркой.

— Вот в чем наше преимущество перед авиацией, — говорит он. — Самолет при обледенении летать не может, а мы сколько угодно. Сделайте одолжение. Нам не страшен серый волк...

Корабль то вздымается на волну, то рушится вниз, в бездну. Боцман Коровин совсем выбился из сил и ругается последними словами. Вот опять ударом волны сбилось бомбовую тележку, и Коровин с подветренной стороны, хватаясь за что попало, побежал на корму. Туда же за ним пробираются Артюхов и два других краснофлотца.

Через четверть часа боцман докладывает:

— Все в порядке.

Лицо у Коровина разбито. Из переносицы сочится кровь. Руки потрескались и распухли так, что почти не работают. Сердитым голосом Коровин объясняет:

— Как товарищ командир приказал, так и сделал: концами подвязал к поручням кормового мостика, они и пошли. Смогли здорово, а так ничего. Говоров маленько стукнулся. Можно быть свободным?

— Идите!

Боцман уходит. Соленая ледяная вода разъедает трещины на руках, это очень больно, и на ходу боцман забегают к Тишкину, чтобы тот чем-нибудь помазал. Тишкин мажет.

— А внутрь ничего не дадите? — хмуро спрашивает боцман.

Тишкин моргает, делает вид, что вопрос боцмана ему непонятен.

— Валерьянки могу накапать, — говорит он наконец. — Валерьянка — хорошая вещь для нервного человека.

Внезапно корабль кидает так, что Тишкин ударяется затылком о перегородку, а боцман палетаает на него всей тяжестью своего тела. В это мгновение боцман шепчет:

— Ежели бы спиртику. А? Спиртяшки? Колонуть бы, товарищ доктор. Колопувши, оно всегда легче...

Корабль вновь швыряет.

Огромная волна опять обрушивается на полубак, с ревом катится по верхней палубе, клокочет и ценными потоками уходит за борт.

Грумант-то наш и ох как грозен,
И ох как сердит наш батюшка Грумант...

Чижев напевает негромко, а потом сворачивает в рубке козью ножку. Из номерной, прекрасной, крепчайшей махорки. И говорит командиру:

— Не желаете ли, товарищ гвардии старший лейтенант! Прекрасная вещь. Меня лично до самых пяток продергивает. Голову просвежает, греет, бреет, моет — высшего класса курево....

Сюда, на мостик, вестовой Колесников приносит им четвертый уж, с сахаром, горячий чай. Тут он наливает из кувшина по стаканам и, пожелав хорошего аппетита, исчезает. Чай пить на мостике в такой шторм, когда корабль валает из стороны в сторону, очень трудно, но Ладынин и Чижев все-таки пьют, и Чижев при этом бормочет:

— Ай и хорошо! Горячей черта! Ай, разуважил Колесников... — Потом сладким голосом спрашивает: — А что, товарищ командир, если вот в таком безобразии морском — да минка? Этакая, бродячая? Да стукнет? А? Ни к чему тогда наши с вами размышления насчет тресочки покушать в холодке после войны? Как вы считаете...

Огромная волна надвигается на корабль...

Шторм кончился, и море стало совсем тихим, когда сигнальщик Жук доложил, что видит неизвестные корабли. Ладынин взял бинокль и сразу же сам увидел их: они шли строем фронта — один, два, три, потом, через секунду, он увидел четвертый корабль.

— Миноносцы как будто, — сказал Чижев.

Не отрывая глаз от фронта вражеских кораблей, он объявил боевую тревогу и посмотрел на командира, ожидая приказаний.

Сердце Ладынина билось резко, толчками.

Это было мгновенное высшее, необыкновенное, неповторимое и никогда невозвратимое мгновение, которого ждет каждый настоящий военный моряк, мгновение, в которое решаются судьба, честь, победа, мгновение, которое определяет вечную славу или несмываемый позор.

Конечно, они успели бы еще уйти. Они успели бы уйти почти спокойно, и германские эсминцы не стали бы за ними гнаться: транспорт в двенадцать тысяч тонн водоизмещением совершенно устроил бы немцев. Но транспорт ничего не сделает с четырьмя вражескими миноносцами, погибнет вместе с людьми, с ценным грузом, с вооружением, с...

Впрочем, Ладынин так не думал в эти кратчайшие мгновения. Он только представил себе транспорт, даже не взглянув на него. И представил себе, что может выиграть время для того, чтобы транспорт ушел под защиту береговых батарей.

Вот и все.

Сердце билось теперь спокойно, совершенно спокойно.

— Эсминцы типа «Маас», — сказал он ровным голосом и приказал ставить дымовую завесу.

Чижев сдвинул теплую шапку на затылок. Лицо у него сделалось хлопотливо-озорным и сердитым, как всегда в бою. Корабль пабилал ход.

Не отрывая бинокля от глаз, Ладынин смотрел на германские миноносцы: со срезанными трубами, стремительные, темные, низкие, они шли на сближение, рассчитывая без боя расстрелять русский маленький военный корабль и тяжелый транспорт.

Струя черно-серого дыма вырвалась из трубы за спиной Ладынина; он обернулся, посмотрел, как ложится на воду завеса, и, прищурившись, взгляделся в корму — что там с пашками? Но пелена черного дыма из трубы уже закрыла все, что происходило за шкапцами, и он ничего не увидел там и перевел взгляд на транспорт, который тяжело разворачивался, чтобы, как приказал ему Ладынин, уйти под защиту береговых батарей.

— Ничего, успеет, — сказал Чижев, — у него ход хороший, он наддаст...

В это мгновение эсминцы дали первый залп, но дымовая завеса спутала их расчеты, и снаряды разорвались далеко от корабля.

— Перелет! — сказал Чижев. — На вот, выкуси!

Теперь корабль совсем укрылся за дымовой завесой, и Ладынин начал маневрирование. На полубак пробежал артиллерист в кожаном реглане, что-то закричал комендору и быстро исчез.

Палуба под ногами Ладынина вибрировала; механик позвонил по телефону и сказал, что больший ход дать невозможно. Эсминцы дали второй залп, потом еще, и опять без всяких результатов.

— Как там транспорт?

— Уходит, ничего, — сказал Чижев, — он уйдет, мы тут им напортим крови...

В это время корабль начал отстреливаться. Носовое орудие било раз за разом — без пропусков; желто-оранжевое пламя выскакивало из ствола, краснофлотцы вновь заряжали, на секунду появлялся артиллерист, уже без реглана, что-то кричал и убегал к другим пушкам, так до тех пор, пока не содрогнулся весь корабль и не донесся откуда-то издалека длинный воющий крик.

— Попали! — сказал Чижев.

Он перевесился вниз и вбок, чтобы увидеть, куда попали, но не успел — его швырнуло взрывной волной в рубку, он повернулся и встал, как кошка, на ноги, с перекошенным от злобы лицом. Телефонная связь больше не работала, и механик сам прибежал на мостик, чтобы сказать, какие у него повреждения.

— Пластырь подводите! — закричал ему Ладынин. — Пластырь!

— Подводим! — тоже закричал в ответ механик. — Уже подводим, товарищ командир.

— Ну и правильно!

Откуда-то полз едкий рыжий дым, что-то горело, и там, в дыму и пламени, распоряжался обожженный и окровавленный боцман. Туда волокли шланги, кошмы, песок. Носовое орудие после короткого перерыва вновь начало стрелять. Но люди там были уже другие. Ладынин не успел посмотреть, кто. Его внезапно ударило в грудь, он боком налетел на пеленгатор и хотел было выругать рулевого за то, что корабль покатился вправо, но увидел, что рулевого нет вовсе, а потом услышал, что не выговаривает слов, а только хрипит и открывает рот. Тогда он взял за плечо Чижева, показал ему на свой кровавый рот и знаками стал командовать, что и как надо делать.

Но командовать было почти нечем.

Правда, на смену убитому рулевому встал другой, но он ничего не мог делать: с беспомощным бешенством он кричал сквозь грохот боя, что штуртрос перебит, что руль не слушается, что корабль управляться не может.

Потом один за другим поплыли доклады. Разумеется, это не были доклады по всей форме — нередко с ними приходили обожженные, раненые, изувеченные люди, но все они связно говорили то, зачем были посланы.

— В корме пожар... Меры приняты, огонь идет на убыль.

— Антенна оборвана, восстановить невозможно.

— Шлюпки уничтожены артогнем противника.

— Сушилка разбита!

Тяжело дыша, пришел артиллерист, сказал, что посовое орудие больше стрелять не может.

Придерживая ладонью разбитую челюсть, Ладынин вдруг выяснил, что так, не отнимая руки, он может говорить, командовать, и приказал лейтенанту идти на кормовую пушку и стрелять там до последнего.

— Сами стреляйте! — сказал он. — Понимаете? Сами! Живо!

И он даже легонько толкнул артиллериста, чтобы тот шел стрелять, а потом закричал ему вслед:

— Хорошо стреляли! Молодцы! Хорошо!

Горячая кровь лилась по рукаву его куртки. Голова мутилась от нестерпимой боли, но он еще приказывал мертвому боцману, рухнувшему на обвес, — никак не мог понять, что боцман мертвый, что более он ничего не слышит, ничего не понимает, ничего не может выполнить. Потом увидел густой рыжий дым на полубаке и острый, мечевидный язык пламени, увидел обгорелого Тишкина, который тащил куда-то тело механика, и понял, что все кончено.

«Теперь все равно, — с внезапной ясностью понял Ладынин, — теперь кончено. Теперь надо только драться, только драться!»

Он нашел в себе силы снять с мертвого сигнальщика бинокль и посмотреть, где транспорт. Тот был уже очень далеко, теперь он ушел от германских эсминцев, и в бинокль Ладынин видел, как он входит в бухточку, под защиту береговых батарей.

От пламени, которое все разгоралось на полубаке, было жарко, языки огня лизали разрушенную и развороченную рубку. Ладынин хотел повернуться к пламени спиной, но в это мгновение его вновь ударило, швырнуло, и когда он встал, то увидел, что теперь он один тут живой, все остальные умерли — и вахтенный командир, и тот краснофлотец, который подменил рулевого. Он наклонился к Чижову и понял, что тот еще жив, еще шепчет почерневшими губами, силится что-то сказать, или объяснить, или посоветовать.

Зажимая рот, из которого лилась кровь, Ладынин низко наклонился к помощнику, погладил его по щеке и погладил ему голову, как ребенку. Весь живот у Чижова был разворочен, но он, точно не чувствуя боли, сосредоточенно и серьезно смотрел вверх и что-то при этом шептал, укоризненно певеля бровями.

— Умираем, — вдруг громко сказал Чижев, — гвардейцы. Нельзя. Надо.

Ладынин не понимал. Было ясно, что Чижев хочет сказать что-то иное и у него нет сил выговорить это иное и объяснить.

— Надо! — с силой сказал Чижев, глядя вверх. — Вот, командир. Надо!

Он стал задыхаться, беспокойно задвигался, и рука его куда-то показала.

— Надо же! — повторил он. — Надо! Нельзя!

Ладынин повернулся в ту сторону, куда показывал Чижев, и увидел, что флага на гафеле нет. Там осколками все изломано и поповеркано, и об этом-то и говорил, умирая, Чижев.

— Сейчас! — сказал Ладынин. — Сейчас! Сейчас, дорогой мой, сейчас...

Он привстал, повернулся, обжег руку о пламя, которое появилось уже тут, и медленно начал спускаться по трапу, но остановился, пораженный тем, что на мачте появилась фигура краснофлотца. Прошло еще несколько секунд — и новый флаг развернулся на гафеле, а краснофлотец пополз вниз. А может быть, прошли не секунды, а минуты или даже часы — время теперь остановилось для Ладынина. Он шел по развороченной, горящей, исковерканной палубе своего корабля, узнавая мертвых командиров, краснофлотцев, старшин, — какая-то сила вела его

на корму, к живым людям, там еще были живые. И точно — тут он увидел Артюхова и Говорова, которые во-зидлись у пушки, пытаясь выстрелить.

— Кто поднял флаг? — спросил Ладынин.

— Он, — сказал Говоров, укачивая раненую руку и показывая на Артюхова, — полез и сделал.

— Порядок! — сказал Артюхов. — Как гвоздь. Будьте покойны.

— Ничего! — ответил Ладынин. — Ничего, теперь уж скоро, Уже совсем скоро!

Он не знал, что скоро, но старшина и Артюхов поняли его, а потом дали ему бинокль, чтобы он посмотрел, как горит эсминец.

— Вот! — сказал Артюхов. — Дали мы ему маку. Вон они там крутятся. О!

— Нам только надо, — сказал Ладынин, — нам обязательно надо сделать так, чтобы...

Мысли путались в его голове, и он никак не мог до-кончить начатую фразу. Но черный кровотокающий Ар-тюхов понял его, а вслед за ним понял и старшина. Втро-ем они кое-как зарядили орудие, втроем кое-как выстре-лили.

— Все! — сказал Артюхов и рукавом голландки вытер кровь с лица, как вытирают пот. — Выстрел дали, флаг на месте, транспорт наш ушел. Теперь можно покурить. Желаете покурить, гвардии старший лейтенант?

Он наклонился к Ладынину, и его черное, в запекшей-ся крови лицо осветилось яркой и доброй улыбкой. Но Ладынин ничего не мог ему ответить. Все плыло перед ним и качалось. Он хотел спросить, куда делся Говоров, но не смог. Эсминцы вновь начали обстреливать корабль. Все вокруг рвалось, трещало и горело. Ладынин попы-тался еще встать и не смог, но Артюхов обнял его за плечи и поставил.

— Ничего! — сказал Ладынин. — Ничего.

— Покурите! — громко, в самое ухо Ладынину крик-нул Артюхов и поднес к его окровавленным губам тол-стую, крепкую махорочную самокрутку. — Вот так! По-сильнее потяните! Во! Хорошо будет, порядок!

Ноги у Ладынина подгибались, но Артюхов поддер-живал его крепко и любовно, ему почему-то хотелось, чтобы умирающий командир стоял с ним рядом до по-

следней секунды, чтобы они вместе, вдвоем смотрели на далекий суровый каменистый снежный берег — на свою землю, на свое небо, на свое море...

— Ничего! — опять сказал Ладынин. — Ничего.

— Порядок! — ответил ему Артюхов.

Опять разорвался снаряд, и Артюхова не стало возле Ладынина. Непонимающими глазами Ладынин осмотрелся, потом шагнул в сторону и, никого не найдя, упал лицом в горячий, разорванный металл. Его залило кровью, невыносимо болело в боку, и он хотел потрогать свежую рану рукой, но попал не в рану, а во что-то другое и поднес это другое к слепнувшим глазам.

Это были листья, те самые листья, сухие, осенние, которые собрал он на боте, возле родного города.

«А, Варя!» — подумал он с радостью.

И вдруг почувствовал, что боли никакой нет.

Боли не было, и наступила тишина, удивительная тишина, такая, какой не бывает среди живых людей. И он все глубже и глубже уходил в эту тишину, не зная, что корабль горит и погружается посом, что вместе с его жизнью кончается жизнь его корабля.

11. БЫТЬ, КАК ОНИ

Сырым и мозглым весенним вечером тяжелая машина контр-адмирала, разбрызгивая жидкую уличную грязь со снегом и полурастаявшим льдом, остановилась возле дома старика Ладынина.

Контр-адмирал отворил дверцу, вышел на дощатый тротуар и, прищурившись, сдвинув фуражку к затылку, прочитал фамилию домовладельца.

Потом вошел во двор.

Старик Ладынин, в очках, в теплой байковой домашней тужурке и в меховых туфлях, очень постаревший той внезапной старостью, в основе которой всегда лежит огромное горе, долго не понимал, кто стоит перед ним в темной передней, а когда понял, со спокойным достоинством помог контр-адмиралу снять шинель и проводил его в прохладную столовую, где вместе с Анцыферовым топил изразцовую печь,

Контр-адмирал отворил дверцу печки, сел в низенькое кресло, с удовольствием протянув руки к жаркому пламени, потом хрустящим платком вытер усы.

В передней хлопнула дверь, сразу же взволнованно зашептались два голоса.

— Кто это? — спросил контр-адмирал.

— Младший мой сын, — сказал Ладынин, — и его товарищ, усыновленный мною сирота, покойного Блохина сынок, может быть, изволили слышать, штурман Блохин погиб на танкере «Лермонтов».

Контр-адмирал кивнул головой, прислушался к разговору в передней и слегка улыбнулся.

— Полный адмирал! — говорил один голос. — Всегда ты, Блохин, путаешь. Одна звезда — это вице-адмирал, а уже две — это полный. Тут одна, — значит, вице.

— Ну, а контр-адмирал тогда, по-твоему, что носит? — спросил другой голос. — Какая у тебя манера говорить, не зная.

— Ну-ка, идите сюда, полные адмиралы, давайте сюда, тут выясним, что к чему, — сказал контр-адмирал.

Мгновенно в передней наступила тишина, потом что-то упало и разбилось, потом оба голоса зашипели какие-то полусердитые, полуиспуганные слова, и два подростка, багровые от смущения, толкая друг друга, появились на пороге.

— А похож, — сказал контр-адмирал, приглядываясь к Бориске, — глаза те же, взгляд такой же. Рот, подбородок... Да и на вас они тоже очень похожи, товарищ Ладынин.

Старик молчал, грустно улыбаясь.

Потом контр-адмирал немного поговорил с Бориской и с Блохиным, спросил у мальчиков, что за модели кораблей стоят на полочках по стенкам, и Борис, стесняясь, но толково и раздельно рассказал и про лыкоштитый поморский корабль, вырезанный руками Александра, и про казачьий челн, и про модель нефы тринадцатого века, и про модель скандинавского драка с надстройками на носу и на корме для воинов.

Контр-адмирал слушал молча; старик Ладынин по-прежнему грустно улыбался; Анцыферов покуривал в пещку, искоса глядя на Бориску.

— Дай-ка мне лыкоштитый корабль, — сказал контр-адмирал и поставил модель перед собой, на край стола.

Любуясь, поглядел, огладил пальцами крутые бока ладьи и спросил Ладынина, можно ли созвать домашних сюда.

— Да тут почти что все, — сказал старик, — вот только Варя да Глафира. Позови Варвару, Бориска!

Варя пришла тотчас же, в темном платье, очень похудевшая, спокойная. Глафира остановилась возле порога.

— Ну, так, — сказал контр-адмирал, — вся семья в сборе, насколько я понимаю. Добро!

Глаза у него потеплели.

Спокойным жестом он достал из кармана сверток, разорвал тонкую обертку и раскрыл красную коробочку. Потом бережно на ладонь положил мягко сверкнувший орден Отечественной войны первой степени и протянул его через стол старику Ладынину. Губы под усами у старика дрогнули.

— Всымите, товарищ Ладынин, — сказал контр-адмирал, — это орден вашего сына. Пусть он вечно хранится в вашей семье. Вот Борис вырастет и тоже будет хранить орден брата-героя. Берите!

Плача и не замечая слез, текущих из-под очков, старик взял орден, поцеловал его и отвернулся, не в силах больше владеть собой.

Варя быстро вышла из комнаты, бегом пробежала коридор и замерла возле лестницы на антресоли. Тут ее и нашел Бориска.

— Варюша, — сказал он шепотом и взял Варю за руку холодными и дрожащими пальцами, — контр-адмирал спрашивает про тетрадки Шурины. Спрашивает, нельзя ли посмотреть. Они там у тебя? Да? У тебя?

— У меня! — сказала Варя. — Я сейчас, сию минуту. Я быстро!

Прикусив нижнюю губу, она поднялась в ту комнату, в которой когда-то жил Александр, открыла ящик стола и достала оттуда несколько тетрадей, исписанных юным почерком — его почерком. Потом спустилась в столовую и положила тетради на белую скатерть рядом с коробочкой для ордена и моделью поморской ладьи.

— Разрешите посмотреть? — спросил контр-адмирал.

Анцыферов толкнул задумавшегося старика Ладынина, и тот сказал, что пожалуйста, это просто детские

записи Шуры, разные выписки из книжек, размышления...

— Понятно, — рассеянно ответил контр-адмирал, — понятно...

Читая про себя, он переворачивал страницу за страницей — тут были строки и строфы стихов, описание Ленинграда, цитаты из великих флотоводцев, заповеди самому себе, какие-то звонкие, пламенные и юношеские слова, краткие размышления, вновь так и этак подчеркнутые цитаты и опять стихи...

Контр-адмирал прочитал вслух:

— «Ветер дует с моря — здешний, балтийский, не похож на наш северный, а все-таки море. И даже сердце бьется.

Быть верным. Самое главное — быть верным. Верным не тогда, когда легко быть верным, а когда трудно. Когда так трудно, что труднее нельзя. Вот, например, если Вара разлюбит меня...»

Контр-адмирал пропустил несколько строчек.

— Это ничего, — сказала Вара, — тут все можно читать. Читайте, пожалуйста.

Контр-адмирал продолжал:

— «Быть верным всегда, везде, вечно. И в стужу, и в непогоду. И в бою, и в работе. Быть верным своему собственному чувству. Быть верным до конца, до самой последней минуты».

Контр-адмирал читал не торопясь, ровным голосом, сдерживая волнение. Когда глаза его находили место, слишком близко касающееся внутренней жизни Александра, любви его к Варе или еще чего-нибудь в этом роде, он пропускал несколько строчек, и никто, кроме Вари, этого не замечал.

Так он просмотрел одну тетрадку, потом другую, потом еще одну. Старик Ладынин слушал внимательно, почти напряженно. Выражение лица у него сделалось твердым, сидел он прямо, курил глубокими затяжками. Анциферов глядел, не отрываясь, на ладью, что стояла возле тетрадок. У Вари горели щеки. Бориска и Блохин стояли за спиной контр-адмирала, глаза у мальчиков жарко пылали.

Контр-адмирал читал:

— «Говорить и думать только правду, быть честным и прямым. Если любить, то любить так, чтобы умереть за

свою любовь. Не думать о своих удобствах или неудобствах. Во всем быть одинаковым. Это трудно, но я буду таким, иначе не стоит жить».

Когда часы на стене в столовой пробили десять, контр-адмирал поднялся, положил тетрадь на стол и попросил показать ему комнату, в которой жил Александр.

Варя пошла вперед, молча отворила дверь со стеклом, пропустила контр-адмирала и встала у дверного косяка, прижимая руки к груди, тонкая и бледная в своем черном платье.

— Если что понадобится, — сказал контр-адмирал, — прошу меня известить. Может быть, сейчас что-нибудь нужно семье?

Варя покачала головой; она не могла сказать ни слова — слезы душили ее.

— Ну, полно, — теплым и тихим голосом сказал контр-адмирал. — Пойдемте отсюда!

Надев шинель, контр-адмирал попрощался со всеми и вышел в темный двор. По-прежнему лил холодный дождь. В калитке без пальто и без шапки стоял Бориска. Глаза у него светились. Контр-адмирал сначала не узнал его в темноте, а потом сказал:

— Что ты, брат, стоишь? Простудишься! Мало отцу горя?

— Я хочу быть военным моряком, — громко и очень тонко сказал Бориска, — я хочу быть таким, как он. Таким же!

Медленная, грустная улыбка появилась на лице у контр-адмирала. Он погладил Бориску по голове, по мягким, влажным от дождя и снега волосам, посмотрел ему в лицо и сказал:

— Что ж... И будешь моряком. Вот построим мы эсминец, назовем его «Гвардии старший лейтенант Ладунин», и будешь ты служить на новом корабле так же, как служил твой брат. Договорились?

— Договорились! — сжимая руку контр-адмирала холодными пальцами, сказал Бориска.

— Ну и добро!

Контр-адмирал еще провел по Борискиной голове горячей ладонью и сел в машину. Захлопала под крышкой грязь со снегом, красный огонек стоп-сигнала медленно проплыл у ног Бориски.

Зашумел ветер, вновь понесло снег вперемешку с дождем.

Бориска посмотрел вслед уехавшей машине и вошел в теплый дом, в столовую, расставил по местам модели кораблей и сел за стол читать дневники Александра. Варя подошла к нему, села с ним рядом, обняла его за плечо и сказала тихим голосом:

— Давай читать вместе!

— Давай! — согласился Бориска.

Полярное, 1943

АТТЕСТАТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ



дни нынешней войны я командовал дивизионом кораблей, на одном из которых служил инженер-капитан-лейтенант Гаврилов Евгений Александрович. Молодость

моя прошла на Балтике, и я отлично знал не только самого Гаврилова, но и супругу его — Зою Васильевну.

Помню, лет десять назад гулял я у Гаврилова на свадьбе и хорошо помню, что меня еще тогда удивила торжественность, с которой молодые справляли свою запись в отделе регистрации актов гражданского состояния — так, кажется, называлось это самое учреждение. Но мне тогда чрезвычайно понравилась эта торжественность, и взволнованность, и некоторая напряженность. Молодые сделались от всего ими пережитого как бы несколько одеревеневшими, оба улыбались и крепко держали друг друга за руки, точно дети.

Я хорошо помню осенний вечер в Кронштадте, темный, дождливый. Знаете ли, в самой непогоде на Балтике есть некоторая уютность. Я шел тогда со свадьбы по этой непогоде и думал: как это, однако, приятно у них, ладно, серьезно. Действительно, видишь, что событие произошло немаловажное, не так себе, не ерунда, которая сегодня обозначается в отделе брака, а послезавтра в отделе разводов. Тут уж действительно брак. Свадьба. Любось, так сказать, до гробовой доски.

Был я тогда настолько молод, что о гробовых досках еще не задумывался, а тут подумал, и в истинном смысле

слова подумал: понравилась мне свадьба, понравилась молодая, наливка понравилась, которую пили, и фраза эта самая книжная понравилась: «До гробовой доски».

Иду, посвистываю, дождик мне плащ и фуражку мочит, светятся окна в Кронштадте, и настроение у меня отличное: правда, грустное несколько, наверное, я тогда Гаврилову завидовал, но и празднично на сердце — это у меня всегда так, когда очень хороших людей повидаешь.

Пришел домой, на квартиру, сел, помню, за стол и написал толстым канцелярским красным карандашом: «До гробовой доски».

А потом смешно самому стало.

Вскоре после свадьбы Гаврилова перевели на Черноморский флот, и жена его уехала вместе с ним. Обоих супругов я потерял из виду надолго, но сведения до меня о жизни их доходили часто: родился у них мальчик — живет хорошо, родилась девочка — живет хорошо, еще мальчик родился — тоже все нормально. Ну, коли хорошо, так и ладно, о чем тут еще говорить.

Мы переписываемся редко. Друзей много, на всех морях друзья есть, куда ни приедешь — уже бегут: а, здорово, да как, да что, да где тот-то, а что с тем-то. Если со всеми переписываться, то никакой бумаги не хватит. А если с кем-нибудь на выбор — обиды пойдут: этому написал, а мне не написал. Поэтому я взял себе за правило регулярной переписки ни с кем не вести, а если писать, то только по делу. Ну, а так как с Гавриловым у меня никаких дел не было, то и писать мы друг другу не писали. Знали, что живы и что здоровы, — и то ладно.

Как-то, только что мы из похода возвратились — уже это в нынешнюю войну было, в самом начале, стоим в базе, — я в трусах иду из душа к себе в каюту, мечтаю часок поспать, вдруг вижу, знакомый командир стоит в коридоре. Пригляделся — Гаврилов. Обнялись, поцеловались, сели у меня в салоне чай пить. Назначен ко мне в дивизион Гаврилов, и не пойму, доволен или недоволен. Да и вообще не такой он, каким был раньше, — тяжелее словно бы стал, угрюмее, смотрит исподлобья, говорит совсем мало.

Только мы друзей перебрали — кто где, кто жив, а кто погиб, я, естественно, спрашиваю, как дети да Зоя как. Он на меня сбоку посмотрел, руки потер ладонь о ладонь и отвечает:

— Зои нет.
— Как так нет? Что ты такое говоришь?
— То, — отвечает, — и говорю. Нету Зои.
— Где же она? Развелись, что ли? Как это так, чтобы ее не было?

Он опять свое:

— Нет ее, пропала. И дети пропали. Поехала к родственникам в Белоруссию за пять дней до войны. И все.

Я молчу. И он молчит. Есть случаи, когда нечего говорить. И никаких утешительных слов из себя выдавить не могу. Он отвернулся, руки потирает, на меня не смотрит. Я возьми и ляпни:

— Ничего, Евгений, все на свете бывает.

Он оглянулся, и такое у него лицо сделалось, что долго я это его выражение не мог забыть.

— То есть как, — спрашивает, — ничего? Что ты этим хочешь сказать? И что это значит «все бывает»? Я моряк военный и присягу давал, а то бы застрелился, и вся недолга. Мне без нее никакой жизни нет и быть не может. Поэтому больше этот вопрос затрагивать не будем.

Ну, больше и не затрагивали. Конечно, можно тут всякие антимионии развести насчет того, что, дескать, не имеет человек права стреляться, и насчет того, что его политико-моральное состояние на невысоком уровне, затейников там к нему подослать — два притопа, три прихлопа. Все это, разумеется, вадор. И дело здесь вот в той самой штуке, которая мне тогда в голову пришла, когда я у них на свадьбе гулял: до гробовой доски. Зоя это не просто женщина в его жизни была, с которой вышел у него романчик и от которого родились дети, а Зоя эта, с ее курносеньким носом и, на мой взгляд, ничем не выдающейся внешностью, обычная такая, знаете, девушка с Васильевского острова — не то чтобы вовсе брюнетка и не то чтобы шатенка, нос и не греческий и не римский, губы не кораллы, глаза не какие-нибудь там с поволокой и ходит так, немножко с перевалочкой, но столько в ней простоты, ласковости, женственности, такая какая-то у нее улыбка сердечная и такой от нее порядочностью и чистотой веет, что это, конечно, забыть нельзя, если уж повезло тебе на такую жену.

Что говорить, я ей человек мало знакомый и не слишком много ее видел, но эту ночь после разговора с Гавриловым проспал я очень неважно. Это я. Так как же тогда

ему? Что у него там в сердце кипело круглыми сутками? Что он чувствовал? Какие были у него переживания?

Военные люди, моряки, профессия которых — война, не очень-то много беседуют друг с другом о своих переживаниях. Если кто переживает, то лучше его беседами насчет его переживаний не растравлять. Ничего хорошего на моей памяти из таких бесед не происходило. Лучше молчи. Перекипит внутри себя, уляжется у него там, со временем легче станет — так я думал, и решили мы с командиром корабля и с помощником, который, как вам известно, некоторым образом хозяин в кают-компании, решили мы просить командиров при Гаврилове по возможности от разговоров на семейные темы воздержаться. Так и сделали. Ну, они, конечно, с готовностью, народ молодой, сердца открытые, да и несчастье гавриловское всем близко, у всех болит и саднит.

В кают-компании, короче говоря, его ничто не дарапало. А работы инженеру корабельному столько, что досуга у него вовсе никакого не оставалось. Какой досуг у БЧ-V на корабле во время войны? Да еще у нас, на севере? Да еще зимой?

Работником Гаврилов смолоду был первостатейным, и я всегда про него думал хорошо, но полностью оценил только после одной операции, когда безотказные механизмы корабля помогли нам не только выполнить задание командования, но еще нанести серьезный урон противнику.

Флагманский механик после осмотра вышедших из боя кораблей моего дивизиона, помню, покачал своей лысой головой, почмокал языком и объявил:

— Да, командир, отберу я у вас вашего инженера. Это золотой человек. Наградили его или нет?

На следующий день я Гаврилова представил, и почти тотчас же начальство подписало. И тут вот произошла эта самая пакостная история, о которой даже сейчас противно вспоминать. Очень неприятно, но ничего не поделаешь.

Как раз, когда прислали мне наградной лист гавриловский, находился у меня начфин с каким-то делом, не помню уж с каким. Я при нем выразил радость, что вот-де подписано, награжден наш механик, приятно ему, дескать, будет, что недавно сравнительно к нам прибыл, а мы его работу оценили. Начфин все это выслушал, покивал головой, потом и говорит:

— Одно к одному. И жена молодая, и награждение. Я даже не понял. И отвечаю:

— При чем тут жена молодая? Это ведь Гаврилов, инженер-капитан наш.

Начфин опять кивает.

— Ну да, — говорит, — как же. Именно он.

«Вот тебе и до гробовой доски», — думаю. Даже дыхание у меня перехватило.

— Путаете, — говорю, — вы, лейтенант. Не может этого быть.

А он посмеивается и разъясняет:

— Да что вы, товарищ капитан третьего ранга. Точно я вам докладываю. Давеча заходит инженер-капитан-лейтенант и просит меня, чтобы я его денежный аттестат некой гражданке Антроповой О. Н. перевел. И немедленно. А я, ничего не думавши, просто так, шуточкой, спрашиваю: не женились ли, дескать, Евгений Александрович, тогда поздравляю со вступлением в брак. Представляете себе, товарищ комдив, вдруг он на меня как выщерится. «Какое, — отвечает, — ваше дело! Ну, женился, так что? Ваше дело мое поручение выполнить!» И к двери... А лицо у самого все пошло красными пятнами.

Вот какую историю преподнес мне мой начфин.

Я сам не женат, но, знаете ли, тут просто обомлел. Что ж это, думаю, делается. Ведь Гаврилов даже не знает — жива его Зоя или нет. А если жива?

И когда же он жениться успел? Проездом с флота на фронт? Остановку сделал и женился?

А мы-то, дураки, тут чуткость разводим, туда-сюда, разговоров напустили полный корабль, при Гаврилове о женах не говори, при Гаврилове детей не вспоминай, при Гаврилове то, при Гаврилове сё. Вот, думаю, в тихом омуте черти водятся.

Ужасно было неприятно.

До отворачивания просто.

И не верится, но, с другой стороны, сам же сказал. Я опять у начфина переспрашиваю, он опять мне всю историю в точности пересказывает.

А через день пошло между всеми на корабле:

— Гаврилов женился.

— Успел, когда с Черного к нам ехал.

— Оторвал номер инженер.

А начхоз наш возьми да и спроси:

— Вы что ж, товарищ инженер-капитан-лейтенант, женились и даже нам не рассказали? Разрешите поздравить?

Гаврилов весь вспыхнул и отвечает:

— Поздравляйте, если вам угодно.

Встал и ушел, даже шахматы рассыпал.

Причем все ведь знают, что у него трое детей и жена где-то мучаются. А может быть, и погибают или уже погибли.

Отношение к Гаврилову сразу переменилось. И так вышло, что с награждением его почти никто не поздравил. А он с этого дня в кают-компании совершенно перестал бывать, и если у него часок выдается, то он все у себя в каюте сидит с книжкой, или с таблицами, или еще с чем-то и работает. Сух со всеми до предела, но корректен, ничего сказать нельзя. Ни в Дом Флота, ни в кино — никуда не ходит. Заперся сам в себя и ни с кем в близкие отношения не вступает. А меня это, понимаете ли, злит. Никогда у нас таких историй не было. И решил я с ним объясниться.

Приглашаю к себе, он является.

Спрашиваю:

— Чем объяснить ваше поведение по отношению к вашим товарищам офицерам?

Молчит.

— Не желаете отвечать?

Молчит.

— Вы демонстрируете свое нежелание общаться с коллективом офицеров. Вы, по всей вероятности, обижены на офицеров. В чем дело?

Опустил голову, молчит. Я продолжаю:

— Мне кажется, что вам чувствовать себя обиженным по меньшей мере странно. Вы пожинаете плоды поступка, совершенного вами. Подумайте о том, что я вам сказал, и перемените свое поведение. Так на корабле не живут.

Еще ниже опустил голову. Сам, знаете ли бледный, худой, глаза печальные. Мне его и жалко почему-то, и злость разбирает.

«Эх, — думаю, — Зоя Васильевна, Зоя Васильевна! Вот он, твой-то. Обменял тебя на какую-то Антропову О. Н., и все дела».

И представляется мне эта самая Антропова с перманентом, окрашенным перекисью, и с выщипанными бровями.

А Гаврилов между тем спрашивает!

— Разрешите быть свободным?

Я совершенно вскипел от его тона. Тон сухой, враждебный, гордый. И спрашиваю: глупость, конечно, до сих пор стыдно, как вспомню. Взял и спросил:

— По крайней мере, на ком вы изволили жениться?

Он на меня посмотрел своими спокойными, грустными глазами и, знаете, вдруг усмехнулся. И, ничего не объясняя, вдруг говорит такую фразу:

— Я полагаю, Павел Петрович, что никого весь этот вздор касаться не может.

Представляете? Еще вздором называет.

Неприятный произошел разговор. Я повысил голос, он покраснел. Так, ничего не добившись, я его отпустил. И все осталось по-прежнему.

Работает прекрасно, сам выбрит, спокоен, корректен. Ни с кем ни слова.

Так мы и жили какое-то количество времени.

Пошли мы конвоировать транспорты и наскочили на немцев. Поцелкали их, немного и нам досталось. В горячке боя я не знал, что и как с людьми. Держал я свой флаг не на том корабле, где служил Гаврилов, и только по окончании боя мне доложили, что в числе восьми раненых имеется и инженер-капитан-лейтенант Гаврилов. Ранен он был не очень тяжело, но испытывал, как мне позже сказал врач, тяжкие страдания. Держался же по-прежнему сухо и гордо...

И ведь при всех своих качествах человеческих такая неказистая фигура: нос картошкой, волосы ежиком серенького цвета, да и сам безо всякого внешнего блеска...

Ну, эвакуировали мы своих раненых в госпиталь, говорили немножко в кают-компании про Гаврилова, что все-таки он молодец, несмотря даже на эту свою «штуку», которую он оторвал, а на следующий вечер и произошла эта история.

Выходит к ужину в кают-компанию наш командир корабля Сергей Никандрович, человек уже не первой молодости, спокойный мужчина, и заявляет, что мы все очень виноваты. У самого в руке письмо.

Письмо он читает вслух.

От кого же это письмо? И кому? Оно от О. Н. Антроповой и адресовано командиру части, в которой служит Гаврилов.

Что же написано в этом письме?

В этом письме написано, что Антропова О. Н. жена капитана третьего ранга такого-то, погибшего при выполнении служебного задания, вот уже столько-то времени получает от Гаврилова Е. А. такую-то сумму денег по аттестату. Гаврилова Е. А. она никогда не видела в глаза, но вспоминает, что фамилию Гаврилов она слышала от своего покойного мужа, — они с мужем будто начинали войну вместе. В самом начале войны она, Антропова, взяла к себе мальчика Алика, мать которого погибла, а отец неизвестно где. Алика этого она воспитывает, и вот товарищ Гаврилов присылает ей деньги и ничего не пишет, кроме одной открытки, где было сказано, что пусть деньги идут на мальчика. И больше ничего. Так вот она, Антропова, эта самая, благодарит товарища своего мужа за внимание и за хорошее его сердце и просит командира части, где служит Гаврилов, воздействовать на него в том смысле, что она сама врач — человек, зарабатывающий достаточно, и что она может поднять Алика без этой помощи, которая, наверное, обременительна самому Гаврилову. И никогда она не забудет и пр. и т. д. — все то, что пишут женщины, когда они растроганы, и, главное, она очень счастлива, что может отблагодарить хоть в письме такого начальника, у которого «растут такие офицеры, как Гаврилов».

Представляете себе, что мы все испытывали, когда Сергей Никандрович читал это письмо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разумеется, после всего случившегося я пошел в наш базовый госпиталь, не затем, конечно, чтобы извиняться перед Гавриловым, потому что он и сам достаточно глупо себя вел в этой истории с аттестатом, но затем, чтобы упростить наши с ним отношения, да и не столько мои с ним, сколько его со всей нашей кают-компанией.

Прибыл я в госпиталь, получил разрешение посетить нашего инженера, выдали мне халат-маломерок, и отправился я искать палату двадцать три. Нашел. Лежит мой Гаврилов — тихий, худой, но глаза счастливые. С чего,

думаю, такая перемена? Не может же он знать, что мы от Антроповой письмо получили. И даже если знает, то чему же тут особенно радоваться.

Сижу, рассказываю всякие дела наши корабельные. Но чувствую, что он меня не слушает, думая о чем-то своем. И внезапно говорит:

— Товарищ капитан третьего ранга, Зоя моя нашлась.

— Как, — говорю, — нашлась?

— Да так, — отвечает, — нашлась, и все тут. Мне еще самому толком непонятно, как, но факт таков, что нашлась. И дети нашлись.

Развернул письмо и читает вслух, с выражением. Ну, само собою, очень разволновался. Начали мы говорить с ним вперебивку, как сейчас надобно поступать, куда ее с детьми везти, где устраивать. Она у немцев не была, но болела долго, а потом попала в какой-то эшелон случайный и очутилась в Архангельске...

И опять Гаврилов читает из письма цитаты. Я слушаю и только глазами моргаю. Дело в том, что Зоя к своим трем еще чужих двух детей взяла. Она когда из Белоруссии уезжала, то они там под бомбежку попали, и соседка Зоина, какого-то командира жена, погибла. Вот Зоя и повезла с собою этих двух детей...

В это мое свидание с Гавриловым я ни о чем больше не говорил, никакие детали не уточнял. Он был слишком занят письмом Зои, для того чтобы думать о том, как мы все чувствуем себя перед ним. А мне не очень хотелось возвращаться к нашей общей вине перед Гавриловым.

Наутро ушли мы на обстрел берегов противника, и только дня через три-четыре наступил наконец такой час, когда командиры могли по-настоящему вымыться, побриться, погладиться и в свое удовольствие посидеть за стаканом чаю в кают-компании. Естественно, зашла речь о Гаврилове, о том, что надобно его завтра навестить. Я тут и говорю:

— Кстати, слышали, что он жену нашел? Вернее, она его.

Разумеется, полный переполох и кавардак. Как, да что, да где. Я рассказал что знал. Начфин тоже сидит, слушает, ладошку к уху приставил. И, выслушав, спрашивает:

— Как вы думаете, товарищ комдив, разрешите вашим мнением поинтересоваться, что теперь будет с той

гражданкой, которой он деньги переводил на ее сироту? Ведь как-то неловко будет ему прекратить свою помощь. А?

За столом тихо стало. Все эту историю знают, и всем интересно. Я сижу, думаю. Потом говорю:

— Прекратить придется, потому что своих у него теперь ртов вроде бы шесть штук.

Совсем тихо стало. Я покуриваю, думаю, как же действительно быть. И чувствую, что кто-то на меня неотрывно смотрит. Поднимаю глаза — действительно Татырбек смотрит. Дагестапец он, лейтенант, артиллерист БЧ-П. Молодой и удивительно славный парень, но мучились мы с его характером изрядно. Увлекающийся, темперамент страстный, энергия колоссальная, обламывать приходилось его безжалостно — вводили, так сказать, в рамки и нормативы. Сколько у меня из-за него неприятностей было, словами не передать. Мы для учебных стрельб имеем ограниченное количество снарядов, но не было у нас такого случая, чтобы наш артиллерист на стрельбах уложился в это количество. Каждый раз одно и то же: увлечется, глаза засверкают и хрипит:

— Пускай меня расстреляют, давай еще...

А мы с командиром буквально седеем.

В бою же офицер хоть и горячий, но блистательный. Храбрости абсолютной и безукоризненный, точный, понятливый, гибкий и товарищ к тому же замечательный. Резковат немного и прямодушен, но это всегда в конечном счете на пользу. На бригаде его и любят и уважают.

...Чувствую я, что на меня смотрят, и вижу, что черные глаза нашего Татырбека не просто смотрят на меня, а сверлят, как буравами ввинчиваются. Я улыбнулся и спрашиваю:

— Что, лейтенант?

— Позвольте, — говорит, — товарищ комдив, с вами не согласиться. Не могу, — говорит, — согласиться. Расстреляйте — не соглашусь.

— Зачем же, — отвечаю, — крайности, Татырбек. Не нужны крайности. Не собираюсь я вас расстреливать. Но мотивируйте свое мнение. Я ведь говорю — шесть ртов. Их кормить надо. А вы что можете сказать?

Он молчит, жжет меня своими глазами.

В кают-компании тишина, даже вестовые замерли, не двигаются, забыли и про чай.

— Не могу мотивировать, — отвечает мой лейтенант.
— Почему?

— И неправильное это слово — «мотивировать». Мотив — это музыка. А музыку разве словами изложить можно? Так и здесь, товарищ комдив. Что сердце думает, то голова не решает. Прошу извинения, что глупо говорю.

— Не понимаю, — говорю, — лейтенант, ход ваших мыслей. Нейсно мне, куда вы гнете. Может ли Гаврилов оставить без помощи свою семью?

Говорю я это, а сам догадываюсь, что хочет сказать Татырбек. Припираю его, так сказать, к стене. Пусть до конца выскажется.

Вижу, многие на своих местах ерзают. И доктор наш корабельный, и младший штурман Витечка. Ерзать-то ерзают, а сказать неловко. Отрубил все-таки Татырбек.

— Прошу, — говорит, — разрешения, товарищ комдив и товарищ командир, перевести свой аттестат семье нашего общего товарища Гаврилова. Я холостой, никому помогать не должен.

Сказал и весь потом покрылся.

Доктор за ним:

— Я тоже холостой, а поскольку жена Гаврилова взяла двоих детей и поднимает их, считаю своим нравственным долгом...

Он у нас — доктор наш — любил такие слова подпунсать...

Еще не кончил, как Витечка взялся:

— В таком случае я ничем не хуже, и если вопрос так поставлен, то можно его и заострить...

Этот с комсомольской работы в училище пошел.

Я всех выслушал, перекинулся несколькими словами с командиром, и решили мы... разрешить всем трем перевести их денежные аттестаты семье Гаврилова. Не полностью, конечно, процентов по двадцать пять — тридцать, не больше, но все-таки разрешили, потому что не разрешить было нельзя. Здесь дело шло, конечно, не о деньгах, а о гораздо большем, чем деньги. И не понять это мы не могли.

Между тем Гаврилов наш болел, и никак не выписывали его из госпиталя. Мне врач пояснил, что у него «фибули» не гранулировалась и что из-за этой «фибули» он его не выпускает. Впрочем, врач заявил, что это пе-

реходящее и что Гаврилова он скоро выпишет, но не на корабль дивизиона, а в отпуск, чтобы тот мог как следует отдохнуть с семьей, которая будет для него лучше любого санатория.

В одном из своих писем Зоя известила Гаврилова, что некие командиры, фамилии которых ей ничего не говорят, перевели ей свои денежные аттестаты. Тут же следовало перечисление фамилий. Но по тону письма чувствовалось, что Зоя этой историей несколько не удивлена, да и Гаврилов сказал мне об этом без всякой решительно тенденции — просто довел до моего сведения.

Я промолчал, что я мог сказать?

Через несколько дней «фибули» наконец заграничили Гаврилова и Гаврилова выписали из госпиталя, а еще через несколько дней мы провожали его с корабля домой, в отпуск.

День был весенний, погожий, а у нас хоть виноград и ананасы не созревают, и даже далеко не созревают, но если кто к северу пристрастился, то красоту для себя найдет удивительную: скалы, сопки так называемые, в снегу, из-под снега как бы краснеют, бордовые такие тона, все это, большое, крутое, обрывистое, сотворено безо всякой экономии — обширное, и вся обширность каменных громад отражается в воде. Снега под солнцем блестят, бордовые тона так и режут глаза, неба — уймище, и нежный цвет — едва голубеют небеса, ветерок едва ходит, и чайки орут. И корабли! Корабль для человека своего, который в нем понимает, очень красив, а на соответствующем пейзаже — заглядишься. Тут корабли и такие и эдакие: и охотник со свистками да с лихостью швартуется, и катерок бежит, и лидер у стенки показывает свою солидность, что он, дескать, не какой-нибудь такой всякий, он — лидер, одно слово что значит, с ним не шути. Тут же неподалеку и коробочки какие-то дремлют, поколыхиваются, и хоть коробочка маленькая, с самоварной трубой, но и она знает, что по случаю войны причислена к почетному делу, в кубовый цвет окрашена и старается все приличия соблюдать, держать себя в рамках, чтобы над ней матросы с настоящего корабля не смеялись, а уважали в ней ее старательность и трудолюбие...

Вот в такой-то день мы и провожали инженера к его Зое.

Постояли с ним у трапа, пока катер подошел, прице-

пился багром, чемодан ему спустили, а после и Гаврилову помогли сойти. Тут и Татырбек выскочил из каюты, спал он после вахты, и Лева-доктор появился, и еще кое-кто из товарищей наших. И все с подарками. Но какие от нас подарки? Все больше зубная паста да одеколон под названием «Даиси». А Татырбек посылку недавно получил с Черного моря, фрукты, но они все, конечно, сгнили, только груши уцелели — твердые, как из нержавеющей стали, вот Татырбек наш их и притащил.

— Очень, — говорит, — инженер, хорошая вещь. Только варить надо долго, времени не жалеть, и с солью. Соль их разест, они и сварятся. Это сорт такой.

Смеются, конечно.

Проводили Гаврилова, он с катера на поезд, а мы через недели две морем пошли туда же, куда он поехал сушей. Вошли в двинское устье в шесть вечера, а немного позже уже швартовались у Воскресенского причала.

Вечер был, помню, погожий, ясный, небо розовое. Двина едва шелохнет. Хорошо! Командир с помощником командует швартовкой — слушать приятно, матросы вышколены, все у них так и горит в руках — гвардейцы. Ну, с другой стороны народ на горке стоит — смотрит, девушки уже знают, какой корабль швартуется, корабль известный, про нас кое-что в газетах писали — надо показать себя. И показали!

Знаете ли вы это время на военном корабле, когда он после похода и после многих дней войны пришел не на базу, где всех и все знаешь, а пришел в большой портовый город, стал у причала, еще как бы несколько даже отдуваясь от длинного и трудного пути, а матросы и офицеры, толком не проведав, сколько будем стоять и будут ли отпускать в город или списывать на берег, на всякий случай с лихорадочной поспешностью моются, бреются, отпаривают дефицитными утюгами брюки, пришивают подворотнички и в то же время делают такой вид, что они вовсе никуда не собираются, что им совершенно никуда не надо, что это они все затеяли просто из врожденной аккуратности и чистоплотности...

Матросы бреют друг друга, бритвы править и точить ни у кого нет времени, зеркал тоже не хватает, чтобы самим бриться, и вот сидит посредине кубрика некий страдалец, с глазами, полными слез, и от боли только похрюкивает, а тот, кто бреет его, грозитя:

— Вы мне, Хлебный, под руку стонете. Если не нравится, я вас не неволю. Как умею — так и брею. Нас на зенитные автоматы обучали, а на бритвы нас не обучали... Можете, ежели я плох, быть свободным от меня.

— М-м-м, — мычит истязуемый, — так я разве... м-м-м... даже очень хорошо... это у меня просто на коже раздражение.

Утюгов, конечно, не хватает. Возле душевой очередь, и матросы поминутно кричат в иллюминатор:

— Слушайте, вы, мужчина с кочегарки, что вы себе маникюр строите? Тут торпедисты пришли, они слишком нервные, не могут ждать...

Лает и прыгает зараженная общим приподнятым состоянием наша знаменитая на весь фронт дворняга по кличке Долдон, гремит палубный настил под ногами матросов, репродуктор, точно чуя общее настроение, громко и мягко передает вальс, звуки которого несутся и над рекою, и над соседними кораблями, и над причалами...

А на соседних кораблях, преимущественно небольших, вздешней флотилии стоят матросы и завистливо ленивыми голосами переговариваются на наш счет.

У нас лает наш Долдон, отчего крольчонок в кают-компании пятится под кресло, льются из репродуктора звуки вальса и постукивают офицеры костяшками домино. Все уже побрились, и полили вымытые под душем головы одеколоном, и надели на себя все вычищенное и отутюженное, но делают такие лица, как будто бы куда не собираются, а просто вот так будут сидеть и играть в домино, сидеть и играть, и ничего им больше не нужно.

Сергей Никандрович — командир — похаживает по кают-компании, скрипя башмаками, сложив руки за спиною, и, пожав плечами, вдруг спрашивает:

— А вы это чего, собственно, молодые товарищи, вырядились? Товарищ капитан медицинской службы? Вы что это кообеднешнее платье-то надели? Куда собрались?

Лева, несколько порозовев, встает:

— Так, собственно...

— Ничего не собственно...

Сергей Никандрович уже получил семафор насчет распорядка сегодняшнего вечера, но в эти последние минуты перед отпуском офицеров на берег он не может отказать себе в удовольствии поязвить:

— Собрались. Вырядились. А куда? За какими удо-

вольствиями? Нет того, чтобы тихо, мирно на корабле чайку попить да книжечку почитать или в шахматы какую-либо партию Капабланки изобразить...

Я с удовольствием слушаю его ворчливый голос. Сергей Никандрович потомственный моряк, из хорошей морской семьи, и любовь его к кораблю, именно к своему кораблю, к жизни на своем корабле — мне необыкновенно приятна. Я знаю, что в его ворчании есть горечь. Он ревнив, это я замечал не раз, и всегда ревнует своих офицеров к земле и обижается за корабль, когда слишком много народу отправляется гулять.

Наконец команда списывается. Стоя у леера возле своего салона, я смотрю, как люди цепочкой сбегают на пирс и один за другим тают в сумерках белой, весенней ночи. Уходят с куртками, лихо посадив фуражки, натягивая перчатки, офицеры. Низкий женский голос поет по радио:

Хочу любить,
Хочу всегда любить...

— И что думают, и что поют, — сердится за моей спиной Сергей Никандрович.

— А что? — спрашиваю я.

— Дети же слушают, — говорит командир, — безобразно, честное слово...

Потом мы играем в шахматы, потом пьем чай. А попозже я спрашиваю:

— Что, Сергей Никандрович, не сходить ли нам в город, проветриться?

— Проветриться? — пугается командир. — Какой же там ветер, товарищ комдив. Там пыль в трамваях, толкотня, там плюются...

— Да мы недалеко.

— Куда же это недалеко?

— Гаврилова навестим. Он ведь и не знает, что мы пришли. Все-таки зайдём, посмотрим, как все их дети живут.

Гаврилова навестить командир соглашается. И мы решаем завтра после ужина идти в гости. Уже когда я укладываюсь спать, входит Сергей Никандрович с предложением взять с собою завтра Долдона и крольчонка тоже.

— Пускай ребята посмотрят, — говорит он, — им интересно. Долдон — дурак дураком, конечно, но все-таки кроме серости своей может, если очень на него напереть, лапу подать, и голос подает тоже, и вообще... гавкает здорово...

— Ну, а крольчонок?

— А крольчонок просто... естество свое покажет. Может, они крольчат не видели. Капустки при них пожрет...

— Что ж, — говорю, — возьмем и крольчонка. А для Долдона кость возьмем, пускай ребятам покажет, как кости грызет...

Командир вместе со мною посмеялся и ушел спать. А на следующий вечер мы отправились в гости.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

К Зое мы с Сергеем Никандровичем припожаловали так это часу в начале девятого. Сергей Никандрович нес в плетеночке крольчонка нашего корабельного, Пампушку, который, несмотря на свой немолодой возраст, почему-то все числился у нас крольчоном, а я вел на поводу дворнягу Долдона, и мы с командиром, несомненно, представляли собою странное зрелище.

Шли мы долго и путались сначала по какой-то улице имени Выучейского, потом оказались на Петроградском проспекте, где командир едва не сломал себе ногу в колдобине деревянной мостовой, потом по бревнам, которые хлюпали на болоте, свернули еще в переулок и наконец, вместе с нашим бродячим эверинцем, вышли к флигелю на задах большого двора, где и проживала «эвакуированная». Так нам обозначила Зою Васильевну девочка, коловшая полено у самого крыльца.

Семейство Гавриловых мы застали в то время, когда и муж и жена купали своих детей в большом корыте, поставленном на стол. В комнате было жарко и парно, двое вымытых детей сидели валетом в кровати и ели кашу из глиняной мисочки, а двое невымытых сидели так же валетом в другой кровати и ничего не ели, а дрались под одеялом ногами. Крепкий мальчик на толстых ногах стоял в корыте, весь облепленный мыльной пеной, и сердито отплевывался, а над ним трудились Зоя и инженер-капитан-лейтенант. Гаврилов при этом говорил, что ему трудно, так как Петр сейчас скользкий и норовит вы-

пасть, а Зоя отвечала, что очень скоро Петр уже не будет скользким и что потерпеть осталось немного. Появление наше с Долдоном произвело эффект разорвавшейся бомбы. Дети запрыгали в кровати и завизжали. Петр сунулся вперед и только чудом не грохнулся вместе с корытом. Долдон подал голос так, как это он умел делать в открытом море у камбуза, выпрашивая мосол, и поднялась такая веселая и громкая сумятица, что мы даже немного испугались, но тут же выяснили, что сумятица этого типа здесь дело привычное, будничное и что надо только затворить за собой дверь, и тогда вовсе будет хорошо.

Зоя нисколько не была замучена, или зла, или сурово озабочена, как бывают обычно замучены мамыши, имеющие много детей, и не кричала, что «дует», или что «шпарит», или что «застудится», а стояла веселая у своего корыта и скребла Петра мочалкой, причем Петр нисколько не ревел и не выл, а только разевал рот и очень редко издавал короткий, скрипящий звук, обозначающий, что ему приходится довольно-таки туго под крепкой мочалкой и что он рад бы кончить всю эту несколько затянувшуюся историю, но что на нет суда нет, и коли надобно, то он свое отмучается.

Вымытому и прополосканному свежей водой из ковшика Петру надели на голову чепчик и посадили на ту кровать, где сидели вымытые дети. Мы с Гавриловым вынесли корыто и налили в него чистой воды, после чего в чистую воду было пущено следующее дитя. А Петр ел свою кашу, супился и смотрел на Долдона, который подавал Сергею Никандровичу лапу и гавкал таким окаянным голосом, что в стенном шкафчике позвякивали стаканы...

Здесь же по полу бродил Пампушка, подкидывал свой короткий хвостик и вертел носом. Петр смотрел на Пампушку не без интереса, потом, зевая, спросил:

— А он что может?

Сергей Никандрович виновато сказал, что, пожалуй, ничего и не может.

— Глупый? — молвил Петр.

— Да уж вот, брат, каков есть...

После того как дети были вымыты и все после мытья было убрано, Зоя постелила на стол чистую простыню, и вдруг оказался целый ужин, и даже с водочкой, и с

квашеной капустой, и с какой-то необыкновенно вкусной жареной рыбкой. И все это накрывалось и делалось не только легко, но с радостью, точно мы были жданными и дорогими гостями, и в то же время без единого сладкого слова, которое могло быть, казалось бы, произнесено в присутствии командира корабля и командира дивизиона. И Зоя при этом все улыбалась своей милой, открытой улыбкой, и ясные глаза ее так и лучились приветливым, добрым светом. Гаврилов, похаживая по комнате с палочкой, помогал ей подавать и убирать, лазал куда-то, в какую-то темную дыру, за капустой, и все было нам весело, смешно, славно в тот вечер. Долдон прилег под стол и ударил хвостом по столу так, что повалилась пустая бутылка, — смешно, Пампушка попробовал съесть бумажку — тоже смешно. И старшие дети, которые еще не спали и никак не хотели спать, тоже смеялись вместе с нами...

Помню, я спросил:

— Зоя, какие же ваши, а какие...

Опустив глаза, смутившись, она быстро, негромко ответила:

— Это ведь неважно... право... — И еще больше смутилась.

После этого мы с командиром стали ее спрашивать, как ей живется, а она отвечала, улыбаясь глазами, все одно и то же:

— Сейчас очень хорошо. Сейчас прекрасно. Ну, а раньше было иногда, случалось, не очень хорошо. Нет, теперь-то хорошо...

Водочку мы выпили всю до капли, и командир даже подоил бутылочное горлышко и посетовал, что хорошо бы еще по чуть-чутьной, как вдруг нам поставили еще и опять подали капустки, и тертой редьки с луком и с подсолнечным маслом, и картошки, чтобы мы угощались. Понемногу мы все-таки разговорили Зою, и она, сметая пальцами перед собою крошки, ровным голосом, то улыбаясь, то смахивая слезинки с глаз, поведала нам все то, что довелось ей перенести. Я сказал — все — это, конечно, неверно, какое там все, она, разумеется, не рассказала нам и десятой доли пережитого, да ведь, с другой стороны, что тут можно и рассказать?

Рассказывала она долго, и во всем том, что испытала она, взгляд ее умел отыскивать смешное, и, рассказывая

смешное, она забавно морщила нос и смеялась так звонко и весело, что, хоть на ее глазах еще поблескивали слезинки, мы не могли не смеяться и вторили ей так, что дрожала вся комната и Долдон рычал под столом.

Было смешно слушать, какой у нее тут сосед, как он противился ее вселению и говорил, жалуясь, что когда пять человек детей, то это уже не семья, а предприятие, и что его квартира — обычная жилплощадь, а вовсе не помещение под предприятие. Уже после того как она вселилась и прописалась, этот ее сосед все писал жалобы на будто бы самоуправство и пространно в этих жалобах доказывал, что он научный работник или скорее даже будущий научный работник, что он пишет диссертацию, а дети ему все срывают, так как они катаются на дверях, а двери скрипят, и будто бы ему ответили так:

— Видите ли, товарищ, научная работа, конечно, вещь прекрасная, и мы вас всячески в ваших стремлениях поддерживаем, но ведь еще неизвестно, как там ваша диссертация окажется на защите ее. Так что вы научный работник еще в потенции. А дети — штука реальная.

Рассказывая, Зоя наливала нам чай — очень горячий и крепкий, а когда командир посоветовал поберечь заварку и не заваривать еще, Зоя сказала:

— На всю жизнь все равно не напасешься — так уж лучше один раз попить, да в свое удовольствие,

— А потом что вы будете пить?

— Клюкву. Ребята очень любят. И шиповник мне подарили. Вот завтра придете, я шиповник заварю, вы увидите, как вкусно..

Мы сидели долго, очень долго, никак не могли себя заставить подняться и уйти, а когда совсем уже собрались, вдруг разговорился командир. С ним это бывало настолько редко, что я от удивления просто выпучил глаза, а он рассказывал и рассказывал свои морские истории, и было видно, что он рассказывает потому, что ему очень хорошо на душе. Зоя слушала, подперев ладонью щеку, и я видел, как ей интересно все, что касалось нашей жизни, и мне самому тоже захотелось говорить, чтобы она послушала и меня, захотелось рассмешить ее, и я принялся говорить.

В тот вечер у Гавриловых разболтался и я вовсю, а потом мы опять Зою выпрашивали и в заключение разговорили Гаврилова, Посмеиваясь по своей манере, оп

стал нам рассказывать разные штуки про свою жену, а она часто его перебивала, говоря: «Да ну тебя, ну что вздор-то болтать», — или еще что-либо в этом роде; он же, чтобы она не махала на него рукой, прижал ее ладонь своею к скатерти, вернее к простыне, и все рассказывал, как она поднимает ребят...

В начале третьего часа мы встали, и помню, с каким истинным удовольствием я пожал Зоину маленькую шершавую, загрубевшую от тяжелой, не женской работы ручку и как мне приятно было эту руку поцеловать.

А немного разомлевший Сергей Никандрович говорил в это время за моей спиною Гаврилову:

— Да, инженер... очень рад я, очень рад. Ну, поправляйся, Евгений Александрович, да пора тебе и домой. Хотя, впрочем, завидую тебе, да. Очень рад. Но ты все-таки того... корабль есть корабль...

На улице командир спохватился насчет Пампушки, но оба мы пришли к выводу, что его брать нельзя. Тогда Сергей Никандрович решил оставить и Долдона, но я этому решительно воспротивился.

— Жрет много? — спросил командир.

— Еще как...

— Жрет он много... — согласился Сергей Никандрович.

В таком роде мы беседовали на обратном пути, пока вдруг командир не остановился и не взял меня за пуговицу тужурки.

— Послушайте, товарищ комдив, — как бы даже с удивлением заговорил он, — послушайте, а вы заметили? Не пихаются, все чинно спокойно, как в кают-компании. Заметили?

— И не плюются! — сказал я.

— И не плюются, — подтвердил командир. Еще покрутил мне пуговицу и с грустью сказал: — А мое-то время прошло. Кончилось мое время, дорогой комдив. И не замечал я этого, а сегодня заметил. И пожалел.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Теперь оставим ненадолго семью Гавриловых и вернемся к нашему Татырбеку. В эти дни наш Татырбек влюбился. Процесс этот происходит с большинством людей рано или поздно, но обычно это протекает не с такой силой и не

так бурно, как протекала влюбленность у нашего артиллериста.

В некотором роде он ошалел и потерял голову. И сам растерялся до такой степени, что мы с командиром решили — заболел наш Татырбек, надо его лечить, и поделились своими соображениями с доктором нашим корабельным — Левой.

Лева взглянул на нас долгим взглядом и загадочно усмехнулся: будучи близким другом Татырбека, он, несомненно, знал больше, чем мы, но, разумеется, не мог говорить с нами о душевных переживаниях артиллериста.

Работал Татырбек хорошо, лучше, чем прежде, но часто спрашивал — скоро ли мы наконец уйдем из Архангельска, и жаловался, что здесь он не может нормально себя чувствовать.

А мы не уходили. Нам предстоял ремонт.

Однажды Татырбек довольно изрядно выпил, и у меня с ним был крупный разговор. Крупный, крутой и неприятный. Очень неприятно «фитилять» хорошего человека, но иногда без этого не обойтись.

Татырбек молчал, не оправдывался, не говорил лишнего, не мужских слов. Стоял понурившись, а в заключение произнес полную несообразность:

— Прошу направить меня в морскую пехоту. Я искуплю свою вину, товарищ капитан второго ранга. И свой позор я смою кровью.

Иногда, очень волнуясь, он произносил вот такие красивые фразы.

Сергей Никандрович очень рассердился именно на эту фразу. И помощник тоже рассердился.

— Подумаешь, герой! — сказал командир. — В морскую пехоту его направить. Один он такой нашелся. Там люди без всяких проступков дерутся, а он набезобразничал и думает... Что вы думаете? А?

— Я ничего не думаю, — сказал Татырбек, — я очень виноват, товарищ капитан третьего ранга.

Распекли мы его сильно, а через несколько дней наш артиллерист вдруг расцвел и таким стал веселым и счастливым, как никогда раньше. В это самое время Лева — доктор наш — нам и поведал, что Татырбек влюбился и дела его были очень плохи, потому что там еще был какой-то майор войск связи, в том госпитале, где сестрой служила Татырбекова девушка, но теперь все это с май-

ором кончилось, она даже с ним рассорилась и согласилась выйти замуж за Татырбека.

Прежнюю тоску с артиллериста нашего сняло как рукой: он перестал наткаться на мебель, не глядел больше в одну точку, стал ровнее, спокойнее, веселее. И как только было у него свободное время, уходил с корабля, чем, разумеется, сердил Сергея Никандровича.

Мы отремонтировались, ушли, вновь пришли. Весна была в полном разгаре, дни стояли погожие, теплые, солнце грело вовсю, и вот в такой теплый вечер была сыграна свадьба нашего артиллериста. Женился он на маленькой блондиночке, розовой, молчаливой, настоящей поморке. Даже говорила она, цокая, и при этом, когда смеялась, то закрывала рот рукою. Но была из тех, кто за словом в карман не полезет и за себя в случае чего постоит. Когда мы возвращались со свадьбы, то командир говорил:

— Чрезвычайно интересно, что у них родится: север и юг соединились в браке, теперь, товарищ комдив, будем ждать. Я думаю, что черненькое родится. Как, доктор, по-научному — черненькое или беленькое?

Да, тогда смеялись. А потом, когда все это случилось с Татырбеком, странно было, что в тот вечер смеялись...

Хороший был вечер: ясный, совершенно прозрачный воздух, светло, тихо, и каждый звук слышен далеко-далеко. Небо розовое. Двина спокойная, широченная...

Вот так и женился наш Татырбек. Потом мне рассказывали, что на свадьбе Зоя ему сказала, чтобы он взял свой денежный аттестат, потому что это просто глупо. Татырбек ей ответил:

— Пускай ваш муж, дорогая Зочка, свой аттестат возьмет там, где он его держит, тогда я свой возьму. И пускай мне справку представит с печатью. — Захохотал и спросил: — Что? Здорово я вас срезал? А? Невозможно ответить?

Ответить было действительно трудно.

Между тем про Зою я узнавал почти ежедневно, когда мы заходили в Архангельск, какие-либо новости.

Например, я узнал, что Зоя познакомилась с женой нашего комендора Дусей Шняковой в какой-то очереди, когда они стояли за соленой пикшей, и тут же, в очереди, Дуся поведала Зое какие-то свои огорчения. Ей чего-то не давали, что давать должны были несомненно, и Зоя,

которая при всей своей внешней тихости была вовсе не такой уж тихой, научила Дусю, что и как надо делать. Но Дуся была слишком уж тихой, и, когда где-то там у нее спросили пропуск, она испугалась и не пошла выписывать пропуск, а попросту возвратилась домой. Через пару дней Зоя в очереди за подсолнечным маслом еще повстречала Дусю и, узнав, что та испугалась пропуска, рассердилась на нее и велела идти обязательно. А если ей в чем откажут, то пусть Дуся придет к Зое домой, и уж Зоя доведет дело до конца.

Дусе отказали. Вообще дело было темное. Шняков подозревал, что чрезмерно робкая Дуся и не дошла туда, куда шла, а на полпути заробела вовсе и решила сказать Зое, что она не смогла дойти. Кто такая Зоя Васильевна, она, конечно, толком не знала и немножко удивилась, увидев пять человек детей мал мала меньше,

— Ну что ж, — сказала Зоя Васильевна, — я схожу, а вы тут посидите с ребятней.

И пошла. Ходила она долго, часа три, потом возвратилась, велела Дусе ждать еще, накормила свою ораву и убежала дальше. На щеках у нее горели красные пятна, но она была такой же ровной и спокойной, как обычно.

В этот день она дошла до военно-морской прокуратуры. Прокурор, немолодой уже человек, внимательно выслушал Зою и спросил:

— А вы, собственно, кто такая будете?

— Я жена инженер-капитан-лейтенанта Гаврилова,

— Жена? И это ваше основное занятие?

— В данное время — да.

Прокурор покачал седеющей головой, потом еще раз спросил:

— А работать не собираетесь?

— Нет.

— Что ж так? Или это у вас вроде частной практики адвокатской — вот ко мне и пришли. Разве Дуся не могла сама прийти? Не работаете, барыня, а времени хоть отбавляй, нехорошо.

Зое кровь кинулась в лицо,

— Я не могу работать, — молвила она, — потому что у меня пять человек детей, старшему из которых седьмой год. Мне кажется — это достаточно веские причины.

Прокурор молчал и смотрел на Зою удивленными глазами.

— Интересно, — наконец сказал он, — сколько же вам самой годков?

— Двадцать четыре.

— Когда же вы успели...

— А у меня все двойняшки, — не сморгнув, заявила Зоя.

Прокурор наморщил лоб, что-то вспоминая, вспомнил и произнес:

— Вот и врите. Я про вас слышал. Половина ребят у вас чужих.

— Да, — опять-таки, не сморгнув, согласилась Зоя, — два с половиной мои, а другие два с половиной чужие.

— Ну, не сердитесь, — сказал прокурор, — я ошибся немного. Я очень этих дамочек не люблю, которые ходят на торгующую сеть жаловаться. Надоели. А вы дело другое. Так как он вам сказал: у вас одни законы, а у нас другие?

— Совершенно верно.

— Это неправильно он сказал, — произнес прокурор, — неправильно. У нас законы у всех одни — советские. Мы этого грубияна поставим на место, и карточку ей для старухи выпишут.

— Когда выпишут? — спросила Зоя.

— Ну... завтра выпишут.

— Это точно?

— Однако вы... энергичная особа.

— У меня, товарищ майор, как вам известно, — сказала Зоя, — пять ртов. И неэнергичной быть нельзя. Слишком большая роскошь быть неэнергичной.

— И говорите хорошо. Шли бы на юридический.

— Нет, зачем. Я медицинский институт бросила, уж его лучше закончу.

Прокурор покачал головой и на прощание сказал:

— Заходите, коли что. И не сердитесь.

Зоя ушла. А прокурор снял телефонную трубку и таким тоном заговорил с тем «дядечкой», на которого жаловалась Дуся, что «дядечка» сразу же понес Дусе на квартиру нужную ей справку. Самой Дуси не было дома, она еще сидела у Зои, а старая бабка испугалась сердитого «дядечки» и долго его благодарила. Представляете себе удивление и восторг Дуси, когда, возвратясь домой, она обнаружила то, чего так долго не могла добиться.

С этого случая среди матросских жен дивизиона, про-

живающих на Кузнечихе, на Быку, в Соломбале, на Мхах и на проспектах Архангельска, загремела слава Зои Васильевны. Чуть что у кого не ладилось — шли к Зое. Одна услышала, что ее «мужик» гуляет в Мурманске, — к Зое. Другая собралась рожать, но наступила на живого лягушонка и испугалась, и вот уже по ее исчислению запаздывает рожать — к Зое. У третьей налог за дом неправильно высчитали — к Зое. У четвертой ребенок засунул ночью в ухо три копейки — ночью же к Зое.

Зоя, налив в ухо масло, вытаскивала три копейки, насчет лягушки держалась того мнения, что лягушка вреда принести не может, по поводу матроса, который якобы гуляет в Мурманске с «какой-то крашеной халявой», обещала выяснить и действительно написала помощнику по политчасти короткое письмо, нельзя ли воздействовать на парня: дома ребенок, хорошая жена. Как же так? На парня воздействовали. Несколько дней он молчал. Собираясь с мыслями, угрюмо думал в кубрике, потом написал жене письмо, где так себя ругал и так превозносил кротость своей супруги, что матросские жены рыдали навзрыд, слушая, как Зоя с пафосом читала у себя в кухне клятвы и заверения провинившегося мужа, а инвалид старшина Достопамятнов, который тоже изредка навещал Зою, только кричал и изредка говорил:

— От дает ума альбатрос морей. От дает ума...

И нельзя было понять, осуждает Достопамятнов «альбатроса морей» или сочувствует ему.

Зоя читала, матросские жены вытирали слезы, и всем было ясно, что эта маленькая драма военного времени уже кончилась, все были довольны и говорили неумолимой Еле:

— Ты уже напиши ему, Еля.

— Парень вот как переживает...

— Ты его не мучай понапрасну...

И непонятно кричал инвалид Достопамятнов:

— Да уж, переживает...

Еля вытирала концами головного платка красные, заплаканные глаза и говорила:

— Больно надо. Вот еще. Таких-то ласковых полная улица, только посвисти.

А безрукий Достопамятнов говорил, грозя искусственной ладонью, одетой в перчатку:

— Ты брось выламываться, когда люди советуют. Вон чего Зоя Васильевна предполагает, так и выполняй. А не то Жора, знаешь? Пойдет еще раз на танцы, тогда заплачется. Правильно я говорю, Зоя Васильевна?

— Пожалуй, правильно, — сказала Зоя, — написать надо.

— О! — крикнул Достопамятнов. — Я что? Я, брат, старый матрос, знаю, какой чай на клотике пьют. Садись, да пиши Жоре, да сними свою Нону на фотографию, да фотографию пускай она и надпишет сама — папочке от Ноночки, папуся, приезжай к нам. Вот так...

— Ноне два года, — сказала Зоя, — вы, Прохор Эрастович, что-то не то говорите.

— И очень даже то. Я левой рукой каракулями подпишу за Нону, а он там с пылу с жару и не разберет ничего — два года или десять.

Еля опять всхлипнула и опять сказала:

— Больно надо. Провались он.

Потом все вместе писали раскаявшемуся Жоре-альбатору письмо и очень горячились, и Достопамятнов даже обиделся, что его не слушают, и даже пошел было к двери, но его перехватили и послушались. Он опять сел и сказал загадочно:

— То-то! Я знаю такое, чего вам никогда не узнать. Я все прошел и про жизнь имею настоящее понятие.

И полез доставать из печки печеную картошку, которую потом все ели с солью и обсуждали новые дела насчет того, что надо обязательно посадить картошки, и турнепсу, и моркови, и редьки. Хорошо бы капусты тоже и потом ее засолить. А осенью надо всем собираться кучей и ездить за грибами и потом их сушить — очень хорошо. С грибами и картошкой зима будет не тяжела, зиму пережить — там наши с победой придут. Придут с победой, с орденами, вот будет день, когда матросы придут...

Так говорили все, а вдова погибшего старшины Евсеева плакала, отвернувшись к печке, незаметно стирала пальцами слезы со щек и жалась к Зое, которая сидела рядом с ней, поглаживала ее по худенькому плечу и тихо пела вместе со всеми, тихо-тихо, чтобы не разбудить детей.

А всего сильней желаю я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой возвратился ты домой...

Все пели, и, казалось, никто не замечал, как Зоя наклоняется к Лизе Евсеевой и совсем тихо, шепотом, говорит ей:

— Ничего, Лизочка. Ничего. Ты плачь. Плачь и думай: он умер за Родину, героем. За нас за всех умер. Что ж делать, когда такое несчастье. Ты всегда думай только, каким он был героем...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Когда я думаю о секрете, которым обладала Зоя, эта простенькая, круглоглазая русская женщина, то мне почему-то кажется: весь ее секрет заключался в простоте. В том, что она была тем, что она есть от природы, и ничем больше. Все в ней было гармонично, цельно, ясно. Ничего она в себе не придумывала. Она была такая, как все, и вместе с тем она была лучше. У нее было открытое сердце, и к тому же простое сердце. И этому ее открытому и простому сердцу чужие беды и огорчения были так же близки, как свои собственные. И чужим радостям Зоя так же радовалась, как своим. Она умела поплакать вместе с Лизой Евсеевой и умела порадоваться вместе с Елей. Она сердилась, когда обижали Дусю Шнякову, и краснела, если ей лгали, от стыда и неловкости за того, кто это делал.

Она была даже немножко слаба на слезы, и если видела какой-либо очень хороший поступок, то умилялась, и ее круглые детские глаза делались влажными, она хлюпала носом и говорила:

— Вот видите, как хорошо, очень хорошо, да? Правда, как хорошо, просто чудно?

Старшина Достопамятнов рассказал, что когда его наконец назначили капитаном речного парохода «Зверь» и он, старшина, зашел поделиться своей радостью с Зоей, то она вынула из шкафчика заветную четвертинку, которая, он знал это, была предназначена для ремонта пары детских валенок, поставила эту четвертушку на стол, налила по рюмочке и выпила со старшиной за его капитанство и за то, чтобы его «посудина» завоевала первенство и получила переходящий приз. Кстати сказать, все так именно и случилось, инвалид-старшина показал на речном флоте настоящий высокий класс работы и гвардейства своего нисколько не посрамил, мы по-

лучили из пароходства позже большое письмо и вырезку из газеты с портретом Достопамятнова, там все подробно описывалось, как старшина воевал, и как он перешел на речной транспорт, и как его «Зверь» вышел на первенство. Там были подробные причины всему, но сам Достопамятнов сказал мне так:

— Это, товарищ капитан второго ранга, для вас, наверное, смешно, и даже, может, вы подумаете, что это во мне предрассудок сидит, но только у Зои Васильевны счастливая рука. Как она тогда четвертинку выставила и свое слово сказала, я и представил себе все. Потому что до этого я ничего такого не думал вовсе. Я только думал: ну что, бывший старшина второй статьи, ну куда ты теперь годишься? И ни во что слишком красивое не верил. Мечтал только спосно устроиться и нормальным путем идти. А Зоя Васильевна мне тогда и сказала первая насчет **переходящего знамени** и первенства. Вышел я тогда от нее, отправился на пароход и думаю: «А что? А почему не так? Кто над вами, старшина, хозяин? Может быть, я извинюсь, ваша бывшая рука. Может быть, вы, старшина, представляете из себя такой ноль без палочки, что ввиду отсутствия одной руки ваше политикоморальное состояние вовсе низко упало? Или вы гвардеец, хотя и без погон и не совсем по форме одетый?» Вот как я тогда думал, товарищ капитан второго ранга, и смотрите, оказался не ноль без палочки: все довольно нормально у меня обошлось, и я не опозорился нисколько.

И Достопамятнов действительно ни сам не опозорился, ни нас не опозорил.

Люди говорят, что дурная слава вроде бы скачет, а хорошая ползет, или как-то там в этом смысле, что дурное все всегда знают, а хорошее не знают, а ежели и узнают, то очень медленно. В данном случае, то есть в случае с Зоей, это неверно. Дуся Шнякова положила начало Зоинпой популярности, и про Зою многие жены матросов теперь знали и ходили к ней, как будто она была учреждение, со всякими своими нуждами. Иногда она сердилась, но как-то удивительно незлобиво: и сердилась, и смеялась, и ворчала:

— Ну что я — юрист? У меня стирка, мне стирать надо, я сейчас ничего не могу. Вот идите сами туда-то и туда-то...

Бестолковая жена шла и ничего не находила. Тогда

Зоя отправлялась сама. Она очень подружилась с пожилым прокурором, о котором я вам докладывал. Этот прокурор, встречая ее, спрашивал, как двойняшки, и интересовался:

— Ну, какая сегодня кляуза будет? Какую бабу обидели?

Дела были такие, что к прокурору они не имели никакого почти отношения, но майор был опытным человеком, и он помогал Зое советами — куда пойти, да что сказать, да как написать заявление, и, только если Зоя натыкалась на полное равнодушие к своим нуждам, прокурор звонил сам по телефону.

Понемногу у Зои везде завелись знакомые, и всюду теперь ее знали, над ней даже немножко посмеивались, но это ее нисколько не трогало.

У нее были знакомые и в областной детской больнице, на краю города, и в бактериологической лаборатории, и в родильном доме, и в бюро продовольственных карточек, и в морфлоте.

Так побежала хорошая слава Зои.

И уже не только на нашем корабле знали про Зою, знали про нее и на других кораблях дивизиона... И тогда произошла такая история.

Решили матросы того корабля, на котором служил Гаврилов, что надобно помочь Зое Васильевне вскопать по-настоящему огород под картошку: она, Зоя, получила порядочный кусок земли. Но этот корабль по стечению обстоятельств в Архангельск не пошел, а пошел другой. Да если бы даже он и пошел, то не совсем удобно матросам идти и копать огород жене своего офицера. Они это понимали, и Шняков сказал своим друзьям на другом корабле, что получается «петрушка». Дружки подумали, почесали голову и сказали, что с «петрушкой» они совладают. И вот в один прекрасный день начищенные, наглаженные и надраенные матросы как будто невзначай отправились с корабля на ту улицу, где жила Зоя. Достопамятнов их уже поджидал с двумя дюжинами лопат. Матросы повесили на забор бескозырки, поплевали на руки и пошли работать, как работают деревенские ребята, колхозники, здоровяки — один к одному, когда они по несколько лет не возились с землей. По словам капитана парохода «Зверь» Прохора Эрастовича Достопамятнова, они дали Зоиному участку, кстати сказать,

никогда от сотворения мира не паханному, «такой жизни», что не более как за сорок минут все было «опрокинуто на два раза», а через час матросы посадили картошку — «глазки», взятые на камбузе и аккуратно подобранные специалистом этого дела сигнальщиком Носовым.

Зоя ничего этого не видела. Умаявшись после стирки, она спала, а видела Веруха, которая сердилась и говорила матросам:

— Это наш участок. Вот я милиционера позову. Мы здесь картошку сажать будем. Матросы, а что делаете? Дядя Прохор, чего они...

Дядя Прохор посмеивался и говорил:

— Прямо-таки разбойники. Ты погоди, пусть они выйдут, их там за воротами спускает комендантский патруль. Это я все нарочно подстроил...

Неподалеку копался в своей земле Зоин квартирохозяин, научный работник, который мучил ее в свое время. Глядеть, как он копается, было смешно, земли он не знал и не понимал, бил ее пожарной мотыгой, а когда ему понадобилось выкорчевать остатки гнилого пенька, то он тянул эти остатки щипцами для тушения зажигалок.

Матросы об эту пору уже пошабалили и чистили ботинки запасливо принесенной Достопамятным сапожной щеткой, а Жора, тот самый, который когда-то покорил сердце мурманской блондинки и теперь вернулся в семейное лоно, сидел на бревнышке, ковырял спичкой в зубах и говорил научному работнику:

— Что, гражданин, плохо одному ковыряться? Соха да сивка-бурка — вот удел единоличного мужичка. А поскольку у вас и сивки нет и сохи нет, вы страчиваете на свое хозяйство коллективный инвентарь, за что еще со временем огребете фитиля. Это верно я говорю. Щипцы для зажигалок предназначены, а не для вас лично. Верно, Прохор Эрастович?

— Верно, — подтвердил Достопамятный,

— Конечно, верно, А поскольку вы работаете неумело...

— Это не ваше дело, — сказал научный работник, — прошу не соваться.

— Я не суюсь, а говорю, — продолжал Жора, — и этого мне никто запретить не может. Я говорю, что нас здесь, моряков, вон сколько, и если бы вы были настоя-

щий советский интеллигент, научный работник в очках и с бородой, как, например, товарищ Тимирязев, который был допутатом Балтики, то мы бы в полчаса ваш участок вам подняли и у вас была бы сказочная жизнь, а поскольку вы обыватель и Гавриловой устраивали дебоши — мы вот сидим и на вас смотрим, а вы мучаетесь...

Он закурил, пустил носом дым и в заключение произнес:

— Кто посеял ветер, тот пожнет бурю. Вот вы, граждане научный работник, посеяли ветер, а мы вам создали условия собрать бурю. Будьте здоровы!

И матросы, почистившись и сняв свои бескозырки с забора, отправились гулять до «двенадцати ноль-ноль», а Веруха вышла с ними за ворота, чтобы посмотреть на комендантский патруль, который подстроил дядя Прохор, но никакого патруля не было, только один дядя Прохор увозил вдалеке на скрипучей тачке лопаты.

— Чего же вы говорили? — спросила Веруха.

— Я у них, Веруха, зато все лопаты отобрал, — сказал Достопамятников, — теперь будут они знать. Попрыгают.

— Попрыгают?

— Еще как попрыгают.

Веруха обдернула на себе фартучек и отправилась к матери рассказывать ей, как попрыгают матросы за то, что посмели копать мамину землю. Зоя долго ничего не понимала спросонья, потом вскочила и пошла смотреть. За ней пошли смотреть все пятеро, последним плелся Петр, почему-то держа в руке баночку, в которой плавала маленькая толстая рыбка. Петр все время отставал и просил, чтобы его обождали, так как иначе «выплескается рыба».

— Да ты ее поставь, свою рыбу, господи, — сказала Зоя.

— Хитрая какая, — сказал Петр. — Ее тогда кошка съест. Вчера небось съела.

Наконец все дошли до огорода. Зоя постояла над ним и неожиданно для всей своей оравы разрыдалась. Рыдала она громко, закрыв лицо ладонями, и все вокруг при-
смирели, потому что мама никогда так не ревела, а если кто другой так ревел, то она сердилась. А Веруха даже растерялась. Она, конечно, знала наперед, что мама расстроится, но так сильно, чтобы реветь в голос?..

И Веруха сказала:

— Ты, мамочка, зря ревешь. Ты не реви. Ничего. У них дядя Прохор лопаты отобрал, им тоже будет теперь неприятность.

— Да, — подтвердил Петр, — ты не реви. Вон у меня вчера кошка рыбу съела, так я разве ревел?

— Ревел, — сказала Веруха, — выхваляйся. Ты зарева!

И дети стали ссориться, а Зоя стояла над своим огородом и плакала и никак не могла успокоиться.

Это уже осенью было, и мы, несколько выпелов, отправились на выполнение задания, сущность которого в общих чертах сводилась к тому, что мы огнем нашей артиллерии должны были уничтожить их узел сопротивления — и не просто так пострелять и погугать, а именно уничтожить, и уничтожить во что бы то ни стало. От точности, от прицельности, от силы и кучности нашего огня зависело многое в той операции, которая намечалась командованием, и зависело еще одно обстоятельство: наши потери.

Так что мы кроме выполнения задания командования имели еще как бы моральное обязательство. Мы отвечали за потери среди тех наших людей, которые завтра, или послезавтра, или через два дня пойдут вперед и... как бы это поточнее выразиться? Своей кровью и своей жизнью проверят, хорошо мы действовали или лишь формально выполнили задание, совершив тем самым отвратительную подлость.

Позиция наша была в районе, который находился под постоянным воздействием авиации противника и где свободно могли нас атаковать легкие силы немцев. А торпедные катера — оружие грозное, и встреча с ними нас не могла особенно порадовать, разумеется, не потому, что мы боялись боя, а потому, что, привяжись к нам орава катеров, могло случиться так, что задание наше не удалось бы осуществить вообще или не удалось бы осуществить полностью, а последнее было бы равносильно полному невыполнению приказа командования.

В этой операции нам надлежало также принять на борт группу наших людей, которые более года провели в тылу противника, сделали там ряд замечательных дел

и теперь возвращались домой, имея в своем числе и раненых, и обмороженных, и больных, да и вообще это были люди, измученные до крайнего предела, взять которых мы были должны непременно, потому что если бы мы их не взяли, то их бы в том тяжелом состоянии, в котором они находились, противник непременно истребил.

Вышли мы из нашей базы ранним утром — часов в шесть, в чернильной тьме. Дождь лил как из ведра, но море было тихое, а когда рассвело, то картина почти не изменилась. Посерело, но стоял туман с мелким дождем, такой дождь поморы называют бус, а некоторые бусырь, и в прежние, стародавние времена люди на шнеках в такую бусырь, перекликались, чтобы за дождем и туманом не навалить одну шнеку на другую.

Идти было очень трудно, шли самым малым, с выброшенными параванами, опасаясь мин. Мин тут было великое множество, и то, что мы тогда не подорвались, было почти чудом, потому что вперед не видно ничего и возможность маневра по этой причине сужена до крайности. Ну, а воды были уже вражеские, с минными полями, в которых мы если и были ориентированы, то весьма мало.

Но в общем шли, и матросы наши даже пошучивали. Нельзя, конечно, сказать, что никто ничего не боялся, все боялись, в такой обстановке не бояться нельзя, но свое дело каждый исполнял хорошо, даже отлично, все понимали: успех наш и даже жизнь наша почти целиком зависели от каждого из нас.

Так что, несмотря на сложную обстановку, жизнь на корабле шла своим чередом: отстоявшие вахту матросы отправились спать и спали крепко, кое-кто на баке покуривал, потому что не покурить матросу — это, пожалуй, ничем не лучше смерти, кок Пиушкин на своем камбузе жарил для обеда палтуса и переругивался с Долдоном, который третьего дня совершил какую-то небольшую кражу и теперь навсегда был у Пиушкина в подозрении.

А в ленинской каюте два матроса и помощник по политчасти писали стенную газету, и, помню, когда я вошел туда, один из матросов, рисовавший акварелью карикатуру на Гитлера, которого мы якобы нашими выстрелами топим в море, декламировал:

Как будто грома грохотанье,
Тяжелозвонкое скаканье...

На мостике было тоже спокойно. Это прекрасное чувство — верить своим офицерам и в трудные минуты любоваться поведением каждого из этой зеленой еще, но такой великолепной молодежи.

Работают, понимая тебя с полуслова, и даже не с полуслова, а с той секунды, когда ты только еще подумаешь. Посвистишь штурману в переговорную трубку, скажешь:

— Штурман!

А он сразу:

— На мостике!

И, не дожидаясь вопросов, по одной только интонации, с которой его окликнул: «Штурман!» — сейчас тебе докладывает нужные данные.

Стоишь — думаешь, не выходим ли мы к Малому Монаху, и слышишь, как штурман в трубку посвистывает:

— Комдив, через две минуты выходим туда-то и туда-то.

И ни одного лишнего слова, никакой аффектации, никакой кокетливости. Все просто, ясно, четко, все друг друга понимают не только по словам, а даже и без всяких слов.

Вот идем.

Тихо кругом, ход небольшой, так что ветра сильного не чувствуешь, понемножку сыростью тянет, да вода где-то плескается. Впереди стена, сзади только знаешь, что идут твои корабли, но не видишь ничего: тоже стена — белая, мутная.

Авиации никакой, о противнике — ни слуху ни духу, только мин до черта.

Командир капюшон на голову поднял, смотрит из капюшона, и папираса с мундштуком оттуда торчит. Помалкивает, похаживает, никого не дергает. Это тоже великая вещь — уметь людей не дергать. А то ведь можно до того додергать разными там «усилить наблюдение», что до того доусиливаются — и подлодку противника увидят там, где ее нет, и большой флот, где его никогда не было, — что только пожелаете.

Изредка Татырбек промелькнет, он все лазал в свой пост управления огнем. Слазит туда, поколдует там — и опять на свой мостик. Похаживает, и глаза у самого

блестят. Очень он мне нравился, когда боя ждал. Всегда это его веселило, возбуждало, и не было в нем ни тени боязни — весь точно бы открывался, глядел вперед с жадностью, говорил:

— Постараемся сегодня оправдать свой хлеб с маслом, который в кают-компании кушали на завтрак. Правильно говорю, товарищ капитан второго ранга? Как вы считаете?

Великолепно помню я его вот в этот последний день. Помню, как он стоял в своем реглане, воротник чуть приподнят, спереди расстегнуто, и шарф виден вязаный, подарок молодой жены. Фуражка на лоб натянута, и руки в карманах. Весь такой какой-то ладный, знаете, как хороший охотник на охоту собрался — ничего не блестит, но сразу видно — настоящий охотник. Так и Татырбек наш: никаких на нем особенных приспособлений нет, а видно сразу — моряк настоящий.

И покурить просит.

— Какое сегодня число? — помню, спросил у него,

— Четырнадцатое.

— И уже?

— Уже, товарищ комдив!

У него обычно табаку хватало только на первую половину месяца, потому что он всегда всех угощал и везде свой кисет оставлял. А на вторую никогда не хватало, и он как раздавал — просто и легко, так и просил — даже и не просил, а говорил:

— Покурить надо, давайте покурим...

И все его угощали.

Покурили мы с ним тогда, это уже сумерки были, кончался осенний день в море, и вскоре, часа так через два, мы вышли на нашу позицию. Мы теперь шли не строем кильватера, а переменили походный наш ордер и шли иначе. Но все равно, хоть шли иначе, а соседей не видели, туман стоял густой, вязкий, плотный, и мы в нем шли, словно в серой шерстяной вате.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Для корректировки огня дивизиона у нас была подготовлена одна группа людей, но условия создались такие, что на эту группу положиться было трудно. Не потому, что там были плохие люди, совсем нет, но опыт у них в этом деле равнялся нулю или немногим

больше, и нам пришлось этот вопрос уже на ходу перерешать.

Корректировать огонь кораблей надо было с вражеского берега, с наиболее высокой точки этого берега, со скалы Н. Эта скала была наиболее удобным местом для такого дела, но мы не имели сведений — обитаема она или нет. Было бы весьма вероятно, что на таком месте расположен береговой пост противника. В случае если бы там находился береговой пост, мы располагали резервной скалой, поменьше и похуже, но все-таки и она могла бы нам помочь. Назовем ее для удобства, допустим, скалой П.

Для того чтобы попасть на какую-либо из этих скал, надо было на специальном тузике скрытно и очень осторожно подойти к берегу, высадиться там, наладить с нами связь и провести корректировку с максимальной точностью и даже дотошностью...

Но туман...

Какую помощь могла оказать нам корректировка в таком плотном тумане?

Глухо получилось донельзя.

Туман, с одной стороны, помогал скрытности нашего продвижения, надежно прикрывая нас от авиации противника, от его кораблей и береговых постов, а с другой стороны, этот же самый туман лишал нас возможности проверить результаты стрельбы. И выходило так, что результаты нашей работы будут проверять пехотинцы своей кровью.

Нехорошо. И вообще нехорошо, и в оперативном смысле нехорошо, и не по-флотски.

Вот, скажет царица полей, понадеялись на вас, морячки, а вы ничего толком не сделали, только напугали.

Посоветовались мы немного и решили послать на берег Татырбека и Желдакова — главстаршину.

Через несколько минут я уже шел с ним к трапу, возле которого был спущен тузик с необходимым инвентарем — рацией, автоматами, ножами, ракетницей и прочим снаряжением.

— Компас есть? — спросил я Татырбека.

— Есть, комдив, все есть, — с веселой лаской в голосе ответил Татырбек, — не беспокойтесь, пожалуйста. Все постараемся сделать хорошо.

Мы подошли к трапу. Дождь моросил по-прежнему. В двух шагах ничего не было видно, даже лица Татырбека я не мог разглядеть.

— Желдаков здесь, дорогой?

— Есть, — ответил старшина снизу, уже из тузика.

Матросы придержали тузик баграми. В нашем матросе необыкновенно развито чувство внутреннего такта, я не раз это замечал и не раз удивлялся тому, как точно наши люди, совершенно безошибочно знают, когда можно пошутить, а когда шутить уже и не следует, когда можно вмешиваться в течение событий, а когда надо как бы даже и не присутствовать. Вот в этом случае они как бы даже и не присутствовали. Вокруг нас с Татырбеком была абсолютная тишина, мы точно были с ним вдвоем на палубе военного корабля, матросы постарались сделать так, чтобы, несмотря на их присутствие, артиллерист мог мне сказать то, что ему хотелось, и то, что он сказал негромко и тихо, не в шутку, но и не совсем всерьез:

— Значит, товарищ комдив, все будет исполнено, как полагается, а я вас попрошу, если мы слишком задержимся, застрянем, так сказать, на неопределенное время, так вы помогите моей жене немножко.

Мы поцеловались.

Матросы поплотнее подтянули тузик, теперь они все как бы материализовались, из бесплотных духов, которых они с таким умением и проворством изображали, вновь стали матросами с именами, фамилиями и качествами характера.

И шепотом в тузик полетели слова:

— Ни пуха вам, ни пера.

— Возвращайтесь без задержки.

— Желдаков, фрица привези живого.

— Товарищ гвардии старший лейтенант, спички не нужны хорошие?

Кто-то перегнулся и отдал «хорошие» спички, раздалась команда, и Желдаков навалился на весла. Тузик чиркнул по борту корабля, отделился от нас и совсем исчез во тьме ночи. А в двенадцать часов десять минут мы получили сообщение, чтобы ни в коем случае огня не открывать. Сообщение это передал Татырбек.

Начались тоскливые минуты ожидания.

Никто из нас, офицеров, разумеется, не покидал ходового мостика, мы до боли вглядывались в чернильную

тму осенней мозглой ночи, но решительно ничего не видели. И ждали, ждали, порою посылая в радиорубку посыльного. Но что он мог узнать?

Радисты нашего дивизиона, сцепив зубы от напряжения, вслушивались в эфир, отыскивая в какофонии звуков Татырбека, но его не было. А если бы его приняли, то ужели в ту же минуту нам на мостик не доставили бы сообщение о нем?

Что значили его слова — огня ни в коем случае не открывать?

Почему?

Что там случилось?

Прошло пятнадцать минут, двадцать. Прошло полчаса.

И только через час восемь минут мне докладывают: Желдаков прибыл и пленного «языка» доставил. Фрица.

Я бегом по трапу вниз, в каюту, в салон к себе. Дайте, дескать, сюда фрица. Обоих сюда с главстаршиной вместе.

Ну, является наш Желдаков. Огромный, голову втянул в плечи, чтобы не своротить плафон, глаза от света щурит. А за ним волокут немца. Тот от страха ничего совершенно не соображает. Спрашиваю у Желдакова:

— Где старший лейтенант?

— А они там, — говорит, — остались.

— Где там?

— Да в яме, — говорит, — где ж еще?

— В какой яме? Говорите, Желдаков, толком...

Он вместо ответа просит разрешения закурить, потому что, говорит, надо прочухаться от темноты и подытожить.

— Что подытожить? Что за бухгалтерия? Закуривай, — говорю, — и рапортуй, но только быстро.

Тут командир вмешался.

— Так, — говорит, — от него ничего не добьешься. Он по порядку решительно говорить не умеет, не оратор он. Я ему прикажу на вопросы отвечать. Отвечайте, Желдаков, что это за немец?

— Пленный, товарищ гвардии капитан третьего ранга. В плен сдался.

— Да где сдался? Где? И за каким лешим ему понадобилось сдаваться?

— Да ему-то не понадобилось. Это мы его взяли, он же хотел, даже чего-то вякал, что, дескать, не хочет. Но

мы его со старшим лейтенантом повязали, и уж тогда он сказал, что там узел сопротивления у них не настоящий, а настоящий будто поболее на вест будет.

Мы слушаем, переглядываемся и начинаем понимать, что дело вовсе не в Желдакове, а в немце. Потому что Татырбек по-немецки очень плохо знал и мог спутать что-нибудь.

Желдаков в сторонку сел, сидит, зевает, Шепотом спрашивает:

— Разрешите отлучиться покуда покушать, мне горячего бачок здорово сейчас покушать.

Отправился, а мы немца допрашиваем. Немец этот артиллерист, как раз оттуда, куда мы бить нынче собрались. По словам немца вышло, что мы собрались бить не по основному узлу, а только по одному вражескому флангу, мало для нас значительному. Они нам нарочно этот фланг всячески демонстрировали как узел, с тем чтобы мы туда и артиллерией били, и авиацию посылали на бомбометание, и с тем, чтобы кулак свой сохранить в целости: наши бы пошли, а они бы сбоку и ударили, да так бы ударили, что лучше об этом и не думать...

Все это и хитро, и похоже на правду. Разложили мы перед немцем карту, он нам в нее пальцами тычет и показывает, где что. Глаза у самого бегают, весь топорщится, юлит, очень, видимо, боится, что расстреляем его. Я, разумеется, не разубеждаю немца в этой его боязни и даже прямо говорю:

— Так, дескать, и так, полупочтенный, если вы нам тут турысы на колесах разводите, то мы вас обязательно расстреляем, а если правду говорите, по всей откровенности, то, быть может, останетесь живым и здоровым.

Он клянется, что все правда.

Но ведь, с другой стороны, и соврать может. Если мы вдруг предположим, что в нем имеются остатки его присяги — он ведь присягал, — тогда почему ему нам глаза не замазать на истинное положение вещей? Узел свой скрыть своим враньем и обрушить весь наш огонь на сопки, где ни единой живой души нет. Да еще и самому благополучно попасть в плен и спасти свою шкуру, а потом над нашим простодушием в кулак хихикать...

Много раз мы его выспрашивали — все говорит по порядку, ничего не путает. В одну и ту же сопку стучит

пальцем — тут, говорит, весь секрет, а насчет других тоже с подробностями объясняет. Мы его и так и сяк — не врёт, кажется.

Дали ему спирта выпить, после спирта опять спрашиваем. Все равно ничего не путает.

Отправили опять Желдакова на тузике. Он теперь свои часы оставил дружку коку Пиушкину.

— Жалко, — говорит, — анкерный ход, на камнях все строено, а там разбить можно, пусть лучше на корабле останутся.

Ушел Желдаков, а мы продолжаем с немцем разговаривать. Он нам и рассказал подробно, как его в плен взяли. Говорит, никак он такого номера для себя не ожидал. То есть вообще и ожидал, но в данную секунду — никак. Он выпил рому поряточно у своих дружков на скале Н (там все-таки оказался пост) и кофе выпил хорошего, французского, четыре чашки вприкуску с шоколадом «феномен» — такой шоколад специальный, который бодрость придает и восстанавливает силы. Вот этого шоколада фриц покушал и в положенное время пошел домой. Идти ему надо было километра четыре. От «феномена», и от рома, и от кофе настроение у фрица было очень бодрое, он пел негромко арию Валентина из «Фауста», поскольку он сам тотальный немец и по специальности гобоист. Вот напевает он своего Валентина и, не торопясь, топает с камушка на камушек, а для того чтобы не упасть, светит себе фонариком под ноги.

И все это в нем «феномен» и ром играют. И черный кофе. Иначе бы он, наверное, что-нибудь да заметил, потому что не заметить такую крошечку, как наш Желдаков, надо уметь.

Спустился фриц со скалы и перед тем, как пойти в свое путешествие, решил немножко себя от кофе и от рома облегчить. Посветил себе фонариком на той позиции, которую избрал, а потом фонарик потушил, потому что совсем ему для его дела свет не был нужен. И вот только стал он приглатываться и при этом губами и языком выводить то, что в «Фаусте» целый оркестр делает, — в это самое время на него что-то упало и его всего «заткнуло», как он выразился, и поволокло. От «феномена» сил у немца было очень много, и он стал кусаться за то, что зажимало ему рот, но тогда ему сде-

лалось совсем плохо: видимо, Желдаков его «маленько притиснул» — и Фриц потерял сознание. Потом он сидел в какой-то яме и там его спрашивали, наверное по-немецки, но точно он сказать не может, потому что это был странный немецкий язык. Но с ним были вежливы, и он не имеет никаких претензий, потому что перед тем, как его вязать, Фрицу даже позволили привести в порядок свою одежду, которая до того была в неприличном беспорядке.

Все это Фриц рассказывал мне, стоя в моей каюте у двери и часто моргая рыжими ресницами. Он был альбинос, с веснушками по всему лицу, с золотыми зубами. Его увели и, как пишут в газетах, заключили под стражу, а мы стали ждать того времени, когда следовало отправлять шлюпки за группой капитана Родионова (мы должны были принять на борт наших людей). Мы решили, что до рассвета у нас времени еще будет достаточно, скрытность операции мы пока, как видно, ничем не нарушили, родионовская группа может дать нам ценные сведения, и уж тогда мы начнем выполнять то, что нам надлежало выполнить.

Помню, захотелось мне пить, а у себя в графине я воды не нашел и отправился в кают-компанию, где у нас был нынче госпиталь, или пункт первой помощи. Пока шел по трапу и по коридорчику, совсем забыл о перемене декорации и очень удивился, как в нашей привычной кают-компании все изменилось. Все белое, покрыто простынями, везде поставлены стерилизаторы, инструменты разложены, лубки, носилки стоят, и Лева в халате и в белой шапочке дремлет.

— А, — говорю, — как, доктор, дела?

— Да ничего. Все нормально. Спать хочется.

— Ничего, — говорю, — хочется и переохочется. Фрица видали?

— Ну его, — отвечает, — к черту. Как там Татырбек наш?

— Нормально, чего ему сделается.

Лева эдак немного от меня отвернулся, встал вполуповорот и вздохнул.

— Что за вздохи, — спрашиваю, — доктор? Сон привиделся нехороший?

Он отвечает, не глядя на меня:

— Нет, не сон. А знаете, товарищ комдив, думаю я, что он живым не вернется. Вот так мне кажется.

— Да почему? Почему?

— Думаю я так.

— Но ведь вы, — говорю, — многоуважаемый, почему-то так думаете?

Он молчит.

— Что же, сказать не хотите?

— Да нет, отчего же... Он мне, товарищ комдив, как-то объявил, что если ему доведется проявить себя на особом задании, то он жизнь свою отдаст и при этом не сморгнет даже. Потому что, говорит, его жизнь принадлежит не ему, а той семье, которая его вырастила и сделала из него человека. Он мне всегда это говорил. Он мне всегда говорил, что он пастух-сирота, баранов пас и грамоты не знал и не узнал бы никогда, если бы не Советская власть. Он мне, товарищ комдив, всегда говорил, что я интеллигент и потому полностью не могу его понять. Его в детстве ужасно как били, у него там бараны как-то пропали, так его били несколько дней, и он не мог ходить совсем и все, знаете, лежал. У него ведь два ребра сломано тогда. И кушать ему никто не приносил, ни одна душа о нем не подумала. А теперь он офицер, у него есть жена, будут дети, он читает книги, его никто никогда не ударит больше, и если он будет хорошо служить и учиться, то из него, может быть, адмирал выйдет. Ведь может это быть?

— Конечно, может.

— Вот. И это очень, товарищ кавторанг, его взволновало как-то. Он мне тогда сказал: «Лева, а я через тридцать лет, может быть, контр-адмиралом буду. И захождение мне будут играть. Лева, а ведь я пастух, и я за нее даже кровь не проливал».

— За кого, за нее?

— Да за семью. Ведь он, знаете, как рассуждает всегда? Он, когда своему артиллеристу выговаривает за провинность, он всегда говорит: так в семье не делают. Так раб может сделать, слуга, а ты в семью взят, ты в семью свой человек. Погубить семью хочешь, да? Но вы знаете, товарищ комдив, все это у него так получается, что каждому его слову веришь. Мы с ним очень дружны, очень, и он со мною, как с самим собою, говорит, не стесняется. И его бывает интересно слушать. Он как-то журнал читал какой-то, а потом говорит: не согласен. Что не согласен? Оказывается, он не согласен

с каким-то рассказом, где описываются наши в ту войну. Он говорит: читаешь и думаешь — почему они тогда немца не побили, если так у них все хорошо было. А потому, Лева дорогой, не побили, что Советской власти не было. Советское государство немца бьет. Вот кто. Ни одно государство в мире этого бы не сделало. А мы делаем. Вот на этой-то семье, товарищ комдив, он и разворачивается сейчас. Он все говорит, что семья с ним мучилась, в темные его мозги алгебру с космографией вкладывала, а он никак и ничем еще семье не помог. И что он, дескать, всегда о том думает, что как случай будет, так он семье и поможет. Потому я и беспокоюсь,

Я промолчал.

Что я мог сказать Лева?

Попил у него воды и пошел на мостик,

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Шлюпки за группой Родионова мы отправили, и темная ночь с бусом — так поморы зовут мелкий дождь — и туман нам много помогли. Сняли мы народ хорошо, спокойно, ловко, никакого переполоха не произведя. Но людей оказалось куда меньше, чем мы предполагали: очень многие погибли. Это ведь ужасно трудная — военная работа, даже, пожалуй, труднее, чем работа подводников. Сам капитан Родионов был изрядно плох, даже соображал неважно, издергались они там до последнего предела, который только можно себе представить. И раны их очень мучили. Лекпом с ними был, так его в бою убили. Ну, а своими средствами много ли налечишься? Да все лето комары, покоя никакого, ни единой секунды, совершенно жили, как звери, и, естественно, облик человеческий потеряли. Да к тому же немцы охотились за ними, как за зверями, охотились с собаками, выслеживали и обкладывали, точно медведя или лося. А они мало того что отбивались, они в ранах, больные, порою в сорокаградусном жару свое дело делали, работали ежедневно, всегда. Это особые люди. И потому мы их на корабле особенным образом приняли. Для них душ был, и одежда чистая, новая, и папиросы хорошие, и коньяк, и прочая роскошь. Но когда мы их встретили, то поняли, что они сами уже даже и вымыться толком не могут, до того они были изголоданы

своей жизнью, а нервная энергия, на которой они держались, их покинула теперь, потому что они были у нас хоть и не в безопасности, но уже сами за себя не отвечали, а могли только повиноваться, не проявляя никакой инициативы, которая, по их словам, им совершенно опротивела.

Но они нам были нужны.

Мы теперь их поджидали, для того чтобы они нам подтвердили данные, полученные нами от пленного немца. Они, эта родиноновская группа, должны были знать, врет фриц или не врет.

Фриц не врал. И сам Родионов, и бородатый его помощник, и другие в один голос говорили, что им известно — немцы свой кулак держат в секрете, узел их огня до сих пор не вел, а вела вот эта часть, но там понастроено всякого, и туда боезапас возят, и в свое время тяжелую артиллерию провезли.

Так. Это-то нам и нужно.

Родионова и его людей мы отправили мыться и потом к Леве, который уже разворачивался со своими помощниками, а я с командиром и другими офицерами пошел на ходовой мостик. Перед гостями нашими мы извинились, что будет сейчас несколько шумно, да ничего не поделаешь.

Ну, и ударили.

Представляете, как современный корабль бьет из главных своих калибров?

В общем, это вещь серьезная, не шуточная. Достаточно сказать, что в это время на всем корабле нет того места, где бы можно было говорить мало-мальски прилично, то есть не крича во всю глотку. Грохот стоит адский, в каютах сами собою отрываются стенные полки, валяются книги, лопаются электрические лампочки...

Мы ударили.

Я думаю, что фрицы были чрезвычайно поражены таким обстоятельством. Во всяком случае, они настолько растерялись, что даже не использовали для нашего поиска свои береговые прожекторные установки, а как идиоты стали прожекторами щупать небо, предполагая, что в такую абсолютно нелетную погоду их бомбят с воздуха.

А мы били и били, и снаряды наши с воем ложились туда, куда им и следовало ложиться, это мы знали от

Татырбека, который все-таки, видимо, забрался туда, откуда было повиднее, то есть на скалу, которую мы обозначали буквой «П». С этой скалы он и корректировал наш огонь в духе наших новых установок, разумеется, ему известных.

Так шло время.

От оранжевых вспышек выстрелов, а потом от той тьмы, которая смыкалась вслед за следующим пламенем, мы ничего не видели теперь и передвигались на мостике ощупью. После перестрелки начал бить весь дивизион кораблей, а береговые батареи все еще чухались и не отвечали. Я не люблю, когда противник не стреляет: все ждешь подвоха, потому что трудно себе представить, будто это так и может кончиться. И когда в таких случаях противник начинает стрелять, испытываешь чувство, сходное с облегчением. Хоть и противно, когда над тобой, как поросенок, визжит снаряд, а все же лучше, чем ждать, что он может полететь.

Наконец немцы пришли в себя и начали нас обстреливать. Помню, я посмотрел на часы. Светящиеся стрелки показывали две минуты второго. Потом приказал:

— Передайте корректировщикам, чтобы шли назад.

Меня не расслышали. Я прокричал свое приказание и плюнул, отвратительный вкус пороховой гари осел на губах.

В час десять мне доложили, что связь с корректировщиками прервана.

Наши орудия и орудия соединения по-прежнему били. Я почти ничего не слышал и не понял, что произошло, а когда понял — приказал во что бы то ни стало связаться с Татырбеком.

— Есть! — прокричали мне из тьмы.

В это время на полубаке разорвался снаряд и сразу же начался пожар. Береговая артиллерия любит, когда на кораблях пожары, это облегчает ночью наводку и вообще дает больше преимуществ. Нас видят, а мы ничего не видим...

Надо было уходить. То есть можно было и не уходить, но тогда следовало потушить пожар. Это нам не очень удавалось, а терять корабль я не имел права. Тем более что второй снаряд тотчас же разорвался по левому борту. Спокойный тенорок Гаврилова прокричал мне по телефону:

— Все в порядке, комдив. Разрешите командира?

Разорвался третий снаряд и четвертый. Пожар на палубе ликвидировали, с постов командиру докладывали, что особых повреждений не произошло. Мы сманеврировали, и немцы нас потеряли.

Но все-таки надо было уходить.

Задание мы выполнили, немцам, по всей вероятности, досталось. И я скрепя сердце отдал приказание уходить.

Говорю — скрепя сердце, потому что мы уходили без двух наших очень хороших людей. Мы их оставили во вражеском окружении, может быть, живых. Они... ну, да что об этом говорить. Об этом и говорить даже и то тяжело, не то что переживать. Никому не пожелаю быть командиром в такой ситуации.

Когда точно выяснились размеры всех повреждений у нас и когда мы обсудили все меры к их устранению, я отправился в кают-компанию, где орудовал Лева в своей белой, вроде у повара, шапочке.

У нас было порядочно раненых, которые нуждались в срочной помощи, были контуженные и ушибленные. Особенно запомнился мне почему-то наш маленький кок Пиушкин, который очень сердился на то, что его правую руку уложили в лубок и забинтовали. Тонким, брюзжащим голосом он говорил, что с его рукою ничего решительно не случилось, чтобы ее только намазали почему-то мазью, и тогда, дескать, «оно» перестанет ломить. Говорил он быстро, много, частил, сыпал слова и, заметив меня, скороговоркой спросил:

— Товарищ капитан второго ранга, разрешите обратиться? — И заговорил печально, быстро, в одну ноту: — У меня на камбузе все кинута, а Забелин, товарищ капитан второго ранга, шляпа и потеряха, у меня греча матросам на кашу для завтрашнего обеда жарится, он мне гречу, Забелин, спалит, я его знаю...

— Сидите тихо, Пиушкин, — приказал я.

— Есть! — крикнул Пиушкин, забормотал какой-то вздор и забылся.

Ранен был и наш Витечка, молодой штурман. Он лежал на узких корабельных носилках, смотрел в потолок, а Лева копался каким-то блестящим, длинным предметом у него в боку и советовал:

— Ты, Виктор, охай, легче будет. Я же знаю, что тебе больно. Я вижу, что ты молодец, что ты терпеливый и стойко переносишь боль...

— Это не боль! Это вздор! — сказал Виктор.

— Не вздор. Совсем не вздор. Ты поохай или посто-ни, тебе легче будет.

— Если все начнут кричать или охать, то тут с ума сойдешь, — неестественно веселым, напряженным голосом сказал Виктор. — Верно, товарищ комдив?

Я присел возле носилок и немного поговорил с Виктором. Он мне чем-то не понравился — как-то он странно глотал воздух, но я не обратил на это внимания, такой он был веселый и ясный, наш Виктор.

Кают-компания была полна ходячими, сидячими, лежащими ранеными. При ярком, режущем свете электрических лампочек было странно видеть привычные, всегда прежде румяные, загорелые, лица внезапно побледневшими, с заострившимися чертами, с глазами, полными страдания и боли. Но эти люди, которые не властны были над своим поведением, непрерывно, наперебой, до того что это было даже несколько утомительно, силились острить и шутить. Тут никто не смеялся шуткам, но шутки и остроты помогали людям, как помогают обезболивающие — морфий или пантопон, при посредстве шуток и острот люди в тяжелых страданиях оставались людьми, не потерявшими облика веселого мужества...

Несколько раз называли меня по имени и отчеству Павлом Петровичем, и, хоть это не положено, я не возражал, потому что бывают секунды совершенно особой близости командира с подчиненными, близости удивительной, когда старший начальник знает, что матрос или старшина сделал в бою все, что мог, и больше того, что мог, а подчиненный знает, что начальнику это обстоятельство известно. Только что бой кончился, совсем недавно отгремели последние разрывы, и вот встретились начальник с подчиненным, оба друг другом довольные, оба друг другу доверяющие и оба только что это доверие проверившие делом, боем, огнем. Встретились, и надо что-то поговорить, как-то выразить то, что содержится в сердце, а выразить трудно, потому что не принято у нас говорить красивые и приятные слова. Ну и произойдет такой не примечательный для стороннего разговор, а для нас он окажется очень существенным,

— Ну как, Павел Петрович? — спросит какой-нибудь раненый. — Ничего, не поцарапало вас?

— Все нормально, Горбаченко.

— Ну и хорошо, что нормально, товарищ комдив. Извиняюсь, что побеспокоил.

— Поправляйтесь, Горбаченко. Спирту-то вам дали?

— Порядок, Павел Петрович.

Вот так один окликнет, другой. Таким манером окликнул меня командор Григорьев, и мы с ним покурили. У него все лицо было перевязано, а вместо рта было только отверстие, куда он вставлял свернутую мной для него папиросу. Мы покурили немного молча, а потом он сказал:

— Старшего лейтенанта нашего нету. Вот горе.

Я промолчал. Он выпустил из своего бинта много дыму и повторил:

— Горе. Очень его матросы жалеют. Женка молодая осталась, ребенок будет. Я вот все, товарищ комдив, думаю. Может, с ВВС договорилось бы начальство, парашютистов туда сбросить, поискать. Наши бы матросы все добровольно охотниками пошли.

Он смотрел на меня одним глазом, выжидая.

Хотелось пить, я опять попил воды в кают-компании и вышел на мостик.

Корабли шли в чернильной тьме, моросил дождь, шумело холодное море.

Помощник, навалившись грудью на обвес, всматривался во тьму, снизу из своей рубки посвистывал в трубу штурман, командир ходил, сложив руки за спиной, — два шага вперед, два назад.

И казалось, тут же, во тьме, на ходовом мостике стоит Татырбек и сейчас скажет:

— Ничего не вижу. Совсем, абсолютно ничего не вижу. Может быть, я слепой?

К рассвету мы вышли в свои воды. Ни спать, ни есть мне не хотелось, но я потерял табак, и пришлось искать его по каютам. Каюты офицеров были пусты, я заглянул в одну, потом в другую, ни самих офицеров, ни моей коробочки не было.

В каюте Татырбека на его койке лежал помощник Родионова, а в каюте Гаврилова курил сам Родионов.

Я вошел к нему.

Лицо у него горело, точно обожженное, он сидел в кресле, против письменного стола, в нижнем белье и разглядывал фотографию гавриловской семьи.

— Дети, — сказал он мне.

— Да, — ответил я. — Это инженер-капитана Гаврилова ребята.

— Отвык, — сказал Родионов.

Он говорил короткими, отдельными словами, нимало не заботясь о целой фразе.

— Забыл, — мучительно морщась, опять сказал он.

Я молчал. Папиросы лежали на столе, я взял одну и закурил. Он обернулся на звук чиркнувшей спички, коротко задышал и заговорил отдельными словами:

— Пока в норе жили, я ничего этого не хотел помнить и не помнил и забыл. А сейчас отмок. Помылся. Тепло. Я сижу, смотрю.

Он заплакал, морщась, как маленький, и вдруг стало видно, что он еще молод.

— Ничего, — сказал он, — ничего, все пройдет. Усталость. Я спать не могу. Хочу спать. А уснуть не могу. Думаю. У меня тоже были. Все было. Брат. Сестра. Старуха. Ничего нет. — Родионов сделал в воздухе крест. — Вот. Дети — двое. Мальчик и девочка. Жена. Даже фотографии нет. Ничего.

Обильные слезы струились по его лицу, он не вытирал их, а только все почесывал шею и вздрагивал и говорил отдельными словами, точно командуя или приказывая. Фотографию он держал перед собою и говорил без конца, а я понимал, что ему обязательно надо выговориться, и не уходил, слушал. Выговорившись, он стал спрашивать, почему столько детей, кто у Гаврилова жена и как у них живет с чужим детям.

Я отвечал подробно, а он все вздыхал и почесывался.

— Хороший человек, — проговорил он вдруг,

— Кто?

— Эта. Гаврилова.

— Да. Очень.

— Все должны, — сказал Родионов,

— Что должны?

— Вот так.

И он постучал ногтем по фотографии.

— Как так?

— Вот так. Все.

Лицо его вновь перекошилось.

— Потому что ведь я... я не могу. Мне сказано — Родионов, иди. Я иду. Мне сказано — Родионов, не возвращайся. Я не возвращаюсь. Беда в дом пришла. Мы должны. Мы обязаны. Кто за нас будет? А? Все должны. Должны или не должны, подполковник?

— Должны, — сказал я, смутно понимая, о чем он говорит,

Родионов прикурил новую папиросу о свой собственный окуроч, вытер ладонью лицо и посмотрел на меня своими стальными глазами.

— Мои дети тоже должны быть, — сказал он звонко. — Должны. Я приду и спрошу: где? Так?

— Так, — сказал я.

— Где спрошу? У каждой матери спрошу. У нее спрошу. Где мой? Почему своих уберегла, а моих нет? Я же твоих уберег? Уберег? Я немца отбил? Я ему мосты взрывал? Я ему... я...

Судорога свела его лицо. Он попил из стакана воды с коньяком, которую поставил ему Лева, раскурил свою папиросу и близко взглянул мне в глаза.

— Я знаю, подполковник, — сказал он, — знаю, что вы думаете. Вы думаете — детдом? Очень хорошо. Великолепно. Детдом — это должно, это обязательно, да. Но я ведь не обязательно туда пошел. Нет. Я инвалид второй группы. Меня совсем прочь, на пенсию. Я сказал — нет. Мы не формой Отечество отбили. Не тем, что обязательно. Сердцем. Все шли. Сами шли. Детдом — это обязательно. Это как мобилизация. Но ведь мы все... у нас старик один безногий, это что? А ваш моряк, который с палочкой? Это что? Это как? А? И ведь я спрошу, У этой ничего не спрошу. Этой поклонюсь. Спасибо. А у другой спрошу. Ты что делала? Ты кто? Почему так, а?

За моей спиной в каюту кто-то вошел, я оглянулся. У дверного косяка стоял Лева, халат его был в крови, глаза смотрели устало.

— Товарищ комдив, — сказал он, — понимаете, какая штука. Виктор наш скончался. Внезапное кровоизлияние...

Мы вошли в кают-компанию.

Уже совсем рассвело, иллюминаторы были отдраены,

все легкораненные разбрелись. Только один Пиушкин спал в углу на диванчике.

Посредине на носилках лежал Виктор.

Утренний ветер, врываясь в иллюминатор, бродил по кают-компании и шевелил пшеничные волосы нашего молодого штурмана. Его лицо еще хранило следы ушедшей жизни, не то усмешка, не то боль чуть топорщила его губы. И мертвые, уже подернутые смертной пеленой глаза смотрели на меня.

Я встал перед ним на колени, сложил ему руки, закрыл глаза и поцеловал юношу в светлые пушистые волосы. Было странно думать, что он мертв. Еще звучали в моих ушах его слова, сказанные неестественно веселым голосом:

— Если все будут кричать, то можно, пожалуй, с ума сойти.

— Он был слишком терпелив, — сказал Лева, — понимаете? Ему делалось все хуже и хуже, а он говорил, что это вздор. Понимаете, товарищ комдив?

Я все понимал. Но от этого было нисколько не легче.

Когда мы возвращались на базу, был солнечный, прозрачный, тихий день позднего бабьего лета. Коричневые сопки, отраженные в воде, казались багровыми. Чайки, точно повиснув, плыли в воздухе. На пирсе играла музыка, и девушки танцевали с краснофлотцами.

Что ж! Это и была война. Два дня назад мы тоже танцевали на пирсе, и, кто знает, может быть, сегодня мои матросы опять будут танцевать. Конечно, не сейчас, а немного позже, к вечеру... И не с того корабля, на котором погиб Виктор.

А может быть, и с того.

Жизнь вечно продолжается, и ничем нельзя ее остановить.

Мы с командиром и со штурманом сходили в госпиталь, в мертвецкую, и посмотрели там еще на Виктора. Он лежал на цинковом столе, и осеннее солнце освещало его чистое, юное лицо, чуть сморщенные губы, восковой лоб. Командир открыл окно. Далекая музыка вместе с прохладным предвечерним ветерком ворвалась в помещение, и нам всем показалось, что так лучше. Ветер еще шевельнул волосы покойного. Светлые, легкие, пушистые волосы.

Спи, милый мальчик! Ты хорошо умер, пытаюсь шутить над болью, пытаюсь шутить над страхом смерти, над самой смертью. Спи, милый мальчик, спи, моряк, спи, воин!

— Внимание, — произнес репродуктор в госпитальном садике, — внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!

Скрипнула дверь, вошел со своей палочкой Гаврилов. До сих пор он был занят и не успел на корабле попрощаться с Виктором.

С визгом и воем прошли над базой истребители — навстречу самолетам врага. На сопках ударили зенитки. Они били недолго, но очень часто и сухо, а потом все затихло так же внезапно, как и началось. Гаврилов поцеловал Виктора в лоб, и мы вышли. Опять играла музыка, и наши машины низко промчались над нами, над базой, над госпиталем.

Ведущий покачал крыльями, и мне подумалось, что летчик тоже прощается с нашим Виктором.

Я не был на похоронах Виктора: мы опять пошли на обстрел берега. Эта операция была еще труднее первой, потому что ночь стояла ясная и нам мешала вражеская авиация. Немцы бросили на нас порядочное соединение бомбардировщиков, и нам приходилось вести огонь по вражескому узлу сопротивления и одновременно с этим отбиваться от фашистских самолетов. Наша авиация тоже была в воздухе и тоже била немцев, но они все-таки лезли к нам и сбрасывали эти свои лампионы на парашютиках, которые освещали все вокруг и очень помогали вражеским береговым батареям.

Было нам трудно, люди вымотались, никто ничего после этого похода не слышал, в ушах долгое время стоял звон. А когда мы возвратились, Виктора уже похоронили на маленьком кладбище в ущелье, из которого всегда видно море. И если оно шумит, то на кладбище слышен шум валов и слышно, как пронзительно свистит ветер над морем. И все идущие по заливу корабли тоже видны отсюда.

Я знаю, что мертвому ничего этого не нужно, ему незначет, чтобы стояли над его могилой, но мне хотелось пойти и постоять над могилой Виктора, и, когда я

стоял, мне сделалось грустно, что я так мало знал этого юношу. Но когда у вас несколько сот человек народу, то почти невозможно знать всех очень хорошо.

И все-таки нужно было знать его ближе.

Он не совершил ничего особо героического, он погиб на своем посту, на корабле, от раны, полученной в бою, погиб весело и просто, как моряк, а я его мало знал, мало, очень мало. Я думал, что он проще, чем он был на самом деле. Я думал, что если ему будет страшно, то я замечу это, а если ему будет больно, то это заметят все.

И оказалось, что страшно ему не было, а когда ему было очень больно, то этого не заметил даже доктор.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мы встретились у ворот кладбища, выходя.

— А, подполковник! — сказал он.

— Капитан второго ранга, — сказал я, — вы меня уже давно называете подполковником.

— Да? — спросил Родионов.

Потом начал говорить отдельными словами, по своему обыкновению.

— Хорошо тут, немцев нет.

— Да, ничего.

— В яме не надо спать. Часовых не надо ставить.

Постель.

— Постель, — согласился я.

— Чистая. Вшей никаких.

— Никаких.

Он взглянул на меня стальными глазами.

— Думаете — сумасшедший? Нисколько. Устал.

Ужасная усталость. Хотите посидим на камне?

Мы сели на камень.

— Нету немцев, — сказал Родионов. — Странно.

И я весь, как голый. Без автомата. Без гранат. Удивительно. Что смотрите? Я ведь не моряк, я лингвист.

— А зачем вы были на кладбище? — спросил я.

— У меня там знакомые моряки. Попроцаться ходил. Уезжаю.

— Куда?

— К ребенку.

— К какому ребенку? Разве нашелся?

На щеках Родионова проступил румянец, он быстро достал из кармана гимнастерки конверт и протянул мне.

— Помните, я говорил о жене моряка, погибшего в начале войны? Помните, которая взяла в Свердловске сиротку? И Гаврилов — наш инженер — туда перевел денежный аттестат? Помните? Вот как сходятся и перекрещиваются судьбы людей на войне. Ребенок был сын Родионова. Сирота этот. Та женщина, которой Гаврилов перевел аттестат, долгое время запрашивала обо всех Родионовых и наконец нашла. Письмо с фотографией мальчика пролежало теперь тут более месяца.

Я прочитал письмо, посмотрел фотографию. Фотография была мутная, я разглядел только челку и глаза мальчика.

— Вот, — сказал Родионов, — она. Женщина Антропова. А?

Я молчал. Страшное волнение капитана передалось и мне.

— Деньги кто-то пересылал, — говорил Родионов. — Она пишет. До сих пор посылает. Аттестат. Кто?

Руки его дрожали, когда он тряс передо мною письмом. Он был вне себя, и мне много стоило его успокоить. Да и самому мне было трудновато.

— Дочки нет, — говорил Родионов, — не нашел. Везде писал. Нету. Она маленькая. Но теперь я думаю. Еще Антропова. Одна. Женщина. Еще одна такая. Ведь может же быть? И тогда... Я сейчас могу опять туда в яму. Падаль жрать. Мосты, как раньше. Вши пусть. Она мне...

Он не мог говорить, заикался.

— Перестаньте, — сказал я, — не надо вам так, капитан. Будет.

— Оставьте. Ничего не будет. Хорошо. Не в этом дело. Я отдохну. Я...

На обратном пути ему стало легче. Он шел легкой, упругой походкой, заикаться перестал, и глаза его блистали молодым, радостным светом. И слова он больше не отрывал по одному, а говорил пространно, не очень ровно, но хорошо, как говорят мечтатели, добрые люди. Так мы дошли до пирса. На корабле я его оставил у себя в салоне, а сам спустился и сказал вестовому, чтобы к ужину было накрыто на гостя. И попросил старпома

поставить на стол водку, причитающуюся за боевой поход.

Когда все сели, я сказал так:

— Товарищи, — сказал я. — Вот такая штука. У нас гость нынче, капитан Родионов. Вы его знаете. И вы хорошо знаете офицера Гаврилова. В Свердловске капитан Родионов отыскал своего сына. А больше я говорить не буду ничего. Нет, впрочем, это неверно больше ничего не сказать. Наш артиллерист, которого сейчас, к сожалению, с нами нет... Наш штурман, который недавно погиб... И наш доктор, который здесь, среди нас...

Ужасно я тогда взволновался, так взволновался, что трудно мне было буквально два слова связать. Но все поняли. За ужином было тихо, говорили мало.

После чаю мы остались в кают-компании втроем: Родионов, Гаврилов да я. Родионов спросил:

— Как я могу? Майор...

— Инженер-капитан третьего ранга, — сказал я,

— Неважно, Гаврилов. Я вам, как я могу...

Он вновь начал рвать слова.

Гаврилов смотрел не понимая.

— Что вы можете?

— Я говорю... я вам очень обязан... у вас у самого...

— Вздор, — сказал Гаврилов с резкостью, которой я в нем не ожидал.

— Что — вздор?

— Все вздор. Все решительно вздор. Пустяковый вздор. Чепуха.

Родионов моргал, опираясь ладонями на стол.

— Это не вздор, — сказал он, — вы помогали много времени. Да.

— И мне помогали.

— Кто помогал?

— Все.

— Вранье, — оторвал Родионов.

— Нет, правда! — сказал я. — Чистая правда.

Родионов молчал. Он смотрел то на меня, то на Гаврилова. Гаврилов водил концом своей трости по ковру.

— Что же делать? — спросил капитан. — Так ведь нельзя.

Гаврилов поднял голову. Маленькие глаза его смотрели упорно и ясно.

— А что же делать? — спросил он. — Что же делать, когда война? Если я вас из-под обстрела вытащу, вы мне заплатите? Странно даже. Антроповой чем можно заплатить? Чем?

— Не знаю, — сказал Родионов.

Мы молчали.

Внезапно Родионов сделал шаг вперед и остановился посередине кают-компаний.

— Знаю, — сказал он, — знаю, да. Я поправлюсь и уйду. Назад. Я там все тропочки знаю. Я язык знаю. Меня там нельзя заменить. Вот что. Подполковник? А?

— По-моему, вы свое дело сделали, — сказал я. — Вы отовоевались. Вас вряд ли пустят. Но мне вам хочется сказать одну штуку: не ожесточайтесь, капитан. Никогда не ожесточайтесь. Тогда, ночью, вы что-то не то говорили. Что вы с кого-то спросите. Кому-то скажете. Не надо...

— Не надо, — повторил Родионов.

Подбородок у него задрожал, он махнул рукою и вышел из каюты.

Вечером того же дня, часов в десять, я узнал, что наши войска на том участке, который мы давеча валамывали огнем наших главных калибров, перешли в наступление и прорвали инженерные сооружения и основной узел обороны немцев. Операция развивалась нормально, как принято у нас говорить, если дела идут хорошо.

Всю ночь над нами с деловитым гудением своих мощных, басовых моторов проходили бомбардировщики на бомбометание и, освободившись от груза, возвращались назад. Охраняя тяжелые машины, шли с ними истребители, потом низко над сопками и водою промчались штурмовики.

Ночь была темная, звездная, такие ночи бывают перед заморозками. В холодной ночной тишине резко, почти как выстрелы, звучали выхлопы моторов ботишек, уходивших в район боев, командные слова, свистки на разворачивающемся охотнике, грустная украинская песня, которую пели десантники на пирсе, — все разносилось далеко, ясно.

Я вышел на стенку, прошелся по доскам возле тем-

неющегося силуэта корабля, покурив у обреза с какими-то молчаливыми подводниками и уже дошел до трапа, чтобы, вернувшись на корабль, почитать «Дуврский патруль» Бэкона, который за последними операциями никак не мог кончить, как вдруг возле корабля столкнулся слевой.

— Я вас ищу, — сказал он мне, — пойдёте скорее!

— Куда, доктор?

— Скорее. Татырбека привезли.

Сердце у меня точно упало:

— Мертвый?

— Нет, живой. Но... плох он...

— Выживет?

— Я не знаю. Вас хочет видеть.

— Что же с ним?

— Он весь изранен гранатой. И обморожен. Пойдёмте скорее. Вот сюда. Не видите? Ну, давайте руку, вот тут камень...

Лева вел меня кратчайшим путем — по камням, по мосткам, по длинному деревянному трапу и, торопясь, едва отвечал на мои вопросы. Насколько я понял из отрывочных слов Левы, с Желдаковым и Татырбеком произошло примерно следующее: некоторое время они корректировали нашу стрельбу и настолько увлеклись своим делом, что не заметили, как зашевелились на берегу немецкие патрули. Немцы заметили наших артиллеристов и решили захватить их живыми, что, по первому взгляду особых трудностей не составляло. Для этого надо было только отрезать им все пути отступления.

Два десятка фашистов, которым был знаком каждый камень на той скале, где засели наши, стали их обкладывать, как обкладывают зверя. Наверх они послали «загонщиков». Подюжины немцев с автоматами поднялись повыше и оттуда стали строчить по Татырбеку и Желдакову, с тем чтобы «русы», выбивая свой боезапас, отступали по тропинке, на которой разместились две засады. Одна повыше, другая пониже. Охотники из засад ничем не должны были обнаружить себя до решающего мгновения. А в решающее мгновение они должны были навалиться скопом на русских по такому принципу, по какому африканцы наваливаются скопом на израненного стрелами и копыями слона. Помните, есть такая картинка в географии.

Так и было сделано.

Татырбек и Желдаков, отстреливаясь, отступали вниз и наконец доотстреливались до того, что остались без патронов. Но у них были гранаты, по четыре штуки на брата. Бросать гранаты вверх было предприятием бессмысленным, и они от этой затеи отказались, решив пробиваться к воде, где стоял их тузик (по которому, кстати, гитлеровцы и обнаружили артиллеристов), а если, решили они, по пути к воде окажутся еще немцы, то они будут отбиваться от них гранатами. Если же это не выйдет, то по одной гранате они оставят для себя и в последний момент подорвутся, прихватив с собою побольше немцев.

Через первую засаду они прорвались при помощи гранат и прорвались, собственно, даже через вторую, накрошив очень много народу, но случилось так, что немцы вытребовали себе еще подкрепление. Это подкрепление и навалилось на Желдакова и Татырбека уже тогда, когда они были почти что у тузика.

Тут пришла очередь последним гранатам.

Желдаков ударил гранату под себя на камни несколько раньше Татырбека, и осколки этой гранаты поранили Татырбека тогда, когда он еще не швырнул свою гранату. И потому он ее швырнул не туда, куда собирался. Она, разумеется, взорвалась, но он не умер от взрыва и через некоторое время не без удивления обнаружил, что жив.

Глазам его представилась следующая картина: неподалеку от него лежал Желдаков, или то, что от него осталось. От Желдакова же осталась верхняя часть туловища. Ближе лежали немцы и изуродованные части их тел. Неподалеку, на шоссе, стояла санитарная машина, и немецкие санитары носили в эту машину все то, что осталось от их солдат...

Само собой понятно, что тела убитых русских немцам не были нужны. Один из санитаров на всякий случай сдернул с Татырбека его болотные сапоги, а другой отрезал у бушлата Желдакова его пуговицы. Потом они сволокли Желдакова к воде и отпихнули его тело шестом. То же самое они сделали с Татырбеком.

Затем санитарная машина уехала.

А Татырбек понял, что мысль его о том, будто он жив, — пустяки и вздор, так как теперь ему стало ясно,

что остаться живым при той ситуации, в которую он попал, уже невозможно. В глубоком вражеском тылу, без всяких документов (документы остались на корабле), без оружия, весь израненный двумя гранатами — одной своей, а другой Желдакова, да еще двумя немецкими пулями — на что он мог рассчитывать?

Силы же его падали с каждой минутой.

Для того чтобы не умереть, он ничего решительно не предпринимал. Но смерть его не брала. На него находило забытие — он забывался, потом вновь к нему возвращалось сознание, он смотрел из-под камня, который его приютил, на унылое, серое море и ни о чем не думал. Он не мог ни о чем думать, он умирал.

И знал, что умирает, а самой смерти не было и не было. Не приходила. Он все еще продолжал видеть, слышать, осязать.

И внезапно понял, что хочет жить.

Тогда он подумал: «А может быть, я не умираю?»

Облизал сырой от дождя камень и вновь забылся, но к сумеркам пришел в себя. И решил твердо: «Я не умираю. Я буду еще жить. А для того чтобы жить, должен двигаться».

И он пошел.

Основная его мысль была такова: «Вряд ли я буду жить долго. Вряд ли я поправлюсь совсем. Вряд ли я доберусь до своих. Но уж если доберусь, то доберусь недаром, не только для того, чтобы сказать — вот я пришел умирать. Нет, я собой, всем, что есть во мне живого, последнего живого, разведу, как была наша артиллерия, и что сделали летчики, и действительно ли мы долбили подлинный узел сопротивления. Если меня убьют там, то убьют не потому, что я волок самого себя помирать, а потому что я шел как разведчик, а раненый или нераненый — это уж мое дело. Во всяком случае, я принесу не только свое естество, истекающее кровью, но хотя бы в небольшой мере возвращу то, что дали они мне, делая из пастуха такого человека, который если бы жил долго, то мог бы стать адмиралом. И по всей вероятности, потому я еще жив и еще что-то должен сделать, я чего-то не доделал, мне умирать нельзя. Мне ни за что нельзя умирать просто так. Я обязан умереть человеком, не таким, каким я был там, в горах, и которого каждый мог ударить, а таким, каким я стал теперь, —

офицером Военно-Морского Флота, гордым человеком, которому были бы никакие пути не заказаны, если бы не эта чепуха, из-за которой я умру. Но смерть—вздор. Если я выполню то, что я должен выполнить, то мне не будет умирать так грустно, как если бы я умер сейчас. И поэтому я не умру сейчас, а сделаю то, что обязан сделать. Ведь я честный человек. А честный человек обязательно отдает свои долги. Я не могу отдать свой долг полностью, потому что это вообще нельзя отдать, но не бояться ничего я обязан. Для меня, для того, чтобы меня не били, многие люди, прекрасные люди, люди гораздо лучше, чем я, отдали свою жизнь не на войне, когда это должен делать каждый честный человек, а отдали в мирное время, сами выбирая себе такую, а не иную дорогу. Для того чтобы я прожил свою жизнь как человек и чтобы мой род не знал жалкой жизни, то есть, разумеется, он про меня не думал, но обязательно думал про других таких, как я. Ленин ничего не боялся: ни ссылки, ни ваторги, ни даже самой смерти. Так разве я могу бояться? А он тогда был молод, и ему тоже, наверное, не хотелось умирать, так разве я имею право не отдать хотя бы немного долга, если я тоже могу что-то сделать для других, для своих товарищей, для своих людей? А я могу, если я несколько не буду бояться за ту маленькую жизнь, которая еще есть во мне...»

Это все мне говорил сам Татырбек, но только его отрывочные фразы я привел в некую систему, сложил и приладил так, чтобы стало понятно то, что говорил он.

Я не знаю, где он шел, а где он полз, а где он отлеживался. Факт тот, что он дополз туда, куда хотел. Надо думать, что для человеческой воли, для мужества и смелости нет в мире решительно никаких преград. Некоторые вещи путем рациональным абсолютно невозможно объяснить, но они существуют, они происходят, они являются в мире человеческом, и это, пожалуй, даже совершенно естественно, что обыватель и мещанин обязательно требуют, чтобы ему подробно объяснили, как это было, иначе, дескать, он не поверит вовсе.

Ну и шут с тобой, не верь!

А это происходит, и объяснить это невозможно. Вот факт. Смотри на него, думай. Повертывай так и сяк. Факт остается фактом. А объяснить его можно только

тогда, когда у тебя самого в груди сердце бьется человеческое, понятливое, а коли ты таким сердцем не наделен, то ничего тебе никогда в этом не понять. Помню, в детстве моем был у нас во дворе поганый мальчишка, совершеннейший прохвост, но нам иногда для наших ребячьих игр не хватало народу и его приходилось звать. Так он обычно отвечал:

— А что я с этого буду иметь?

Вот какой был ребеночек. И разумеется, поскольку характеры развиваются закономерно, вышел из него потом прохвост, да еще какой. Он с этого имел, вот в чем загвоздка.

Очень трудно, почти невозможно путно, с подробностями объяснить, как боролся Татырбек со страшной своей слабостью, что он пил, когда его терзала жажда, как его не поймали, пока он добирался до того места, которое он сам себе назначил. По-моему, он и сам все это не совсем понимал. Но он добрался. Он полз между проволочными заграждениями. Пробирался меж надолб. Терял сознание в бомбовых воронках и подолгу там лежал. И в конце концов убедился, что основной узел сопротивления мы взяли под обстрел правильно, а только его не додолбили до конца.

Это были сумерки того самого вечера, после которого в ночь мы пришли бить второй раз и прилетела авиация.

Ну так вот, всю ту ночь Татырбек провел в воронке. Вокруг него рвались снаряды наших главных калибров, взлетали к небу немецкие хитрые сооружения, с неба летели вниз тонные и полутонные бомбы, а Татырбек лежал в воде, на дне воронки, скорчившись, почти совсем оглохший, пил воду, которая была под ним, и, когда хоть немного затихало, вылезал наверх и осматривался — как? Много ли разворочено еще?

Потом Татырбек пополз. Было предрассветное время, и везде двигались какие-то тени, были слышны слова, и окрики, и стоны, сзади — там, где был боезапас, — еще рвались снаряды, но уже никто никого не замечал и никто ни на кого не обращал ни малейшего внимания, а если и обращал, то только в том смысле, чтобы не увидеть, потому что увидеть ползающего человека, раненного, — это значило ему помочь, а помогать никто никому ничем не хотел.

Это была деморализация — страшное слово на войне.

И Татырбек понял, что он был свидетелем деморализации.

Он знал, что они еще очухаются и что все не так просто, но он также знал степень разрушений в узле обороны, и он еще заметил, что правый фланг, правое крыло узла пострадало меньше и, следовательно, наступающим частям это следовало учесть.

С ближней сопки, на которую ему удалось взобраться, из мелкого кустарника, мокрого и колкого, он разглядел, как в сторону правого крыла ползли маленькие фигуры немцев, как, буксуя в едва подмерзшей грязи, тянулись туда грузовые машины, санитарки, тяжелые «крупы» и офицерские «бенцы» и «оппели», со своей сопки Татырбек разглядел и орудия, которые тягачи волокли из разбитых бомбами и снарядами укреплений туда, где немцы надеялись их еще использовать.

К середине дня пошел снег с дождем. Татырбек все еще лежал неподвижно, леденея на ветру, едва живой. Но глаза его жадно впитывали все то, что было перед ним. Глаза запоминали, мозг военного, артиллериста, офицера, моряка фиксировал каждую сопочку, в которой были пушки, каждый холм, в который входили и из которого выходили люди, мозг фиксировал ходы сообщения, которые ремонтировались солдатами, прибывшими на грузовиках, дорогу меж скал, которую обязательно следовало разбить, потому что это была единственная дорога к правому крылу укрепленного района...

Мозг фиксировал приметы, видимые и летчиками с воздуха; вот группа деревьев, вот крутой обрыв. Между обрывом и деревьями должны поработать пикировщики...

А вот радиостанция. Она прячется за рыжей скалой, между двумя скалами, там, где течет что-то вроде ручья. Туда тоже нужно побросать. Рыжая скала и другая поменьше. Другая круглая. Между ними вода.

Иногда снег шел гуще, и Татырбеку делалось ничего не видно. Тогда он закрывал глаза и отдыхал. Он уже не чувствовал холода. Ему только все время хотелось пить, и он лизал снег...

С наступлением сумерек он пополз. Потом нашел старую, ржавую лопату и, опираясь на нее, пошел. Это был мучительный путь, но он шел. Все сделалось совер-

шенно как во сне. Для того чтобы не забыть и не спутаться, он поглядывал на небо. Мерцающие, холодные, враждебные звезды не хотели показывать ему дорогу. Он плохо соображал. Все путалось, перемешивалось в его мозгу: Желдаков, корабль, дзоты, взрывы, граната. Иногда он падал на острые камни. Его босые ноги превратились в куски мяса, но он не чувствовал боли; впрочем, если бы он чувствовал, что могло бы измениться? Разве бы он не шел?

Потом над ним в небе с воем прошли самолеты. Потом пролетели снаряды. Потом он услышал треск пулеметных очередей, винтовочные выстрелы, звон рвущихся мин. Тут, в скалах, шло сражение...

А перед рассветом на него напоролись четверо наших саперов.

Он сказал им:

— Отнесите меня к командиру.

Саперы отнесли.

Старшему сержанту он сказал:

— Где у вас командир отделения? Доставьте меня туда немедленно.

Санитар сделал ему перевязки. Ему в горло влили чайную ложку водки. Но его тотчас же вытошнило. Воля его еще жила, помимо всего остального. А все остальное уже умирало.

Часа через два, когда взошло солнце, носилки, на которых он лежал, поставили перед полковником.

— Я такой-то и такой-то, — сказал Татырбек, глядя на полковника своими агатового блеска глазами. — Я оттуда-то и оттуда-то. Я все видел, как у них. Я провел там сутки. Позовите сюда врача, чтобы он сделал так...

Врач пришел. Татырбек задыхался. С величайшим трудом он сказал:

— Надо, чтобы я мог говорить. Полчаса. Двадцать минут... Это важно... Это чрезвычайно важно...

Утреннее солнце светило ему прямо в лицо. Неподалеку была артиллерия, в воздухе дрались самолеты, сражение разворачивалось, делалось все яростнее, все напряженнее.

Пришел второй врач. Принесли кислородные подушки, сделали несколько впрыскиваний. Татырбек заговорил. Перед ним расстелили карту, санитар поддерживал

Татырбека под плечи, один из врачей держал его локоть. Татырбек водил карандашом по карте, говорил негромко, берег силы, чтобы досказать все.

— Спрашивайте, — сказал он, кончив говорить.

Полковник задал несколько вопросов. На все вопросы Татырбек ответил точно, ясно, очень толково. Потом закрыл глаза.

— Устали? — спросил полковник.

— Да. Спать теперь буду.

И казалось, уснул.

Но когда полковник сказал врачам, что надо сделать все для того, чтобы моряк поправился, Татырбек вдруг открыл глаза и произнес:

— Пусть меня не трогают, полковник. Я устал очень. И только даром хлопоты будут, я знаю. Это я верно вам говорю.

Закрыл глаза и вздохнул.

Он сказал правду. Насколько раньше он верил в то, что доживет и выполнит задачу, которую поставил себе, настолько теперь, выполнив свою задачу, он поверил тому, что все кончилось. У него больше не было никаких сил, для того чтобы жить, и те дни и часы, которые он еще жил, надо всецело отнести не за счет его собственной жизненной энергии, а за счет того, что делали врачи своими впрыскиваниями и вливаниями.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда мы с Левой вошли в маленькую палату и я, увидев Татырбека, понял, что мне нужно что-то ему сказать, то внезапно оказалось, что я не могу произнести ни единого слова. Глотка у меня сжалась, и если бы я попытался говорить, то, вероятно, получилось бы что-нибудь совсем глупое и неприличное не только для взрослого военного моряка, но даже для уважающего себя мальчика. Татырбек встретил меня просто и даже улыбнулся, насколько в нем хватило сил, и даже всунул мне в руку свои едва теплые костяшки — все, что осталось от его сильных пальцев. И глухим голосом сказал:

— Дай, Левочка, дорогой, комдиву стул. Посидим немного,

Лева принес мне стул. Я сел и вытянул ноги.

Татырбек улыбался, глядя на меня, и не столько он сам улыбался, сколько улыбались его прекрасные глаза. Прекрасные, всегда горячие и уже потухающие глаза...

— Ну что, Татырбек, — наконец сказал я, — как самочувствие?

Голос у меня был рыхлый, поганный — очень трудно видеть человека, о котором думал как о сильном, статном, плечистом, в таком ни на что не похожем состоянии. У него теперь сделалось маленькое лицо, и в груди его все время хрипело, булькало и переливалось, щеки ввалились, а нос, подбородок стали острыми, не похожими на прежние. Это был другой человек, не тот, которого я знал раньше, только глаза у него остались прежние, и если пламень их был слабее, то твердость взгляда еще как бы укрепилась, это теперь были глаза совершенно беспощадные по прямоте и честности.

Вот эти-то прямые и честные глаза я видел близко от себя, и в них я как бы прочитал:

«Зачем об этом спрашивать? Ты же знаешь сам, комдив! Не будем лучше толковать об этом».

Так мне сказали глаза Татырбека. А голос между тем спросил:

— Какие новости в дивизионе, комдив?

Я, кашлянув, рассказал. Когда я начал говорить, мне показалось, что ему будет неинтересно, но он слушал внимательно и, когда я рассказал что-то смешное, тихо улыбнулся.

Потом вдруг спросил:

— А тогда много народу пострадало?

Было страшно огорчать его, и я сказал, что были раненные. А про погибших не упомянул.

— Все живыми остались, — спрашивал он, — убитых никого нет?

— Виктор у нас погиб, — сказал за меня Лева.

Татырбек на секунду закрыл глаза. Потом сказал негромко:

— Такой молодой. Совсем молодой мальчик. Боялся умереть?

— Нет, — ответил Лева, — хорошо умер.

— Трудно не бояться! — сказал Татырбек.

Это были его единственные слова о смерти. Больше он не сказал ни слова до самого конца. Ни единого зву-

ка, ни прямо, ни намеком. Он ни разу не пожаловался и ни разу не произнес ничего похожего на недовольство. Даже возня с ним врачей при полной его убежденности в том, что никакого толку от этой возни не будет, даже эта возня его не заставила пожаловаться. А ему причинялись изрядные мучения.

Вскоре после нас пришли командир и старший помощник. В маленькой палате сделалось тесно, и мы слевой вышли, чтобы немного поговорить с подполковником медицинской службы, который уже осматривал Татырбека и имел по поводу его состояния свое мнение. Слевой подполковник говорил по-латыни, причем указательным пальцем тыкал то в грудь Лева, то под мышку, то в плечо. А когда кончил тыкать, то повернулся ко мне и сказал:

— Плохо, товарищ комдив. Один, два дня,

— Безнадёжно?

— Совершенно.

— И ничего нельзя сделать?

— Ровно ничего.

— Но может быть, какая-либо... очень рискованная операция?

Подполковник посмотрел на меня с брезгливым сожалением. Так, наверное, смотрю я, когда мой собеседник, толкуя со мной о море, называет эсминец пароходом. Посмотрел и спросил:

— Что же именно вы предполагаете возможным оперировать?

Я ответил то, что обычно отвечают в таких случаях:

— Я, к сожалению, не врач.

Они опять заговорили слевой, употребляя непонятные для меня термины и тыкая друг в друга пальцем... Эти тыкания изображали те места, куда был ранен Татырбек.

— Скажите, товарищ подполковник, — спросил я, — это ничего, что мы вот к нему пришли, несколько человек сразу? Может быть, не стоит?

Подполковник отвернулся от Лева и поглядел на меня.

— Стоит, — сказал он, — ему от вашего присутствия легче. А на исход ничего повлиять не может.

— Он давеча курить у меня просил, — произнес Лева.

— Дайте. Глупо при таких страданиях лишать человека папироски. Но много не давайте. А вообще, чем больше будет вокруг него всяких проявлений жизни, тем лучше.

Мы пошли по коридору. Навстречу с палочкой, озираясь на номера палат, прихрамывал наш Гаврилов. И как всегда, на нем был его рабочий промасленный костюм: он не успел переодеться.

— Почему же без шинели? — спросил я.

— Где-то оставил, — сказал Гаврилов.

Это была у него вечная история. Инженеры других кораблей приглашали его к себе на всякие консультации, и он никогда не знал толком, на каком корабле у него шинель или реглан...

— Не успел переодеться? — спросил у него Татырбек, когда мы вошли.

— Не успел.

— И синий весь. Шинель потерял?

— Потерял, — сознался Гаврилов, моргая по своей привычке.

Татырбек молча смотрел на Гаврилова, и по выражению его глаз было видно, что все в Гаврилове мило и дорого Татырбеку.

— Вот видишь, — сказал он, — отстал я от нашего корабля. Пешком пришлось догонять...

Мы все стояли; в палате был только один стул, и никто, разумеется, на него не садился. Татырбек закинул голову, огляделся, чтобы поискать, нет ли еще стульев, и внезапно бледное его лицо совсем посерело. Он попытался что-то сказать, но не смог, едва только беззвучно пошевелил губами. Лева взял его руку, надавил пуговку звонка, махнул нам рукою, чтобы мы вышли. Стараясь ступать на носки, гуськом мы пошли к двери...

— Совсем слаб, — сказал Сергей Никандрович, когда мы вышли в коридор, — я как вошел, то думал, — ничего, хотя и переменился он ужасно, улыбается, говорит, а теперь увидел...

Гаврилов молчал. Мы курили возле урны, тихонько переговариваясь. С нашей позиции было видно, как подполковник в незавязанном сзади халате и еще какой-то врач в очках быстро отворили дверь в Татырбекову палату, Потом оттуда вышел Лева и сказал нам, чтобы

мы не ждали, потому что сегодня он туда никого не пустит. Он проводил нас до вешалки, где мы отдали халаты, и сказал командиру, что просит разрешения остаться на ночь у Татырбека.

— Ну вот, — несколько даже обиделся Сергей Никандрович, — кажется, и так ясно...

Утром за чаем Лева сказал, что Татырбеку лучше и что он приглашает к себе в гости своих артиллеристов.

— Что, поправляется? — спросил командир.

— Нет, просто лучше.

— Так, может быть, поправится?

— Нет, поправиться он не может.

— Каких же ему артиллеристов надо? — спросил я.

Лева назвал фамилии. Это были лучшие комендоры корабля.

— Прощаться, что ли, хочет?

— Наверное. Но надо это так сделать, чтобы они шли как бы навестить его. Впрочем, я там буду и прослежу...

Я видел, как начищенные, наглаженные и выбритые отправились комендоры в госпиталь. Мне хотелось пойти с ними, но я понимал, что мое присутствие могло стеснить Татырбека. Вернулись артиллеристы довольно скоро, не более как через час. Я зазвал к себе одного из старшин и спросил у него, что было в госпитале.

— Попрощались, — сказал старшина и задвигал бровями.

— Как попрощались? Так просто попрощались?

— Нет, так, чтобы это слово сказать, такого не было, товарищ капитан второго ранга. Просто побеседовали, как держать себя надо в бою. Насчет Желдакова старший лейтенант нам рассказал, как Желдаков героически погиб. И рассказал нам, как мы тогда стреляли, — он же сам лично видел из воронки, наблюдения вел.

— Что ж, хорошо стреляли?

— Ничего, подходяще...

Старшина опять задвигал бровями и чуть-чуть от меня отворотился. В четыре часа ночи под воскресенье Лева прибежал за мною на корабль и сказал, что Татырбек просит меня зайти к нему.

— Плохо? — спросил я.

— До утра не доживет, — ответил Лева.

Я побежал, едва одевшись. Татырбек полулежал в постели, сестра держала перед его полуоткрытым ртом воронку кислородной подушки. Татырбек дышал мелко, неглубоко, часто, но, увидев меня, как бы оттолкнулся от подушки с кислородом и сказал:

— Все равно. Ничего. Комдив.

Голос у него сделался тонкий, хриплый. Сестра еще подсунула ему воронку, он опять задышал и опять оттолкнулся. Я наклонился к нему, было видно, что он хочет мне что-то сказать. Губы его двигались, глаза смотрели по-прежнему твердо, он в последний раз сопротивлялся смерти, которая стояла здесь, рядом, над ним.

— Комдив, — наконец сказал он внезапно крепнущим, почти резким голосом, — комдив, когда противник будет уничтожен... и война кончится... и все будет позади, дорогой... Когда это будет даже ненужно... Пусть наши матросы придут к моей жене... И вскопают маленькую грядку картофеля. Как Зое... Васильевне. Комдив, дорогой. Не забудь, что говорю. Совсем небольшую грядку... Понимаешь, да?

— Не забуду, — сказал я.

Сестра опять подсунула к его побелевшим сухим губам эбонитовую черную воронку. Он еще глотнул кислорода.

— Не забуду, — повторил я, — не забуду, друг мой...

Он держал мою руку своими холодеющими костяшками, и я видел, как из его глаз уходит твердая воля, уходит, уходит, и ничего нельзя сделать, но он еще говорил какие-то слова, только позже я понял, что в них был смысл.

— Теперь ничего, — говорил он, — теперь хорошо. Хорошо. Все...

И перешел на свой родной язык.

Я плохо соображал и не заметил, как Лева положил руку Татырбека, точно она была вещью.

— Что? — шепотом спросил я.

— Все, — ответил Лева, отвернулся к окну и заплакал.

Сестра прикрыла Татырбека простыней, собрала кислородные подушки, шприц, какие-то склянки. Ее работа была кончена.

...Был проливной дождь, когда мы хоронили его, и перед тем, как опустить гроб в могилу, Лева сказал несколько слов. Вот примерно что он сказал:

— Гвардии старший лейтенант погиб. Но я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать другое. Прекрасный человек, которого мы хороним сегодня, наш друг и товарищ, офицер, получивший хорошее военно-морское образование и мечтавший об академии, в детстве своем был пастухом, неграмотным, всегда полуголодным, ему довелось перенести много тяжелого. И вот русские рабочие, русские крестьяне, русский народ помог ему сделаться человеком, получить образование, помог ему стать гражданином, знающим, что такое подлинное человеческое достоинство. На далеком студеное море гвардии старший лейтенант мужественно, как подобает офицеру, до последней капли крови выполнил свой воинский долг. Немцы хотели, чтобы мы сделались рабами. Мы с ними бьемся и будем биться, мы победим их, и никогда мы не будем ни у кого рабами. Никогда не вернется то время, которое пережил ты, Татырбек, мальчиком. Над твоим ребенком никто не поднимет кнута. В этом мы тебе клянемся, наш дорогой товарищ, мы клянемся тебе в том, что ты недаром отдал свою жизнь, недаром погиб молодым за великое дело свободы и независимости нашей Родины. Наше государство будет могучим, великим, свободным, и ребенок твой вырастет в нем, не зная рабства и несчастий. Прощай, дорогой, милый наш товарищ. Прощай, друг. Прощай, герой!

Ничего особенного Лева не сказал. Теперь уже все знали, как был изранен Татырбек, все понимали, за что он отдал свою жизнь, теперь стало широко известно, что наш удар, тот самый прорыв, о котором я вам давеча докладывал, развивался успешно и с очень небольшими потерями еще и потому, что Татырбек доставил замечательные данные.

В общем сильно мы переживали тогда.

Да и по сей день, как взглянешь на его портрет в нашей кают-компании, так тебя всего и перевернет.

Ну что ж, похоронили, возвратились на корабль, и опять пошло все по-прежнему. Походы, да обстрелы, да авиация противника, да конвоирование. День за днем, день за днем...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Весною попали мы в Архангельск. Вошли в Двину белой ночью и как-то невольно, стоя на ходовом мостике, вспомнили мы с Сергеем Никандровичем Татырбека, Что вот бы и он теперь с нами шел. И нынешней же ночью побежал бы к жене и к сыну. Завтра бы мы тоже навестили его семейство.

— Что? — сказал Сергей Никандрович. — Мы и так, товарищ комдив, зайдем, и без него. Ежели завтра найдется времечко, мы и отправимся. Как вы на это смотрите?

Так и решили, и на завтра, выславшись после длинного и тяжелого конвоирования, после штормов и другой волюнки с подводной лодкой противника, которую мы никак не могли ущучить и которая удрала от нас, чего мы не могли простить друг другу и чем до сих пор пынiali офицеры вахтенного, в общем не очень виноватого, — после этого вечером отправились мы к Зое, чтобы узнать, где живет нынче вдова Татырбека с его маленьким сыном.

Вечер был прохладный, прозрачный. Где-то играла музыка, город ремонтировался, у нескольких зданий на главной улице стояли леса, многие дома уже были заново оштукатурены и покрашены. Только что пришел караван судов союзников, и потому на улицах разгуливали то негры, то метисы, то американские матросы в своих белых шапочках и в длинных узких форменках. А в городском саду, под едва распутившейся березой, на лавочке сидели французы, деголлевские моряки в широких беретах, и учили наших мальчишек петь «Марсельезу».

Чистильщики сапог, со щетками в руках и с ящиками на тряпочных ремнях, истово и серьезно выводили не понятные им слова, а долговязый француз — черный, с большим носом, дирижировал и плакал обильными, не очень трезвыми слезами.

Потом мы повстречали какого-то совсем странного человека. Низенький, с бачками, закрученными своими остриями к самым губам, с большой серьгой в ухе, повязанный ярко-розовым шарфом так, что концы его развевались далеко за плечами, странный этот чудак медленно выступал по тихой северной улице, по дощатому

тротуару и наигрывал на гитаре, которая висела у него на широкой ленте.

А сзади, по доскам, неумело ставя ноги на лакированных копытцах и вытягивая вперед глупую сонную морду, шел теленок и порою грустно и тоненько-тоненько мычал.

— Пираты какие-то ходят, — сказал Сергей Никандрович, — или это, может быть, работник цирка. Тут где-то цирк Шапито неподалеку...

Зоя Васильевну и самого Гаврилова мы застали сидящими у флигеля на крыльце. Он щелкал комаров ладонью, а она сидела, закутавшись в его старенькую шпатель, и щурилась на нас лукаво и весело.

Мы тоже присели на крылечко, тоже принялись щелкать комаров. Потом я спросил, не знает ли Зоя, где живет жена Татырбека.

— Знаю, — сказала Зоя.

И засмеялась.

— Не дури, старушка! — сказал Гаврилов. — Тебя люди серьезно спрашивают.

— Я серьезно и отвечаю.

— Далеко, что ли? — спросил Сергей Никандрович.

— Далеко, — сказала Зоя.

— Вот дурит, — вздохнул Гаврилов. — Она дурит, вы ее не слушайте, Сергей Никандрович.

— Недалеко?

— Не то чтобы уж и очень далеко, — сказала Зоя, — но не так и близко.

Гаврилов помотал головой с отчаянным видом. Мы еще немного посидели, покурили.

— Пожалуй, надо идти, — сказал Сергей Никандрович.

— Куда?

— Да хотим навестить...

— Вам для этого никуда ходить не надо, — сказала Зоя, — мы теперь вместе живем.

— Шесть детей? — спросил командир.

Гаврилов, улыбаясь, смотрел на свою жену.

— А после трех уже все равно, — сказала она, — после трех, сколько бы ни было, разница небольшая. Знаете, как после миллиарда. Один миллиард два миллиона или один миллиард и три миллиона — совершенно все равно. Важно только то, что много...

— Вот она у меня какая, — сказал Гаврилов, — она у меня в математике всегда была сильна.

Зоя встала и потянулась. Закрывает глаза, зевнула, засмеялась и, бросив шинель на голову Гаврилову, пошла домой.

— Вот дурит, — сказал Гаврилов глухо, потому что был под шинелью и запутался в ней, — она сегодня дурит и дурит...

Зоя обернулась в темных сенях, и было слышно, что она смеется.

— А он меня боится, — заговорила она, смеясь, — знаете, что он устроил?

— Брось, Зоя, — тоже засмеявшись, сказал Гаврилов, — ну, брось, честное слово...

— Он очень меня боится, — продолжала Зоя, — он сегодня когда пришел, то тросточку свою, костылек, с которым он ходит, в сенях оставил, чтобы я его не пилила. И соврал, что он теперь никогда с палкой не ходит и что ему электричество все вылечило. А Петр пошел в сени и напел палку. Вот, говорит, какая у меня палка. А я отвечаю: хорошая у тебя палка, Петрушка. Как она похожа на ту, что у твоего отца была...

— Ну, брось, — сказал Гаврилов, — ну, охота тебе...

В сенях Зоя нас остановила. Голос у нее теперь был серьезный и негромкий, а круглые глаза блестели в сумерках.

— Я вот только что хотела вам сказать, — произнесла Зоя, — давайте так условимся. Панихиду разводить не надо. Вы не сердитесь на меня, что я вам это говорю, но уж такой у нас порядок. Не надо говорить — похож, не похож, и вздыхать не надо. Она свое отплакала, и теперь ей легче, а так что же это получится, если всё панихиду разводить. У нас в доме всегда весело и будет весело, и, может быть, она потому у меня живет. Вы на меня только, пожалуйста, не сердитесь...

В сумерках она взяла меня за рукав кителя и немножко потянула, как бы прося этим жестом не сердиться, а Гаврилов в это время сказал:

— Знаете, что она тут делает? Вы даже не можете себе представить...

— Подумаешь...

— Она тут...

Но Зоя не дала мужу договорить. Она толкнула дверь

из сеней в коридорчик, и мы вошли сначала в темный коридорчик, а потом в знакомую нам, низкую, большую комнату.

Леля — так звали жену нашего Татырбека — что-то шила на швейной машине у самого окна, все дети спали, и по полу скакал наш старый Пампушка, очень жирный и какой-то обрюзгший. Было чисто, тихо и пахло глаженным бельем и березовыми листьями. На столе стоял букет из березовых веточек.

— Вы знакомы? — спросила Зоя.

Леля подошла к нам, мы поздоровались. Она похудела немножко и повзрослела и теперь не казалась такой маленькой, как раньше. И прическа у нее была какая-то другая — проще и красивее...

Мы сели кто где. Разговор не очень клеился, особенно после Зоиногo предисловия насчет «панихиды». Было неловко говорить слишком веселое и было невозможно говорить грустное. Но инициативу взяла Зоя, и все наладилось. Поговорили немного про Пампушку, потом про огород, что до сих пор они еще едят свою картошку, потом Зоя стала трунить над Гавриловым, как он, еще когда был Зоиным женихом, начистил себе белые брюки зубным порошком, размешанным в воде, и что из этой чистки вышло. Потом поспел самовар и вспыхнуло вдруг электричество, которое почему-то в Архангельске загорается в самое неопределенное время — то ночью, то днем, то вовсе не загорается. При ярком электрическом свете я хорошо рассмотрел Лелю. Она теперь очень повзрослела, все детское куда-то убралось из ее облика, и, смеясь, она сейчас не закрывала рот ладошкой, как делала это раньше. В Зоинoй комнате она держалась не гостьей, а такой же хозяйкой, как сама Зоя, и было приятно смотреть на двух молодых женщин, которые одинаково полновластно царствовали в этом государстве ребят.

Мы пили чай и ели картофельные пироги с капустной начинкой, и разговаривать было просто и легко, а потом проснулся мальчик, и мы пошли его смотреть. Мать приподняла марлю, которой была покрыта маленькая кровать, и я едва сдержался, чтобы не произнести чего-либо такого, что не следовало громко говорить при Леле.

Никогда еще, так показалось мне, север и юг не про-

изводили, слившись в единое целое, ничего более гармонического, чем то маленькое существо, которое сердито кряхтело сейчас перед нами в белой и чистой постельке.

Черные, агатового блеска зрачки Татырбека, его точно и крепко вырезанный рот и совершенно золотые, выющиеся волосы, но выющиеся немного, чуть-чуть, мелкими, нежными завитушками у висков и шеи, точно бы перетянутой ниточкой. Длинные, прямые, темные ресницы и точно наведенные, совсем темные прямые, отцовские брови. А возле вадернутого, смешного носа веснушки, как у Лели, и такой же румянец, как у нее, и такие же маленькие розовые раковины ушей.

— Интересно, — сказал Сергей Никандрович.

— Красивый мальчик, правда? — спросила Зоя.

— Еще ничего не говорит? — поинтересовался командир.

— Он уже завтра идет в школу, — сказала Зоя, — прямо во второй класс.

Командир сконфузился и немного отошел от кроватки.

— Вот, Ванька, — сказала Зоя и наклонилась к мальчику, — вот чего от тебя захотели. Чтоб ты разговаривал. Ну, поговори-ка!

Я спросил, как называли ребенка. Почему-то имя Иван мне показалось странным.

— Иваном назвали, — сказала Леля, — это он так хотел, он мне и в письме написал: если мальчик, то пусть будет Иваном, а девочка — Марией. Он мне написал еще, что теперь очень много развелось Юрочек и еще разные имена красивые пошли, которые даже выговорить невозможно. А Иван, написал, — это самое главное имя.

— Почему? — спросил я.

Леля потупилась. Мы все еще стояли возле мальчика.

— Потому, — ответила она, — потому что Иван это русское имя. Он мне еще раньше говорил, что, не было бы России, и его бы самого, наверное, не было. Он ведь очень хорошо знал, кто революцию сделал, и сделал так, что он сам человеком стал. И он это всегда помнил, каждую минуту. Знаете, мне даже иногда скучно делалось, столько он об этом говорил...

— Может быть, ты его все-таки покормишь? — спросила Зоя.

Леля отвернулась и взяла мальчика на руки. А мы вновь сели к столу и выпили еще по стакану чаю. Про-

вожать нас пошли Зоя с Гавриловым. Она опять завернулась в его старенькую, без погон шинель, а он взял палку, без которой ему было трудно ходить.

В переулочке мы встретили нашего Достопамятного и Лизу Евсееву. Прохор Эрастович был при ордене, в красивом пиджаке и в фуражке, какие носят моряки речного флота, а Лиза была в пальто и выглядела помолодевшей и даже хорошенькой. Увидев нас, Достопамятнов вытянулся и порозовел от смущения.

— Ну как, старшина? — спросил я.

— Из театра идем, товарищ капитан второго ранга, — ответил бывший наш старшина, — постановочку одну смотрели, вот супруга, так сказать, выразила желание культурно провести вечерок...

И он усмехнулся так, что было непонятно, доволен он или недоволен и театром, и супругой, и тем, что женат.

Лиза протянула мне руку и сказала:

— Очень приятно. Достопамятнова Елизавета.

От смущения на щеках ее выступили пятна. Достопамятнов с Лизой тоже пошли нас провожать, и старшина негромко мне рассказывал, как он служит на речном флоте, что у него за пароход «Зверь» и как его «Зверь» получил премию. Он старался говорить так, чтобы я думал, будто ему безразлично, получил он премию или не получил, но ему не было это безразлично, а я слушал его спокойный сипловатый голос и понимал, что жизнь нашего старшины налаживается и что он доволен своей судьбой. Потом Достопамятнов сказал:

— Семейой обзавелся по глупости. Сосватала меня Зоя Васильевна. Помаленьку живу,

И засмеялся.

Зоя окликнула нас сзади. Я обернулся. Мы еще стояли у городского сада под высокими березами. Супруги Достопамятновы попрощались с нами здесь, а Гавриловы пошли нас провожать к Воскресенской пристани. Я взял Зою под руку и спросил:

— Ну, сваха, не устали нас провожать?

Она взглянула на меня своими милыми, немного грустными глазами и спросила в ответ:

— А вы меня осуждаете за это?

Я улыбнулся.

— И не смейтесь, — сказала она почти строго, — все

не так просто в жизни, как вам кажется. Лиза Евсеева хорошая женщина, и он хороший человек, и оба они одиноки. И Владик у нее — мальчик. Это хорошо в стихах писать — до гробовой доски, а в жизни все немного иначе. Вы вот, многоуважаемый гражданин, просто холостяк и потому одиночества не чувствуете так остро, как чувствовала его Лиза. И Достопамятников не женился бы из-за своей руки. Он все как рассуждал: кому, говорит, я нужен без передней лапы, я, говорит, теперь просто смешон. Сколько я с ним билась. Сколько я с ним крови попортила себе!..

— И женили?

— И женила. Надо жить, товарищ моряк, надо жить и надо обязательно кого-то любить и о ком-то думать, так уж человек устроен. Она о своем Прохоре Эрастовиче думает, стирает ему, штопает, домой к вечеру ждет, а мальчишка его дядей Прошей называет и, когда Проша долго нет, плачет. И у них семья. А семья, гражданин военный моряк, — это совсем не такая плохая вещь, как вы думаете.

— Послушайте, Зоя Васильевна, — сказал я, — у вас нет сестры?

— Сестры? Какой сестры?

— Ну родной сестры? Пусть она будет кривая, или косая, или рябая, но только чтобы она обязательно была вашей сестрой.

Зоя улыбнулась и подняла на меня свой чистый, ясный взор.

— Зачем вам?

— Жениться хочу.

— Обязательно на моей сестре?

— Обязательно. Или на вас.

— На мне нельзя, — сказала она и покачала головой, — у меня Гаврилов.

— А мы его сейчас зарежем, — предложил я. — Согласны?

Она засмеялась, и ее звонкий смех далеко разнесся по тихой улице.

— Опять дуришь? — спросил сзади Гаврилов.

Зоя обернулась и сказала:

— Комдив тебя зарежет и на мне женится. Берет со всеми детьми.

— Веру! — подтвердил я.

Гаврилов с командиром нас догнали. Командир улыбался. Гаврилов моргал по своей привычке.

— Я тоже беру со всеми детьми, — сказал командир. — И пускай даже десять, все равно.

— Беру с двадцатью, — сказал я.

— С тридцатью, — сказал командир. — Но это все мечты. Наш Гаврилов не отпустит. Просил бы только учесть, что когда ваша Веруха вырастет, то я кандидат в женихи. К тому времени буду не меньше, чем капитаном первого ранга...

Мы еще посмеялись немного, покурили и разошлись. Гавриловы домой, а мы на корабль. Командир был грустен и, уходя спать, заявил мне, что больше к Гавриловым не пойдет, так как они заставляют его думать, что не только в море хорошо и легко. И кроме того, он чувствует, бывая у них, что невозможно пропустил в своей жизни что-то очень хорошее и очень важное.

— Что же, Сергей Никандрович?

Он помолчал, отхлебнул холодного чаю, хотел ответить, но махнул рукой и ушел спать.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Не досказал я о капитане Родионове, которого мы приняли в свое время на борт корабля нашего. Он в Свердловск собрался, к своему сыну, после того как побеседовал с нашим Гавриловым.

Расстались мы с ним тогда осенью, и долгое время я не имел о нем решительно никаких сведений. Раза два-три вспоминалось мне его лицо и как он слова отрывал, особенные его, стальные глаза, а потом все это сгладилось и вовсе позабылось до той минуты, пока меня в нашем офицерском клубе не окликнул этот самый Родионов, но только он был уже не капитаном, а майором береговой службы и таким, знаете, прибранным, отдохнувшим, спокойным...

Это довольно занятно наблюдать, как возвращаются вот такие, замотанные, как он, и усталые, после длительного отпуска. Иногда встретишь и не узнаешь: как все это слезает — и нервозность, и такая особая задумчивость специфическая — я ее часто видел у людей, хлебнувших военного лиха, — и замкнутость, и, главное, усталость — все это уходит, растворяется, отшелушивается,

и предстает перед вами спокойный, веселый, с юморком человек, в котором только изредка, да и то при тщательном рассмотрении, заметите вы того, старого, задержанного, намученного, которого знали раньше.

Я узнал его сразу, потому что он окликнул меня «подполковник», а когда я обернулся, то он погрозил пальцем и сказал:

— Знаю, знаю, капитан второго ранга, помню, а подполковник — это нарочно...

Мы сели с ним вдвоем за столик, нам подали по стопочке портвейну, и я с удовольствием чокнулся своей стопкой о его граненый стаканчик. Помню — он был выбрит, даже припудрен после бритья, волосы его были гладко причесаны и вместо той гимнастерки с оттопыренными карманами, в которой он был в последний раз, теперь на нем красовался китель нового образца, с высоким, твердым воротником и с прямыми красивыми плечами. И орденов у него было порядочно — и боевой, и Отечественной войны, и Звезда — в общем, как говорят, на два ряда еще немного не хватает, но на один вполне хорошо. И воротничок у него был пришит почти так же хорошо, как пришивают моряки, и отутюжен был майор вполне прилично, и погоны у него лежали как положено — в линию, ничего сказать было нельзя.

Естественно, спросил я его, как он съездил,

— Хорошо, — говорит.

— Ну, как сын?

— Хорош мужик, — отвечает.

— А про дочку ничего не слышать?

— Про дочку? Про дочку ничего не слышать.

Вот в таком роде беседуем. И неинтересно, и чувствую я, что он чего-то не договаривает. Ну, не договаривает и не договаривает, его дело, что ему возразишь, коли он не считает нужным договаривать. Но, с другой стороны, как-то интересно: какое-то отношение его сынишка если не ко мне самому, то к нашему кораблю через посредство Гаврилова имеет.

Так я рассуждал, да что станешь делать, коли он не говорит.

Ну, выпили мы чай свой положенный, покурили и пошли стариковским делом, смотреть, как танцуют. Знакомых много, то с одним потолкуешь, то с тем парой слов перекинешься, то с третьим надо на бильярде шари-

ки погонять — так я потерял своего Родионова, да и не очень об этом жалел. Что жалеть, коли разговору настоящего явно не получается.

Из клуба зашел я еще в штаб и вниз, к пирсу, оттуда катер наш должен был идти. Ночь великолепная, солнечная, даже не очень чтобы уж такая холодная, я — быстренько в катер и только было хотел немного вздремнуть, как мне старшина докладывает:

— Там майор, товарищ капитан второго ранга, просит разрешения с нами идти.

— Ну и пусть, говорю, идет. Приглашайте.

Слышу по палубе: топ-топ-топ — армейская походочка. Спустился майор и в кубрик ко мне жалует. Родионов!

— Что ж вы, — спрашивает, — от меня убежали? Я с вами посоветоваться хотел.

И пошел по-старому отрывать отдельными словами. Курит — одну папироску о другую прикуривает — и говорит:

— Мальчик-то, — говорит, — не мой.

— Как так не ваш?

— А так, — говорит, — не мой, и все тут. Алик-то он Алик, да мой ведь Александр, а этот Олег. Мой Родионов, а этот Радионов. И я от своего одиночества совершил подлость и не нашел в себе сил и прямоты. Я, — говорит, — поступил как полнейшее ничтожество и теперь не знаю, что мне делать. Вы должны мне посоветовать. Мне больше не с кем. Я с ней не мог. И вообще этого знать никто не должен. Но вы все начало знаете, и потому я вам расскажу, как это было, а уж вы мне с полной искренностью скажите, как мне теперь быть и что делать.

— Да в чем дело? — спрашиваю. — Что такое?

— А вот такое, — говорит, — дело, что не знаю, как начинать. Терпеть я не могу разные исповеди из личной жизни. Но вам уж придется послушать. Собственно, даже и слушать нечего, все вздор, но я сделал подлог,

— Будет вам, — отвечаю, — клепать вздор...

— А вот увидите, вздор или не вздор.

И рассказывает.

Приехал он в Свердловск, разумеется, волновался очень по дороге, все в вагоне ходил по коридору да курил, думалось ему, что сынишка о матери знает и о сест-

ренке что-либо ему расскажет. Все-таки пять лет нынче мальчику, что-то помнить должен, соображать, не правда ли? Ну, приехал, с трудом себя удержал, чтобы сначала побриться, а не прийти из поезда чудищем. Побрился, обмундирование отпарил в американке — и по указанному адресу. День теплый, летний, жаркий. Упирился Родионов, пока дошел, сначала медленнее шел, а потом быстрее, а вовсе терпения не хватило, так он бегом, бегом, совсем язык высунул. На дверях дощечка: «Доктор Антропова». Родионов сильно постучал кулаком. Сначала одним, а потом двумя ударил, а потом и сапогом. А задержка с открыванием, наверное, на несколько секунд всего и вышла, но он тогда об этом, конечно, думатьнисколько не мог.

Открыли ему, он с ходу:

— Мне товарища Антропову надобно. Я — Родионов.

И не видит ничего в темной передней, кто ему открыл. А это она и открыла. И громко сразу позвала:

— Алик, папа твой приехал...

Родионова, конечно, так и колотит. Стоять совершенно не может. И задохнулся от бега по этажам, пока отыскивал, и пот с него льется, и холодно сразу стало...

Видит — дверь открылась, и маленькое такое существо вошло, и все это в полутьме. Вошло и тоненько спрашивает:

— Папа?

— Папа, — отвечает. А самому глотку сдавило.

— Мой папа?

— Твой, детка, папа.

— Ты приехал?

— Приехал.

— С войны?

— С войны...

И пока они таким манером разговаривают — мальчик к нему все ближе и ближе подходит. А женщина эта, Антропова самая, куда-то совсем в темень спряталась, а потом тихонько вышла, чтобы не мешать, потому что есть такие вещи, которые никому видеть никогда нельзя.

А мальчик совсем близко к Родионову подобрался и за сапог его взял.

— Ну, пойдем, — говорит, — папа, тут вовсе темно. Пойдем, у меня настоящий ежик есть, живой. Он молоко может пить.

Вошли они в комнату. И тут Родионов сразу понял, что это не его сын. Кто его знает, почему он это сразу же заметил и увидел, ведь три года назад он оставил Алика, казалось бы, можно сразу не заметить, но он заметил и понял, да только замечать и понимать было уже поздно, совсем ни к чему это не повело. Он уже не мог сказать, что мальчик не его, или оборвать ребенка, когда тот говорит — папа. Оборвать и сказать:

— Я не папа. Это ошибка.

И уйти.

И ведь тут дело было не только в том, что мальчик оказался не его сыном. Дело было еще и в том, что этот Алик здесь означал, что мечта не сбылась, сын не нашелся, семья погибла и он, Родионов, по-прежнему одинок.

Он стоял и смотрел на мальчика, а мальчик тоже стоял перед ним, задрав голову, чтобы видеть всего отца, и лицо у мальчика было милое, круглое, совсем почти как у того Алика, но только это был не тот Алик, а другой, совсем другой.

Мальчик говорил про ежа, про то, как они живут с тетей Олей, про то, как вчера дымила печка, а Родионов смотрел на него и плакал: это был не его сын, не его мальчик, все надежды погибли, все было тщетно.

Слезы текли у него по лицу, он не мог их остановить. И мальчик увидел, что плечистый, большой, огромный, с орденами и пистолетом, военный папа плачет,

С удивлением и жалостью он спросил:

— Ты что, папа, плачешь?

— Немножко, — сказал Родионов. — Ничего. Пройдет,

— Почему же ты, папа, плачешь?

— Так. Не знаю. От радости, — ответил капитан.

— А какая у тебя радость? — спросил Алик.

— Вот, тебя увидел.

— Ну так и не плачь, папа. Ты теперь зря плачешь, Давай-ка я тебе вытру слезки.

И, взобравшись на стул, мальчик вытер глаза Родионову своими ладошками, потом вытер ему щеки и сказал так, как, вероятно, говорили взрослые:

— Ну вот и все. Вот и прошло. Пойдем-ка, я тебе ежа покажу.

Вдвоем они пошли в маленькую комнатку, где была кровать Алика, и принялись рассматривать ежа. Еж си-

дел свернувшись, и ничего, кроме серых иголок, не было видно.

— Вот и еж, — сказал Алик.

— Еж, — подтвердил Родионов.

— Это он так спит.

— Наверное, спит.

В это время вошла Антропова.

— Вы, вероятно, устали, — сказала она, — пойдемте, я вас накормлю. Пообедаем.

Глаза у него были красные, и губы дрожали. Разве могла она себе представить, что все это ошибка, что Родионов вовсе не нашел своего сына?

А он почему-то не мог ей сказать это. Да и как было сказать? Они все время были вместе, втроем, мальчик не отрывал от своего нашедшегося «отца» восторженных глаз и спрашивал про войну, про танки, про самолеты, про корабли.

— Он так вас ждал, — сказала Антропова, — просыпался, полный тем, что вы едете, и засыпал, разговаривая про вас.

После обеда Алик влез к нему на колени и не слезал до вечера, жался к Родионову, крутил его пуговицы, разглядывал ордена и, ложась спать, сказал:

— Ты только, папа, больше не плачь. А то будешь плакса. Правда, тетя Оля?

И худенький, в коротенькой рубашечке, с длинными, голенастыми ногами встал в своей кроватке, чтобы еще раз дотянуться до отца.

Родионов обнял его. Мальчик был горячий, вздрагивал.

— У него не жар ли?

Антропова поставила Алику градусник и прижала своей ладонью его руку. Так они сидели в полутьме маленькой комнатки душным, жарким вечером. За открытым окном, внизу, скрежетали трамваи, непривычно шумел большой, тыловой, незатемненный город. Потом Антропова посмотрела градусник и сказала:

— Тридцать девять и один. Только вы не беспокойтесь. У детей температура легко поднимается...

Легко или нелегко поднимается у детей температура, но у Алика сделалась скарлатина. И скарлатина тяжелая.

Антропова целый день бывала у себя в поликлинике и в больнице, а Родионов жил вдвоем с мальчиком, го-

товил Алику обед, выносил за ним горшок, мыл его, причесывал, давал лекарства и рассказывал разные истории — все, что знал, все, что мог рассказать, все, что читал такого, что было бы понятно Алику.

Приходили доктора, говорили:

— Ваш сын теперь уже ничего...

— Ваш сын на вас очень похож.

— Удивительно, как вы нашли вашего сына. Бывают же такие счастливые совпадения...

— Да, — отрывал Родионов, — бывают. Все бывает. Чего только не бывает на свете!

А если он выходил в соседнюю комнату или в кухню, то Алик через минуту кричал:

— Папа! Мой папа! Иди-ка сюда, мой папа!

Ему очень нравилось говорить именно так: «мой папа». Потому что у всех были папы, свои папы, а этот папа был его, Алика папа, «мой папа».

Вечерами с работы прибегала усталая и замученная Антропова. В маленькой передней она снимала с себя плащ, вынимала из стенового шкафа платье, повязывалась косынкой и входила к Алику. А Алик говорил ей:

— Тетя Оля, а мы с папой сегодня...

Вставал в кроватке на колени и буйно докладывал, какой сегодня был день, и как еж «грохнулся», и что они нарисовали вместе с «моим папой», и что ему папа вырезал из дощечки.

Потом, когда Алик засыпал, Антропова и Родионов пили чай вдвоем и разговаривали. Она ему рассказывала разные истории из своей медицинской практики, а он поддакивал ей или сам говорил, но только не о войне. А когда она его расспрашивала о войне, он обычно отвечал коротко и невесело:

— Война, Ольга Николаевна, трудная работа. Что о ней можно рассказать? Воюем.

И так за все двадцать восемь дней своего отпуска он не собрался сказать о том, что Алик не его сын. Вначале ему было неловко сказать эти несколько слов, а потом не хотелось их говорить. Зачем? Для того чтобы Антропова не перестала искать настоящих родителей Алика? Что ж... вряд ли она их найдет, так же как вряд ли он отыщет своих детей и свою жену.

За день до своего отъезда он твердо решил, что скажет Ольге Николаевне правду, для того чтобы после его отъ-

езда она осторожно, по-женски приучила Алика к мысли, что отца у него все-таки нет.

Весь этот вечер он ждал Антропову нетерпеливее, чем обычно. Алик уснул рано. Родионов сидел один, слушал, как бьют часы в комнате Ольги Николаевны, как спокойно, полно дышит мальчик, как скребется в подполье мышь.

И вдруг понял, что не может отдать Алика.

За эти дни и ночи он узнал, о чем думает и чем живет мальчик, увидел, как он спит и ест, свыкся с ним совершенно и с абсолютной для себя точностью понял, что теперь этот мальчик его. И что с этим ничего нельзя сделать. Он отобрал его у скарлатины, он держал мальчика за горячие руки, когда тот бредил и кричал, что его «тащит» и «крутит», он кормил его с ложки — слабого и желтого — и радовался, когда ребенок еще требовал еды, как же он может отказаться теперь от него?

И к кому он поедет без него после войны?

Куда ему будет торопиться?

А посылку? Ведь так ужасно хочется послать кому-нибудь посылку с фронта, какая зависть наполняла его, когда он видел, как товарищи готовят посылочки, чтобы отправить их с оказией. А ему было некуда, некому.

Когда он ехал сюда — подумал: «Теперь и посылки есть кому посылать». А вот, оказывается, нет.

— Папа! — позвал Алик, еще не проснувшись, потом проснулся, сел в постели и сказал: — Попить дай.

Родионов налил воды в чашку, Алик закрыл чашкой пол-лица и, долго чмокая, пил.

— Ну, ложись теперь, детка, — сказал Родионов.

— Лошадь ка-ак прыгнет! — сказал Алик, и Родионов понял, что это он сказал не из жизни, а из того сна, который он видел.

Позвонила Ольга Николаевна и сказала, что задерживается.

— А то шли бы поскорее, — сказал Родионов, — я тут картошки чугуи сварил...

— Постараюсь, — ответила она.

Когда она пришла, лицо у нее было не такое утомленное, как обычно, и в этот вечер он первый раз рассказывал ей о войне. Она слушала, покусывая губы, не глядя на него, и, когда он «отрывал» по своей манере одну историю про то, как «в их сволочном тылу» он три не-

дела гнил на стружках в заваленном погребѣ, а кругом рыскали немцы, Родионову показалось, что докторша всхлипнула. Но она не всхлипнула, просто сморкалась, а он все рассказывал и рассказывал и не мог остановиться. Его прорвало, он должен был наконец выговориться, и, чем больше он говорил, тем внимательнее она его слушала и тем чаще сморкалась, отвернувшись от стола.

Так они проговорили полночи.

И когда она ему рассказывала о себе, о своем погибшем муже, о том, как они жили раньше на Черном море, ему было приятно ее слушать, и казалось, что ей тоже хорошо с ним разговаривать. А когда было уже время ложиться спать, она внезапно и почему-то резко спросила:

— Это все, разумеется, отлично — то, о чем мы с вами болтали, но как же будет с мальчиком? Надо что-то решать.

— И решайте, — оторвал Родионов.

— Но ведь отец — вы.

Родионов отвернулся. Краска ударила ему в лицо.

— Вы отец, вам и решать, — почти раздраженно сказала Ольга Николаевна.

— Если я отец, то вы мать, — сказал он. — Странная ситуация. Вы его три года подымали.

— Не три, а два. При участии еще одного человека, которого я и в глаза никогда не видела.

— Это Гаврилов, что ли?

— Да, Гаврилов.

— Вы знаете, сколько у него у самого детей?

— Сколько?

— Трое своих да двое чужих...

Он усмехнулся. Сделал шаг к докторше и виноватым голосом произнес:

— Вы на меня, Ольга Николаевна, не сердчайте, если я что не так скажу. Но мне кажется, что вам не хотелось бы разлучаться с Аликом.

Она опустила голову, узкие плечи ее вздрогнули.

— Оба мы с вами одинокие, — продолжал Родионов, — и не дети уже. Взрослые. Давайте, ежели я, разумеется, останусь жив, поселимся вместе. У парня вроде бы будут родители и вроде бы человека из него сделают. Мешать я вам нисколько не буду. Мужчина я тихий, непьющий, переедем куда-либо на юг, к солнышку

поближе, соединим наши хозяйства и будем жить, как кому из нас заблагорассудится. Ни ваша личная свобода, ни моя этими бытовыми делами, как я думаю, стеснена не будет... Ну... а некоторые неудобства несомненны...

Ольга Николаевна молчала.

— Вы подумайте, — сказал Родионов, — и мне напишите. Ладно?

Он уехал, и она написала, что его предложение так ее обрадовало, что у нее нет слов для того, чтобы выразить степень своей благодарности...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Катер шел, ровно постукивая мотором. Родионов кончил рассказывать и закурил. Потом заглянул мне в глаза и спросил:

— Что? Каков поступочек?

— Не понимаю, чем он уж так плох.

— Да ведь это черт знает что. Я, по существу, мальчишку украл.

— У кого?

— У нее. У Ольги Николаевны. Она меня благодарит, а за что? За то, что я ни секунды не потерял на возню с мальчиком, не воспитывая его, не тратя на него душевных сил, в то время как она...

— Послушайте, майор, — сказал я, — напоминаю вам, что вы все это время с оружием в руках, своей кровью защищали Родину. Вот у вас четыре нашивки за ранения. Так?

— Так, — согласился майор. — Но... я-то его, Алика, не поднимал. Скорее Гаврилов...

— Бросьте, майор Родионов, — сказал я. — Противно слушать. Вадор развели какой-то.

— Вы серьезно так думаете?

— Конечно. И перестаньте смолить одну папиросу за другой, дышать уже нечем. Делаю вам замечание как старший по званию, ясно?

— Ясно, — сказал Родионов.

— То-то. Пойдем на палубу.

Он послушно поднялся за мною наверх. Катер хорошим ходом шел мимо моего дивизиона. Корабли стояли чинные, спокойные, сильные, и сердце у меня забилося и застучало — вдруг стало приятно, что я им командир...

Катер развернулся и резко сбавил скорость. Мотор встучал медленнее и заглох.

— Чай будем пить, майор? — спросил я.

— Приглашаете?

— Приглашаю.

Матросы подтянули катер к борту. Я занес ногу на трап, вахтенный, выждав положенную секунду, полным и звучным голосом скомандовал: «Смирно».

— Вольно, — ответил я.

На палубе мы с майором еще постояли и поглядели по сторонам: далеко, в розовой дымке был берег, над нами кричали, скользя на крыло, белые чайки, залив лежал спокойный, гладкий, ленивый, нестерпимо сияющий под предутренним солнцем.

— Нравится, майор? — спросил я.

— Нравится, — задумавшись, ответил он, а когда я взглянул на него, то понял, что он говорит о другом...

На трапе мы встретили Гаврилова. Он вытирал руки паклей и сердито говорил кому-то вниз:

— Безобразное положение. Совершенно безобразное.

— Спать, инженер, спать, — сказал я.

— Поспишь тут, — ответил Гаврилов, — как же.

— Ну, тогда чай пить...

— Чай пить — это другое дело...

Мы тихонько прошли по коридору в кают-компанию и сами раздобыли себе чаю. Гаврилов отдраил иллюминаторы, и сразу стало свежо и прохладно. Зевая спросонья, вошел Лева и спросил:

— А мне чаю можно?

Стуча хвостом по креслам, явился Долдон и длинно, с воем зевнул.

Не знаю, зачем я рассказываю об этом ночном чаепитии. Но как-то мне кажется, что было оно завершением какого-то кусочка нашей жизни. И очень я хорошо запомнил, как мы сидели все в одном конце стола, пили чай, разговаривали что-то такое утреннее вполголоса, а в ногах почесывался и таял Долдон, и все мы понимали, что крепко и нерушимо связаны друг с другом. Связаны навечно, кровно, связаны так, что связь эту разорвать невозможно иначе, как уничтожив нас самих.

Кажется мне, что все это понимали, хоть об этом именно деле не было сказано ни полслова. Да ведь и не говорят мужчины о таких вещах никогда.

Поболтали, потом разошлись спать.

А я еще вернулся, забыл папиросы. И Гаврилов тоже вернулся — уж он не мог чего-либо не забыть.

— Ну как, Евгений Александрович? — спросил я.

— Все нормально, — ответил он, — совершенно нормально, товарищ комдив.

Потом хлопнул себя по лбу и сказал:

— Да вы на переборку-то не посмотрели? А ну-ка, взгляните!

Я взглянул туда, куда показал рукой Гаврилов. На переборке кают-компания, рядом с портретом нашего покойного Татырбека, висела маленькая фотография под стеклом. Это был сын Татырбека со своими смешными кудряшками и агатовыми твердыми глазами.

— Ничего, товарищ комдив?

— Правильно! — сказал я.

— Может быть, как-то не в традициях?

— Мы традиции, инженер, сами делаем.

Еще несколько секунд мы смотрели на Татырбека. И он тоже на нас смотрел — спокойно и открыто, точно говоря взглядом что-то сердечное и простое, как говаривал иногда Татырбек, когда был жив.

— Ну что ж, товарищ комдив, — сказал Гаврилов, — спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — ответил я,

Полярное — Архангельск

1944

СОДЕРЖАНИЕ

Далеко на Севере	3
Студеное море	111
Аттестат ,	205

Юрий Герман

ДАЛЕКО НА СЕВЕРЕ

Редактор *И. Петрова*

Художник *В. Ходоровский*

Художественный редактор *Г. Гречихо*

Технический редактор *М. Зудина*

Корректор *С. Н. Штынова*

Г-32002

Сдано в набор 15.7.70 г. Подписано к печати 13.1.73 г.
Формат бумаги 84×108¹/₂ — 9¹/₄ печ. л. — 15,54 усл. печ. л.
16,216 уч.-изд. л. Бумага типографская № 3 Тираж 100,000
Цена 70 коп. Изд. № 4/4101. Зак. 207.

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва, К-160

1-я типография Военнадата
Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

Герман Ю. П.

Г38 Далеко на Севере. Повести. М., Воениздат,
1972.

296 стр.

В книгу включены три повести: «Далеко на Севере», «Студеное море» и «Аттестат». Повести написаны автором в годы Великой Отечественной войны и посвящены ее героям — офицеру Северного флота Александру Ладынину и экипажу корабля под его командой, врачам, медицинским сестрам и санитарам Карельского фронта, и среди них — Наташе Говоровой.

7-3-2

187-72

Р2

